

ВИТАЛИЙ ЗАКРУТНИН

**ДОРОГАМИ
БОЛЬШОЙ
ВОЙНЫ**





Annotation

Документальные очерки и рассказы о подвигах советских воинов, которые прошли по военным дорогам от Кавказа до Берлина. Автор, участник Великой Отечественной войны, ныне известный писатель, с присущим ему мастерством и талантом показывает своих героев в сложной, огневой обстановке, где выверяются характеры и мужают люди.

Книга рассчитана на самые широкие круги читателей.

- Виталий Закруткин



- От автора

- НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

- Полковник Аршинцев

- На Туапсинском направлении

- Багдасаряны

- Две Аси

- Генерал Селиванов

- ДОРОГА НА БЕРЛИН

- От Терека до Днепра

- Боль человеческая

- Лесной рейд

- ВЕЛИКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ

- Слово о коммунисте

- Морской сокол

- Дорогой к Ростову

- Герои зеленого острова

- Девять персон

- О чести знамени

- Казак Иван Чумаков

- Случай у реки Урух

- В горах

- Ефрейтор Франц

- Надежда

- Солдатские жены

- Люди у пушек

- Гвардии лейтенант Вихров

- Великое преодоление

- Освобожденный гений

- Три года Ильи Алексеева

- Д. Мороз и елка

- В гостях

- Письма из Германии
- Прощай, Армия, и здравствуй!

Виталий Закруткин
Дорогами большой войны
•
ОЧЕРКИ

Издание второе

© Издательство ДОСААФ СССР, 1974 г.

От автора

Страдные дороги войны! Сколько их было в ту тяжкую пору! Горькие дороги отступления с предгрозовой духотой, зноем, степным безводьем, тучами пыли, урчанием моторов, тревожным ржанием лошадей, вражеской бомбежкой, слезами беженцев, стонами раненых, с медленным, не поддающимся обзору движением многотысячных масс людей... Узкие тропы в лесах, бревенчатые настилы для пушек и танков, вырытые в земле извилистые ходы сообщения — короткие дороги между линиями жесткой обороны. Дороги в степи, по берегам рек, в оврагах, в воздухе, под землей. Овеянные славой дороги наступления и возмездия. Проложенные по бетонным и кирпичным руинам, последние перед великой Победой дороги на искромсанных, разрушенных улицах Берлина... Ведущие в душную глубь мрачные ступени «фюрер-бункера», подземного логова, в котором, уйдя от человеческого суда, покончил самоубийством изувер Гитлер...

Вместе с множеством боевых друзей мне, как военному корреспонденту, довелось пройти дорогами большой войны от горных троп Кавказского хребта до имперской канцелярии в Берлине. Много с той незабываемой поры утекло воды. Давно поседели головы моих товарищей, а многие, очень многие из них ушли из жизни — кто на полях сражений, кто в госпиталях, а кто по положенным человеку срокам. Но и сейчас, глядя на свою выдавшую виды полевую сумку, я иногда открываю ее, перелистываю походные дневники и вспоминаю их, солдат, офицеров и генералов доблестной Советской Армии, беззаветных героев, о которых я писал в годы войны, и покрытые пылью и копотью лица их, голоса и движения натруженных рук. И вновь предстают передо мной их бессмертные подвиги. И кажется мне, что я опять среди них, и я жалею, что в военной страде мало было отпущено времени и что в те годы не обо всех достойных пришлось написать, чтобы люди узнали их славные имена и молодое поколение гордилось ратными делами отцов...

Писать приходилось где придется: в тени дерева на коротком привале, в землянке, в темном блиндаже, в кабине попутного грузовика, в окопах, на лесной поляне — везде, где можно было держать на коленях полевую сумку. Не обращая внимания на гул снарядов и трескотню пулеметов, торопливо набрасывал строки оперативной информации, очерки о героическом подвиге стрелков-пехотинцев, об отважных разведчиках, об очередном рейде по тылам врага, о железной стойкости наших бойцов, о силе,

храбрости и самоотверженности коммунистов-политработников — обо всем, что требовало неослабного внимания и срочного, немедленного опубликования в армейской и фронтовой печати, чтобы все полки, дивизии, корпуса сразу, в ходе боев, узнавали имена самых смелых, твердых, бесстрашных и равнялись по ним, лучшим из лучших.

Времени для «творческих мук», для тщательной отделки каждой строки, для многократного переписывания очерков и статей тогда не было. Редактор газеты стоял у тебя над душой, нетерпеливо посматривал на часы, вслушивался в орудийную канонаду и настойчиво увещевал:

— Хватит, дорогой мой! Нам все эти красоты не нужны. Ты не Лев Толстой. «Войну и мир» будешь писать после войны. Если, конечно, жив останешься. А нет, так другие напишут, ничего не поделаешь. Кончай. Войска ждут газету. И типографские машины у меня стоят. Сейчас, брат ты мой, надо писать по-кавалерийски: аллюр три креста. Только такой аллюр и определяет стиль настоящего военного корреспондента. Нам надо дорожить каждой секундой...

С плохо скрытым раздражением слушал я слова редактора, дорожил, как он требовал, каждой секундой, старался писать побыстрее, но вместе с тем чувствовал, понимал, что подвиги моих боевых товарищей заслуживают взволнованных, душевных, высоких слов, что я не имею права говорить о них невнятной скороговоркой.

Писать, как я уже говорил, приходилось все: очерки, короткие корреспонденции с переднего края, рифмованные «шапки» на газетные полосы, сатирические зарисовки гитлеровских егерей, гренадеров, эсэсовцев, памфлеты, фельетоны. И хотя я не считал себя поэтом, неумолимый редактор требовал от меня молниеносного создания стихов и песен. Приказ оставался приказом. Волею батальонного комиссара-редактора я на какое-то время превращался в поэта-песенника и вынужден был сочинять стихи, подгоняя их ритм под всем известную музыку. Ничего! Говорят, получалось.

Когда гитлеровские полчища форсировали Дон, а Отдельная 56-я армия, в которой я тогда служил, вместе с другими войсками Южного фронта отступила до Черноморского побережья и заняла оборону в предгорьях Кавказа между Новороссийском и Туапсе, по просьбе начальника политотдела армии я сочинил песню на мотив «Раскинулось море широко»:

Товарищ боец, становись, запевай
Про путь наш от Дона до моря,

Про то, как враги полонили наш край,
И сколько хлебнули мы горя...

«Напрасно старушка ждет сына домой»,
Тоскуют и плачут баяны.
Воюет бригада пехоты морской,
По суше проходит с боями...

Пожалуй, во всех полках, бригадах и дивизиях 56-й армии в августе — сентябре 1942 года пели эту длинную песню, что не могло не радовать ее автора, исполнившего перед товарищами свой долг.

Невозможно перечислить все удары, которые наносили наши храбрые воины гитлеровским захватчикам в лесах Западного Кавказа, все подвиги, совершенные во имя Отчизны небольшими группами и одиночными бойцами. Они пробирались в тыл противника, брали нужных командованию «языков», стойко отражали вражеские атаки, устраивали засады, штурмом брали, казалось бы, недоступные высоты. Помню, как один из наших лихих автоматчиков, услышав на линии уже разведанных немецких окопов музыку и поняв, что гитлеровцы пируют в офицерском блиндаже, под покровом темной южной ночи подполз к немцам, ворвался в блиндаж и длинной очередью расстрелял всю группу пьяных фашистов.

Подошел он близко,
Угостил гостей:
В автоматном диске
Семьдесят смертей...

Так родилась в те дни моя «Баллада об автоматчике», которую какой-то заядлый гармонист впервые запел в группе разведчиков, и пошла песня о герое-солдате звучать в землянках, в окопах, на лесных полянах.

Леса, ущелья и горы Кавказа, холмы Кубани, степные просторы родного Дона, днепровские берега, Висла и Одер, кюстринский плацдарм, Зееловские высоты, осажденный Бреслау, черно-рыжие развалины Берлина. Весны и лета, осени и зимы. Жара и снежные метели. Пыль дорог и грозы. В ночном небе отсветы пожаров. Кровавые сражения и быстротечные бои. Обходы и охваты отступающих вражеских войск. Ликвидация очумевших от орудийного грохота солдат противника в «котлах». Смерть и ранения боевых друзей. Братские и одиночные могилы,

оставленные на лесных опушках, на окраинах разрушенных сел и городов. Все тогда было опалено жарким дыханием невиданных по размаху боев, и чаще всего о героях писались лишь очерки да короткие информации...

Прошло много лет. Давно залечены раны войны. Уже выросли, стали взрослыми люди нового поколения, не видавшего, как горят города и леса, как снег заметает на поле боя множество трупов, как плачут осиротевшие дети и матери. И сейчас, когда товарищи предложили мне отобрать для отдельной книги мои военные очерки и статьи, я, по совести говоря, заколебался: а нужно ли это?

Мы перебрали пожелтевшие от времени вырезки из армейских и фронтовых газет, перелистали страницы моих военных дневников. Передо мной вновь встали те, о ком я когда-то писал — фронтовые товарищи, живые и мертвые. Я снова увидел дороги войны, долгий и трудный путь к славной нашей Победе и подумал: «Новое поколение людей должно знать, как нелегко, какой дорогой ценой досталась нам победа над сильным, жестоким врагом. Им, юношам и девушкам, надо знать имена и подвиги героев, надо любить и беречь все, что отстояли их отцы. Пусть же молодежь читает эти страницы о больших сражениях, о многих подвигах, о солдатах и офицерах Страны Советов».

И еще я подумал о том, что незачем сейчас, спустя почти три десятилетия, переделывать то, что писалось на полях боев, по горячим следам, по первым впечатлениям, когда герои твоих очерков и статей, еще не успев утереть потное лицо, тяжело дыша, жадно затягиваясь горьким махорочным дымом, скупое, будто о ком-то постороннем, говорили о себе, о том, что совсем недавно, час-полтора назад было ими свершено. И мне показалось, что любая «переработка», «шлифовка», любое дописывание того, что писалось тогда, там, в боях, лишит эти страницы их непосредственности, строгой документальности, сотрет с них неповторимую печать времени.

Мне хочется, чтобы не знавшие войны молодые люди, читая эту книгу, почувствовали грозовой воздух, жаркое дыхание сражений, тревожную напряженность боевых лет, простоту и величие подвигов, о которых рассказано не сейчас, не сегодня, а тогда, в самое суровое время. И я решил: пусть все останется так, как было написано там, на войне.

В книге этой нет ничего выдуманного. Люди названы настоящими фамилиями, а дела их изображены со всей доступной в ту пору точностью.

1971 г.

Станица Кочетовская на Дону

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ



Полковник Аршинцев

Иркутскую дивизию я узнал и полюбил еще на Южном фронте, где она обороняла позиции юго-восточнее реки Миус. Это одна из старейших наших дивизий. Зародилась она в 1918 году в уральских рабочих поселках, сражалась в Сибири, на Байкале, освобождая от белых Иркутск, дралась на Крымском перешейке, на Чонгаре.

Михаил Васильевич Фрунзе высоко ценил боевые действия сибиряков и всегда ставил их в пример. Одним из ветеранов-бойцов этой дивизии был писатель Матэ Залка (Лукач), впоследствии героически павший в Испании, где он командовал Интернациональной бригадой. Орден Ленина и три ордена Красного Знамени украшали боевое знамя Иркутской дивизии. Война с фашистской Германией застала ее на границе. Путь отступления дивизии в 1941 году благодаря героизму и беззаветной отваге ее солдат и офицеров не стал путем бесславия: тысячи вражеских трупов обозначили его, а гитлеровский генерал Хейнциус жаловался высшему командованию, что «адская артиллерия и похожие на дьяволов солдаты четырежды награжденной орденами Сибирской дивизии непреодолимы».

В дивизии свято хранились старые боевые традиции, и ее путь в Отечественной войне уже был отмечен многими подвигами. Так, весь Южный фронт знал о подвиге героически погибшего молодого командира Владимира Асауленко, который с горсточкой солдат атаковал вдесятеро превосходящего противника и освободил селение. Правительство посмертно присвоило Асауленко звание Героя Советского Союза.

Каждый солдат Иркутской дивизии чтит память бойца Синеглазова, который в течение трех часов в одиночку отбивал атаку гитлеровцев, а потом прыгнул в горящий стог сена, чтобы не сдаться в плен.

Борис Никитич Аршинцев пользовался в дивизии всеобщей любовью. Сын грозненского плотника, он добровольно пошел семнадцатилетним юношей в Красную Армию, в 1920 году вступил в партию, закончил Академию имени Фрунзе и сражался на озере Хасан. Несмотря на внешнее спокойствие и даже некоторую флегматичность, Аршинцев воевал темпераментно и отличался исключительной храбростью.

Аршинцев встретил нас очень приветливо, попросил обождать несколько минут и углубился в чтение сводки. Пока он читал, я осматривал его блиндаж. Убранство этого блиндажа

говорило о сыновней любви солдат к своему командиру. Все вокруг сияло ослепительной чистотой: стены были обиты кремовым картоном, деревянный пол устлан свежей травой, на столе в пустой снарядной гильзе стоял пучок синих горных цветов. Прямо над столом тикали ходики, а под ними был приколот портрет Матэ Залка. В блиндаже пахло свежими сосновыми досками, травой и цветами.

— Теперь я свободен, — сказал Аршинцев, закончив чтение. — Вас, конечно, интересует положение на нашем участке. Я коротко расскажу вам, а рано утром мы отправимся с вами на наблюдательный пункт. Оттуда все видно как на ладони. Там вы увидите кое-что интересное.

Расстегнув китель, Аршинцев зашагал по блиндажу.



— Вы, разумеется, знаете, что у нас тут нет сплошной «линии фронта», да такая линия и не нужна. Не все горы тут проходимы, и поэтому незачем расплывать силы для установления какой-то линии. Мы создали целый ряд узлов сопротивления, чтобы запереть ими все горные тропы, ущелья, долины рек. Кроме того, мы оседлали все господствующие высоты, чтобы не оказаться слепыми. Вот за эти отдельные очаги и идут бои. Особенно жестокие бои идут сейчас на трех направлениях: за высоту триста восемьдесят семь — западнее селения Пятигорское, за гору Лысую и в теснине — за Вольчи Ворота. Нужно заметить, — продолжал Аршинцев, — что гитлеровские генералы изменили тут свои тактические приемы. Они отказались от наступления на широком фронте, как это имело место на Дону и Кубани, и перешли к методическому, упорному и последовательному выполнению отдельных задач.

— Каких задач? — спросил Неверов.

— Различных, но связанных с общим планом наступления.

Искусство и состоит сейчас в том, чтобы, разгадав этот план, помешать выполнению частных задач.

Аршинцев усмехнулся и потер руки.

— Что касается меня, то я уже успел привыкнуть к характеру своих противников, генералов Штейнера и Юреха, и заранее могу определить их мысли. Вот вчера, например, генерал Юрех одним полком почти захватил у меня гору Лысую, подбил мне «левый глаз», и сейчас он ползет на дорогу Пятигорское — Хребтовое. Я ему приготовил на этой дороге достойную встречу, а завтра дам реванш за Лысую. С генералом Юрехом сражаться нетрудно. Вот господин Феликс Штейнер — тот гораздо более серьезный противник, а солдаты его, особенно из полка «Германия», — самые отпетые головорезы. Штейнер на меня в большой обиде. Правда, из-за ротозейства одного из моих батальонов эсэсовцы утром сшибли меня с Безымянного хребта, но зато под Волчьими Воротами мы им так накладываем, что там из вражеских трупов образовались целые завалы. Сейчас Штейнер бросил в бой полк СС «Нордланд» и лезет на гору Фонарь — это у меня на правом фланге; если он захватит Фонарь, у меня будут «подбиты оба глаза».

Аршинцев помолчал, прислушался к грохоту пушечной канонады, потом повертел ручку спрятанного в кожаном футляре телефона и отрывисто сказал:

— «Дунай»! Тринадцатого к аппарату. Первый. Тринадцатый? Как у тебя? Лезут? Так. Так. Ничего, не окружают. Доноси чаще. Через каждые четверть часа.

Полошив трубку, он снова заходил по блиндажу и стал говорить об особенностях боев в горных лесах.

— Вот у меня тут под руками книги о горной войне, — сказал он, — и написаны они умными людьми, и много в них справедливого. Особенно о несостоятельности пассивной обороны в горах и о значении особых мелких отрядов. А ведь о самом главном почти ничего не сказано. Я имею в виду разведку. Это и есть самое главное. В горах без хорошей разведки — смерть. Тут ведь тысячи всяких возможностей для обходов, охватов, даже для выброски небольших парашютных десантов. Если не следить буквально за каждым движением противника, он вас скрутит моментально. Я, если останусь жив, обязательно напишу большую книгу о разведке в горных лесах. Это великое искусство.

— А ваша разведка хорошо работает? — спросил я.

— Удовлетворительно, — серьезно ответил Аршинцев. — Есть у меня тут майор Малолетко. Вы познакомьтесь с ним, он вам расскажет о разведчиках и сведет, куда надо.

Пока мы беседовали с Аршинцевым, стемнело. Мы

простились с гостеприимным хозяином, проверили своих лошадей, поужинали и отправились в резиденцию политотдельцев, куда нас пригласили на ночевку. «Резиденция» оказалась зеленым пригорочком, на котором было разложено сухое сено и постланы плащ-палатки. В этой импровизированной «спальне» нас встретили начальник политотдела подполковник Козлов и майор Суханов, бывший работник Ростовского горкома партии, мой старый знакомый.

Мы улеглись на душистом сене, закурили и стали говорить о боевых друзьях. Над нами темнела густая листва буков, где-то внизу трещали цикады. Сквозь сон я услышал разговор Козлова и Неверова о мести. Козлов, у которого гитлеровцы повесили мать, тихим, глухим голосом говорил о том, что ненависти его нет предела. С гнетущей мыслью о своей оставшейся в Пятигорске семье я уснул...

Наблюдательный пункт, куда мы пошли с Аршинцевым, Сухановым и Неверовым сразу же после завтрака, располагался на самой вершине горы Солодки, но я не думал, что дорога туда займет два с лишним часа. Вырезав толстые буковые палки, мы перешли вброд мелкую речушку и начали подъем. Тут даже не было охотничьих троп, и нам пришлось пробираться сквозь непроходимые заросли. Подошвы сапог скользили по каменистому склону, ноги путались в густых зарослях папоротника, колючие ветви кустарника царапали лицо. Деревья росли так густо, что не было никакого движения воздуха, и мы все потемнели от пота. На бровях, на губах и груди оседала цепкая паутина, которая висела на кустах серебристыми гирляндами. Сердце билось тяжело, дышать было трудно.

Примерно на середине пути Аршинцев, который шел впереди, остановился, вытер платком потный лоб и указал на груды огромных, покрытых мохом камней, опоясывающих склон горы.

— Присмотритесь к этим камням, — сказал Аршинцев, — мы тут сделаем десятиминутный привал.

Я стал осматривать камни, и по виду их довольно правильных ребер, а главное — по тому, как они были расположены, прикрывая край вырубленного в граните глубокого и длинного рва, — заключил, что камни когда-то были уложены руками человека.

— Что это? — спросил я Аршинцева.

— Это траншеи Тенгинского пехотного полка, в котором, если я не ошибаюсь, служил Лермонтов, — тихо сказал Аршинцев. — Мне неизвестно, бывал ли тут сам Лермонтов, но Тенгинский полк строил на этой горе оборонительный рубеж. Километрах в тридцати южнее этой горы, за Хребтовым

перевалом, есть селение Тенгинка, названное так в память этого полка.

— Давненько это было, — задумчиво сказал Неверов, — пожалуй, лет сто назад.

— Да, примерно, сто лет, — кивнул Аршинцев.

В глубоком молчании посидели мы у этих древних камней, покрытых сизо-зеленым мохом, выкурили по папиросе и пошли дальше. Подъем становился все круче и труднее, в иных местах нам приходилось пригибать молодые деревца и подтягиваться на них, как на пружинных трамплинах. Из-под ног осыпались вороха сухих листьев, с глухим шуршанием падали мелкие камни. Напуганные шумом, разлетались в стороны птицы. Недалеко от нас пробежали два диких кабана. Подавая друг другу поясные ремни и палки, мы поднимались все выше и наконец достигли вершины горы.

Очевидно, о нашем восхождении предупредили по телефону, потому что в ответ на негромкий свист Аршинцева сразу же раздался ответный свист, из-за деревьев вышел сержант-наблюдатель и проводил нас на северный угол вершины. Там, под молодыми дубочками, лежали чьи-то сапоги, разостланная на траве шинель, две винтовки, несколько гранат, бинокли, сумка с сухарями. Неподалеку стояли котелки с водой.

Молодой лейтенант армянин, стоявший на коленях с биноклем в руках, при нашем приближении вскочил, приложил руку к пилотке и отрапортовал Аршинцеву:

— Товарищ полковник! В течение двух последних часов на дороге Горячий Ключ — Пятигорское наблюдается движение машин противника с севера на юг. На Лысой горе ружейная и редкая минометная перестрелка. На горе Фонарь — артиллерийский огонь со стороны противника и бомбежка с воздуха четырьмя самолетами.

Мы вооружились биноклями и осмотрелись. Правда, здесь вполне можно было обойтись без бинокля: с вершины все окрестности были видны как на ладони. Прямо перед нами, между двумя горами, белела дорога. Сейчас над ней стояло густое облако пыли. Чуть левее и ниже дороги, на южном скате невысокого холма, пестрело селение Пятигорское. Оно оказалось на «ничейной полосе», и там не было видно никаких признаков жизни. Правее селения, отделенная от него узкой долиной, высилась гора Лысая, та самая, на вершину которой позавчера ворвался противник. Скаты этой горы были покрыты лесом, и только самая вершина, точно гигантская плешь, желтела выжженной травой. На вершине и на южных, обращенных к нам скатах горы Лысой время от времени вспыхивали бело-

голубоватые клубочки минных разрывов. Это наши минометчики стреляли по противнику, который засел на южном склоне.

Вокруг лежали необозримые горные леса. Ярко-зеленые на вершинах и склонах, обращенных к солнцу, они казались иссиня-лиловыми в глубоких ущельях и напоминали волнующееся море. На темном бархате лесов, словно брызги червонного золота, выделялись кроны увядших деревьев, кое-где розовели гранитные глыбы скал. Мы как очарованные молча смотрели в глубокую даль, на сверкающую за Хребтовым перевалом полосу моря.

Наше молчание прервал гул самолета.

— Товарищ полковник, — доложил наблюдатель, — «фокке-вульф» справа. Следует курсом на север.

Аршинцев отвел бинокль от глаз и прикрыл их от солнца веткой клена. Совсем рядом с ним, на уровне вершины, медленно проплыл двухфюзеляжный вражеский самолет. От его крыла отделился сноп розовых листков.

— Листовки сбрасывает, — усмехнулся Суханов.

Аршинцев, хмуря брови, смотрел вниз на дорогу, где вился тонкий дымок костра.

— Сукины сыны, — сказал Аршинцев, — кухню не замаскировали. Сейчас будет обстреливать из пулемета.

Действительно с самолета захлопали короткие очереди крупнокалиберного пулемета. Внизу мелькнули фигуры бойцов, разбежавшихся в разные стороны.

— Сообщите вниз, чтобы немедленно убрали кухню, — сердито бросил Аршинцев.

— Это не наши, товарищ полковник, — робко заметил лейтенант.

— Все равно.

— Есть.

Неверов поймал две листовки, пробежал их и, смеясь, передал нам. На розовом листке был изображен окруженный кольцом фашистских самолетов и танков раненый красноармеец. Внизу был набран крупным шрифтом текст обращения к солдатам и офицерам Иркутской дивизии. Генерал Штейнер грозил уничтожить советские полки и предлагал Аршинцеву сдаться.

— Дубина! — засмеялся Аршинцев. — Завтра он у меня попляшет!

Аршинцев взглянул на часы — был девятый час — и сказал лейтенанту:

— Передать гвардии капитану Чамкину: пусть готовится!

— Есть!

— Сейчас я начну штурм Лысой, — обратился полковник к нам с Неверовым. — Полюбуйтесь оркестром Чамкина. Через

шесть минут он начал свою увертюру.

Мы взглянули вниз. На широкую лесную поляну выползли похожие на серых бронтозавров минометные установки. Солдаты сбрасывали с машин брезентовые чехлы и поднимали квадратные рамы с длинными «направляющими» для снарядов. Потом они исчезли куда-то. На поляне остался лишь высокий офицер с хлыстом в руках.

Еще раз взглянув на часы, Аршинцев бросил лейтенанту:

— Пусть начинает!

И сейчас же ветер донес до нас протяжную команду стоявшего на поляне офицера:

— По кровожа-а-дным фашистам... Первая батарея...

Офицер взмахнул хлыстом, и, точно повинувшись мановению его руки, бронтозавры заревели, изрыгая дым и пламя. Огненные кометы, оставляя за собой светящийся след, одна за другой устремились вперед. Начался артиллерийский налет. Заговорили наши пушки. Горное эхо понесло над лесами перекатывающийся грохот; казалось, что это гигантский обвал, руша гранитные вершины, движется в долины и сметает на своем пути все живое.

На Лысой горе, там, где зеленая кромка деревьев обозначала верхнюю границу леса и где, как доносили разведчики, засел противник, вдруг выросли черные столбы земли, которые несколько секунд стояли в воздухе, а потом стали медленно оседать. Тогда уже можно было различить, как в буром дыме валились вырванные с корнем деревья, горящие клочья травы, какие-то темные комья. Скоро на южном склоне горы вспыхнули пожары, и вверх пополз густой белый дым. На голой вершине закопошились фигурки вражеских солдат. словно встревоженные муравьи, они метались вдоль лесной опушки, падали, сбегались в одном месте, потом разбегались в разные стороны.

— Спросите у Клименко, как дела? — крикнул Аршинцев лейтенанту.

Лейтенант быстро завертел ручку телефона, что-то закричал в трубку и, не вставая с колен, доложил:

— Боевое охранение противника смято. Подходят к концу леса. Майор Клименко просит прекратить огонь.

— Передайте Чамкину: прекратить огонь!

Серые бронтозавры в последний раз изрыгнули пламя и затихли. Через минуту, снова затянутые брезентами, они исчезли в лесной чаще. Сразу стало тихо. Но мы знали, что именно сейчас, когда наступила тишина, там, на Лысой горе, началось самое главное — штурм вершины. Оттуда стали доноситься одиночные выстрелы и какой-то еле уловимый гул.

— Майор Клименко докладывает, что вершина горы взята, —

сказал лейтенант, — один батальон прочесывает западные скаты, а другой преследует противника на северных скатах.

Аршинцев молча взял трубку из рук лейтенанта, присел на корточки и отрывисто сказал:

— Противника преследовать только до отметки Синий Крест. По краю леса, на северных скатах, немедленно окопаться. Западные скаты держать одной ротой. Остальных отодвинуть в резерв, к дороге, и не ослаблять наблюдения за этой дорогой ни на одну секунду. Понятно?

Несколько минут Аршинцев внимательно слушал то, что говорил ему командир полка, — тот, должно быть, сообщал что-то очень неприятное, потому что густые брови Аршинцева хмурились и губы сердито передергивались.

— Разве у вас нет саперных лопат? — закричал он. — Так почему нельзя окопаться? Что? Лопаты не берут? Хорошо. Кирок не будет, а ломы пришлю к двадцати часам.

Бросив трубку, Аршинцев поднялся и сказал нам, глядя куда-то в сторону:

— Трудно, черт возьми! У этой проклятой горы каменистая вершина, а у нас ни кирок, ни ломов нет.

— А откуда вы думаете добыть ломы к двадцати часам? — поинтересовался Неверов.

— Сейчас прикажу вынуть железные оси из обозных телег и снарядных ящиков. Все равно люди подносят снаряды по тропам на себе.

Вершину горы Солодки мы покинули в полном молчании. Нам казалось, что спуск длится гораздо дольше, чем подъем. Аршинцев шел впереди, все время думал о чем-то, и нам не хотелось мешать ему. Когда замелькали штабные блиндажи, я догнал Аршинцева и сказал ему:

— Товарищ полковник, я хочу пробыть несколько дней в батальоне, который сейчас обороняет Лысую гору.

— Ну что ж, езжайте туда, — согласился Аршинцев, — только будьте осторожнее. Там неизбежны контратаки. И потом советую вам не забывать о том, что здесь горы. Не путайте ориентиры. Расстояние кажется здесь обманчивым.

— Хорошо, спасибо, я постараюсь быть внимательным, — ответил я.

— Компас и карта у вас есть?

— Есть.

— Хорошая карта?

— Хорошая, последнего издания.

Мы простились с Аршинцевым, и я условился с Неверовым о встрече через три дня в соединении Щагина. Оседлав своего

Орлика, я съехал по узкой тропке вниз, миновал поляну, с которой капитан Чамкин обстреливал Лысую гору, и поехал шагом вдоль узкой речки. Навстречу двигались раненые. Некоторых из них несли на носилках. Солнце близилось к закату. В лесу было тихо, только где-то вверху нудно гудел невидимый вражеский самолет.

На вершине Лысой горы я пробыл трое суток и, вероятно, до конца своей жизни буду помнить эти дни, и не потому, что я попал там в чрезвычайно опасное положение — впоследствии мне довелось бывать в гораздо более опасных местах, — а потому, что на этой, окруженной густым лесом, горе я с особенной силой почувствовал, что война — это тяжкий, великий труд, что она требует не только мужества, но и неутомимой стойкости и постоянной готовности отдать свою жизнь за товарища, так же как он готов отдать ее за тебя. Там, на этой горе, каменистая вершина которой была выжжена горячим солнцем и тяжело изранена бомбами и снарядами, для меня раскрылась вся душевная красота великого труженика войны — нашего советского солдата-пехотинца.

Я добрался до вершины горы к вечеру. Вокруг еще дымились деревья и кое-где горели лесные травы. Я сильно устал, а конь мой, которого я вел за собой в поводу, был весь в мыле. Многие деревья на склоне горы были иссечены пулями, а их стволы белели лохмотьями ободранной осколками коры. Чем выше я поднимался, тем сильнее чувствовал неприятный запах серы и гари.

На маленьких лесных полянах лежали трупы вражеских и наших солдат. Некоторые лежали так близко друг к другу, что казалось — люди умерли в минуту рукопашного боя. Под ногами у меня стучали алюминиевые солдатские фляги, брошенные саперные лопаты, круглые каски.

На опушке леса, подступающего к самой вершине, я увидел наших бойцов. Они лежали группами по пять-шесть человек, курили, перебирали вещевые мешки или негромко переговаривались между собой.

— Где командир роты? — спросил я у них.

Пожилой сержант с забинтованной рукой хмуро взглянул на меня, отвернулся и ответил сквозь зубы:

— Командир роты убит.

— А заместитель?

— Заместитель тоже убит.

— Кто же вами командует?

— Старшина Глуз.

— Проводите меня к нему.

Сержант повернулся к молодому бойцу, который сидел рядом, с любопытством слушая наш разговор, и сказал:

— Володя! Отведи товарища к старшине.

Боец вскочил (он оказался совсем молоденьким), вскинул на плечо винтовку, взял автомат и пошел наверх. Идя сзади, я спросил его:

— А зачем ты берешь и автомат, и винтовку?

— Это у меня личное оружие, — с гордостью сказал он, — для ближнего и дальнего боя. Я сегодня из автомата четырех застрелил, а из винтовки одного. Хорошо, что винтовка была, а то бы ушел, проклятый!

— Сколько же тебе лет? — спросил я.

— Шестнадцать лет, — усмехнулся боец, — я доброволец. Из ремесленного училища. Наши хлопцы эвакуировались, а я отстал от них и ушел в полк к батьке.

— А батька где?

— Ранило его под Лакшукаем. Отвезли в госпиталь.

Я посмотрел на этого курного паренька, с белесыми волосами, на его ободренные сапоги, черные брючишки и улыбнулся. Паренек старательно басил, видно, ему страшно хотелось, чтобы его считали настоящим солдатом.

— Как же тебя зовут? — спросил я.

— Владимир Череда, — ответил парень.

— Так ты серьезно убил пятерых?

— Честное слово, — Володя даже приостановился, — вот спросите у старшины, он не даст соврать: четырех из автомата, а одного из винтовки.

Мы уже дошли. Вершина блестела под луной голубоватыми гранями камней, слегка шевелились на ней темные кустики папоротника. На самой вершине, подостлав под себя шинель, сидел богатырски сложенный человек. Он был босиком, ворот гимнастерки расстегнут, пышный чуб свешивался на левый висок. Поставив между коленями котелок, человек ел из него деревянной ложкой.

— Вот наш командир товарищ Глуз, — сказал Володя.

Тот приподнялся, осмотрел меня, протянул руку и сказал:

— Командир третьей роты старшина Иван Глуз.

Мельком взглянув на мои документы, Глуз вернул их.

— В порядке. Мне звонили про вас. Садитесь.

Мы сели на шинель. Глуз посмотрел на Володю через плечо и кинул:

— Ты, Володька, топай назад и ложись спать.

Переминаясь с ноги на ногу, Володя сказал:

— Товарищ старшина, тут товарищ интересуется, сколько

противника я уничтожил в сегодняшнем бою. Так вы подтвердите, что пять.

— Не ври, Володя, — с деланной строгостью заворчал Глуз, — не пять, а четыре. Один застрелился сам, потому что испугался твоего вида. Ступай спать.

Володя ушел. Мы со старшиной посидели молча, выкурили по сигарке. Потом Глуз аккуратно расправил высохшие портянки, надел сапоги, подпоясался и взглянул на часы:

— Двадцать. Что-то долго не несут ломов. Пора бы уже.

— Вы что, сейчас во втором эшелоне? — спросил я.

— Нет, зачем, — удивился Глуз, — мы в первой линии, на переднем крае.

— А противник далеко отсюда?

— Да, наверное, метров полтора ста будет.

— Сколько? — переспросил я.

— Метров полтора ста. На четвертой полянке отсюда. Там у меня впереди боевое охранение и секреты стоят.

— Давно перестали стрелять?

— Часа два будет. Как загнали его за отметку Синий Крест, так он и затих. Ну и нам незачем патроны тратить.

Глуз посидел молча, вздохнул и сказал:

— Вы тут отдохните, а я схожу, узнаю насчет ломов. Каторжная ночь нам предстоит. До утра хоть паршивенькие щели надо выдолбить...

«Каторжная ночь» началась через полчаса. На поляну, лежавшую пониже вершины, пришел маленький караван ишаков, нагруженный ломами, наспех сделанными из тележных осей, винтовочными патронами в картонных коробках, пулеметными лентами, гранатами, мешками с сухарями и бочками с водой. Молчаливые проводники абхазцы быстро разгрузили все это, взяли тяжелораненых и исчезли в лесной чаще. Старшина Глуз собрал свою роту на вершине горы, пересчитал людей — в наличии оказалось девяносто шесть человек — и негромко сказал:

— Тут прислано шестьдесят ломов. Сейчас мы приступим к работе над оборонительными сооружениями. До утра нам надо выдолбить четыре пулеметных гнезда, десять щелей и два хода сообщения протяженностью в тридцать метров. Места укажут командиры взводов. От работы освобождаю только раненых. Приступить к работе.

Люди получили ломы, разошлись в разные стороны и застучали ими о камень. Ночь была тихая, безветренная. Внизу над лесом светила полная луна. Тяжелые ломы падали с глухим звоном вниз, высекая из гранита красные искры. На горе

слышалось хриплое дыхание работающих людей. Куски битого щебня с шуршанием разлетались по сухой траве, крупные камни скатывались куда-то вниз. Мне странно было слушать этот частый перестук ломов в такой непосредственной близости от противника, и я подумал, что вот-вот должны загрохотать выстрелы с северной опушки темнеющего неподалеку леса, должны выскочить вражеские солдаты.

Мне было стыдно за эти мысли, но, очевидно, не я один так думал, потому что многие бойцы часто останавливались и, приподняв лом, склонив голову набок, прислушивались, потом начинали долбить гранит осторожными движениями, совсем тихо опуская лом.

— Чего оглядываетесь? — вдруг закричал Глуз. — Боитесь, что гитлеры услышат? Долбайте как следует! А то стучаете, будто дятлы на дубе!

Ломы застучали сильнее и чаще. Сквозь дробный перестук и резкий скрежет железа о камень слышалось все более тяжелое и хриплое дыхание людей. Запахло крепким, соленым потом. Володя Черета (он работал неподалеку от камня, на котором я сидел) остановился, вытер рукавом лоб и сказал:

— Водички бы испить...

Но воды было очень мало, ее рассчитали по каплям, и Глуз запретил прикасаться без разрешения к бочонкам.

— Там, на южных скатах, есть немецкие фляги, — сказал я Володе, — и потом там убитые лежат... Поищи на поясах. Фляги у них слева, на поясе.

Я взял у него лом и стал долбить пулеметное гнездо, а Володя, шмыгнув носом, выждал, пока Глуз отвернулся, и убежал в лес.

Гнездо, на котором он трудился, было выдолблено примерно на четверть полагающейся глубины. Став на ребре гнезда, я стал долбить дальше. Лом был теплый от Володиных ладоней, он легко падал вниз, но отбивал от гранита только мелкие камешки. Я решил бить сильнее, стал поднимать лом выше и с силой опускать его на твердый и звонкий грунт. Потом я оставлял лом, ложился на живот, ладонями выгребал мелкий щебень, а крупные камни отбрасывал в сторону. Во рту у меня пересохло, глаза заливал едкий пот, сердце стучало, ладони горели.

Время от времени я осматривался по сторонам. Залитая лунным светом вершина горы была усеяна лихорадочно работавшими людьми. Многие бойцы сняли гимнастерки и работали полуголыми. Четыре или пять человек уже не могли поднять тяжелую железную ось и сидели, опустив головы. К ним подошли другие, те, которым не хватило инструментов, взяли

ломы и начали долбить.

Выгребая щебень, я почувствовал прикосновение чьей-то руки к своему плечу и обернулся. Передо мной стоял маленький горбоносый боец. Шея его была перевязана каким-то серым платком, глаза блестели. Он беспрерывно сморкался и кашлял.

— Тут еще надо немножко подсечь сбоку — и хватит, — простуженным голосом сказал боец, — а то вы совсем умаетесь. Довольно с меня этой ямки.

— А кто вы?

— Я — первый номер, ефрейтор Куприян Сартоня, — охотно ответил горбоносый. — Для моего «максима» это гнездо, значит, будет.

Маленький Сартоня чихнул, закашлялся и виновато усмехнулся:

— Мучает меня кашель. Простыл я. Двое суток лежали мы с дядей Антоном в плавнях. Ему ничего, а я простыл.

— А кто это дядя Антон? — спросил я, принимаясь за работу.

— Антон Гаврилыч. Мой второй номер. Ухналь, кажется, по фамилии.

Сартоня вздохнул, высморкался и сказал:

— Ну, вы тут подровняйте сбоку — и хватит. А мы с дядей Антоном приволокем пулемет.

Он ушел, а я снова склонился над ямой. Рук я уже почти не чувствовал, натертые до крови ладони горели как в огне, ноги подкашивались. Ужасная жажда мучила меня. Но вот сзади раздались мелкие шаги и появился наконец Володя. Он бережно прижимал к груди обшитую кожей флягу.

— Пейте, — сказал он, задыхаясь, — умучился, пока нашел.

Взяв из его рук флягу, я заметил, что он смотрит на флягу и облизывает языком сухие губы.

— А ты сам пил? — спросил я, отводя флягу.

— Нет, зачем, — обиделся Володя, — я обыскал двадцать семь мертвяков. Только у пятерых нашел фляги — и то без воды. Я по каплям слил в одну. Тут полстакана будет. Пейте.

Мы разделили с Володей теплую, пахнущую тиной воду, и она показалась мне нектаром. Пока мы пили, к Глузу, который неподалеку от нас возился с ручным пулеметом, подбежал боец с винтовкой и сказал вполголоса:

— Товарищ старшина! Я от сержанта Рудяшко, из секрета. Там у противника чего-то шевелится. То вроде спали, а сейчас зашумели. И потом больно много разговору слышно.

— Хорошо, — сказал Глуз, — ступай и скажи Рудяшко, чтоб глаз не спускал с противника. Ежели что, отходите к боевому охранению без выстрела. Как только противник дойдет до второй

полянки, где я повесил на дубе бинт, открывайте стрельбу ему в спину. Забег в боевое охранение к Федькину и передай это мое приказание. Понятно?

— Так точно, понятно.

— Ступай, выполняй.

Пригибаясь на ходу и поддерживая правой рукой винтовку, связной убежал. Глуз поднялся, щелкнул круглым диском пулемета, осмотрел работающих людей и громко сказал:

— Отдых на десять минут. От места работы не отходить. Винтовки держать при себе. Курить в кулак. Командирам отделений получить воду, по кружке на отделение. Выполняйте.

Стук ломов моментально прекратился. Стало тихо. Люди, как подсеченные, повалились на землю. Кто-то подкатил бочонок. Послышалось хлюпанье, негромкий перестук кружек. Чей-то визгливый голос прорвал тишину:

— Не по правилу делите воду! У Стефанкова в отделении сегодня убито шесть человек, а ему выдают полную кружку. У нас все отделение налицо...

— Заткнись, Карпов! — грозно зашипел Глуз. — Я тебе поговорю!

Визгливый голос замолк. Глуз, вертя ручку телефона, звонил в соседнюю роту. Мы с Володиёй лежали рядом, глядя в звездное небо. Острый камень больно колол мне спину, но я так устал, что не мог двинуться. Где-то далеко урчали тракторы. Справа, как видно за горой Фонарь, бухнула одинокая пушка.

Вдруг темную синеву неба прорезало мертвенно-желтое сияние светящейся ракеты. Ракета повисла на парашюте, спущенная невидимым самолетом, и осветила гору трепетным светом.

— Может, ударить по ней? — тихо произнес кто-то за моей спиной.

— Дай раз, — басом ответил Глуз, — а то он подумает еще, что мы уснули.

Прямо над ухом оглушительно рывкнул счетверенный зенитный пулемет. Я вздрогнул. По камням дробно зазвенели пустые гильзы. Зеленый пунктир трассирующих пуль замерцал в небе и пронзил светящуюся в воздухе ракету. От ракеты отделились продолговатые огненные капли и медленно потекли вниз. Вторая короткая очередь рассекла ракету пополам. Истекая струйками огня, она погасла. Лунный свет показался мне почти белым, а деревья потемнели.

— Вот молодец Вася, — восхищенно сказал Володя, — с одного раза двинул. Он всегда так. На пашковской переправе снял «мессера» двумя очередями.

Через десять минут бойцы снова приступили к работе. Опять застучали железные оси, с шуршанием посыпался щебень и засверкали искры. По медленным, полным страшного внутреннего напряжения взмахам рук, по тому, как сипло, с надрывом, дышали люди, чувствовалось, что они смертельно устали, казалось, что они вот-вот свалятся от изнеможения и не смогут подняться. Но время шло, а люди били и били ломами о камень, раскалывали гранитные края узких рвов, с хриплым грудным хаканьем поддевали осями огромные камни. И снова на горе запахло соленым человеческим потом, и снова обессиленных бойцов сменяли другие. Поплевав на ладони, они высоко поднимали тяжелые оси и яростно долбили проклятый гранит.

В третьем часу ночи внезапно раздалась стрельба. Гулкие, как удар хлыста, винтовочные выстрелы смешались с залиvistым лаем автоматов, а где-то слева злобно застрекотали станковые пулеметы.

— По местам! — закричал Глуз.

Я лег у невысокого камня, шагах в десяти от гнезда, в котором уже хлопотали ефрейтор Сартоня и дядя Антон. Выхватив маузер, я стал вдевать наконечник деревянной кобуры в желобок рукоятки, долго не мог попасть от волнения, наконец попал и, раздвинув локтями щебень, приник к камню. Справа от меня лег Володя Черета, еще правее, у зарослей папоротника, старшина Глуз с ручным пулеметом, а прямо передо мной, широко раскинув ноги, — пожилой сержант с забинтованной рукой, тот самый, который первым меня встретил и послал к Володей к Глузу. Еще дальше, на самой опушке леса, залегли бойцы с винтовками и гранатами.

Выстрелы приближались. В лесу, между деревьями, сверкали вспышки огня, трещал валежник, слышались какие-то хриплые выкрики. Потом слева ухнули гранатные разрывы — я понял, что это Федькин и Рудяшко бьют атакующих немцев из засады.

— Сартоня! Без приказа не стрелять! — хрипло закричал Глуз. — Жди, пока выйдут на опушку!

Опушка темнела шагах в шестидесяти от нас. Озаряемые короткими вспышками выстрелов, возникали корявые стволы грабов, и где-то позади них ворчало, трещало, ворочалось живое чудовище, которое должно было выползти на поляну и ринуться на нас. Я не сводил глаз с опушки, и у меня лихорадочно стучало в голове: отобьем или не отобьем?

И вот я увидел неприятельских солдат. Я увидел их, когда они уже выбежали из лесу и пробежали несколько шагов, миновав полосу тени от высоких деревьев. Полная луна светила за их спиной, и мне были видны темные, согнутые в поясе фигуры

бегущих к нам людей. В грохоте выстрелов я не сразу понял, что они стреляют прямо в нас. Над моей головой прожужжал отбитый от камня осколок. Бешено заработал пулемет Глуза, потом пулемет Сартони. Со всех сторон мелькали оранжево-синие огоньки выстрелов. Справа, над моим ухом, трещал автомат Володи. Темные фигуры забегали по краю опушки, стали падать. Нажимая на спусковой крючок маузера, я выстрелил шесть раз подряд. Я считал каждый выстрел и думал, что надо стрелять обязательно, что, как только замолкнет мой пистолет, меня сейчас же убьют.

Потом темные фигурки исчезли. Снова трещал валежник в лесу. Умолкли наши пулеметы. Выстрелы, все более глухие и редкие, затихали где-то внизу. Уже что-то говорил по телефону старшина Глуз, что-то кричал Володя. Мне было очень жарко. Расстегнув ворот гимнастерки и сняв пояс, я присел, достал коробку с табаком и стал свертывать папиросу. Руки дрожали, табак сыпался на колени, но я смеялся и говорил Володе что-то веселое. Потом я услышал, как старшина Глуз громко закричал:

— Санитары, в лес! Второму и третьему отделению убрать убитых.

Вместе с другими я пошел по горе, но Володя остановил меня и сказал, указывая на неподвижно лежавшего сержанта с забинтованной рукой:

— Сержант Кулагин убит.

Этот сержант во время атаки лежал в трех шагах от меня, но я не заметил, как он погиб. Теперь я с удивлением и жалостью смотрел на его открытый рот, залитое кровью лицо, круглую култышку обвязанной бинтом левой руки.

— Вчера ему прострелили палец, а он не захотел уходить, — тихо сказал Володя. — Надо дочке его написать, у него дочка в Красноводске живет, эвакуированная.

Потом мы с Володией осматривали других убитых. Светила луна, сладко пахло порохом. Бойцы громким шепотом говорили друг другу о том, как они стреляли и как по ним стреляли, кто в каком месте лежал и что при этом видел. Я тоже рассказывал Володе, как стрелял, и слушал Володин рассказ о том, как у него заело автомат, и он стал стрелять из винтовки и свалил какого-то фашиста, который бежал к двум соснам. Володя даже показывал мне эти сосны — они росли отдельно, шагах в тридцати от хода сообщения.

Среди двенадцати убитых и двух тяжелораненых гитлеровских солдат — их вместе с нашими ранеными унесли санитары — оказалось четыре трупа эсэсовцев. На петлицах у них блестели металлические значки, а на левом рукаве были шевроны

и черные ленты дивизии «Викинг». Старшина сам осмотрел трупы этих солдат, взял их документы и сообщил по телефону в батальон, что на участке его рот появились эсэсовцы.

Минут через сорок после того, как была отбита ночная атака, старшина Глуз приказал возобновить работу. К этому времени в лес ушли новые секреты и вернулась из боевого охранения смена сержанта Федькина. Опять застучали по граниту железные оси, и к сладковатому запаху крови и пороха примешался запах пота. Спать не ложился никто. Когда побелела луна и по лесу прошумел предутренний ветерок, щели, ходы сообщения и пулеметные гнезда были закончены. Старшина разрешил людям поспать, и каждый, где стоял, там и лег, охватив руками винтовку. Уйти в другое место и лечь поудобнее ни у кого не было сил.

День на горе Лысой прошел спокойно. Утром бойцам раздали сухари и пшенную кашу. Кашу принесли в ведрах, в цинковых патронных коробках и в круглых банках от немецких противогазов. В таких же ведрах и коробках принесли мутную теплую воду (воду несли полтора километра по узкой кабаньей тропе, брали ее в речушке, у самой подошвы горы).

В девятом часу кудрявый политрук в роговых очках, которого ночью вызывали в полк, принес сводку Информбюро и прочитал об упорных боях под Сталинградом, под Воронежем, южнее Краснодара («южнее Краснодара» — это был наш участок фронта), под Новороссийском и на Тереке.

Солдаты угрюмо прослушали сводку, не задали ни одного вопроса, разбрелись по щелям и стали говорить о фронтах.

Я слышал, как высокий ефрейтор, с сердитым, заросшим рыжеватой щетиной лицом, хмуро говорил окружившим его бойцам:

— Сталинград сейчас — самое главное, самое главнейшее. Там должно все дело решиться. Ежели Сталинград отдадим, — тогда крышка, конец.

— Почему же крышка, Степанов? — возразил сероглазый боец в синих артиллерийских брюках, которыми он все время любовался. — За Сталинградом еще хватит земли.

Хмурый Степанов укоризненно посмотрел на обладателя синих брюк:

— Дурак ты, Вася. Хоть и хороший зенитный пулеметчик, а самый настоящий дурак. Разве можно нам сдавать Сталинград или, скажем, такой город, как Ленинград? Никак, никаким образом нельзя нам оставлять такие города. А если мы эти города — понимаешь, эти города сдадим, то, значит, мы ничего не

удержим.

— Чего ты чудишь, Степанов? — обиделся Вася. — Почему же это нам не удержать Казань, или, примерно, Оренбург, или Свердловск?

— Дурак ты, Вася. Дурачок ты, — серьезно и тихо сказал Степанов, — головой думать надо, когда говоришь. Отдай мы врагу Сталинград, — значит ничего мы уже после этого не удержим: ни Казани, ни Оренбурга, потому что вся наша вера и сила в Сталинграде, потому что каждый человек у нас знает, что нигде не может быть таких смертных боев, как под Сталинградом, и если мы отдадим Сталинград, значит, враг наибольшую самую что ни на есть лучшую силу сломил. Понятно тебе это или непонятно?

— Паникуешь ты, Степанов, — и все, — огрызнулся Вася.

— Нет, Вася, не паникую я, и стыдно мне было бы паниковать, потому что я, брат ты мой, оборонял Сталинград еще в восемнадцатом году, когда ты пешком под стол ходил. А тебе я растолковываю, чтобы ты понял, что есть в России такие места, на которых вся вера держится. Вот, скажем, эта самая гора Лысая, на которой мы с тобой сидим. Должны мы подохнуть, но не допустить к ней врага, потому что это наша позиция и нам приказано ее удержать. Но ежели, скажем, перебьют нас тут всех или, к примеру, сдрейфим мы и враги займут эту гору Лысую...

— Ну и что же?

— Ну и ничего. Обидно, конечно, будет. Расстрелять нас надо, как сукиных сынов, за то, что мы не выполнили приказа. Но гора Лысая — это, брат ты мой, не большая беда. От потери этой Лысой горы веры никто не потеряет. А возьми Гитлер Москву, или Ленинград, или Сталинград — тут уж совсем другое дело.

— Правильно, правильно, Степанов, — заговорили бойцы.

Вася попытался еще одним аргументом припереть к стенке угрюмого Степанова:

— Значит, по-твоему, выходит что только под Сталинградом надо биться на всю силу, а тут, на горе Лысой, можно так себе, шаляй-валяй?

— Нет, Вася, — сдвинул брови Степанов, — не «шаляй-валяй». Потому что отдай мы Лысую, а потом еще три горы, а потом Кавказ — Гитлер и перекинет отсюда всех своих солдат под Москву, под Ленинград или под Сталинград. А мы держим гору Лысую, и Гитлер не может увести отсюда ни одного солдата. Понятно теперь тебе это или непонятно?

— Понятно, — усмехнулся Вася.

Он встал, расправил великолепные галифе, провел ладонью по красному канту и, насвистывая, ушел к своему счетверенному

пулемету. Солнце поднялось уже довольно высоко. Я лег на траву под огромным буком, вынул из полевой сумки бумагу и карандаш и стал писать корреспонденцию о ночной атаке. Через несколько минут ко мне подошел Володя и, вертя в руках самопишущую ручку, попросил пять листов бумаги.

— Зачем тебе? — спросил я.

— Ночью у нас убито семь бойцов, а трое тяжело ранены. Надо написать письма родичам. Я разорву пять листов пополам, и как раз хватит на десять писем.

— Почему же должен писать именно ты?

— А мне все наши бойцы дали свои адреса, — вздохнул Володя. — Ты, говорят, парень грамотный, в случае чего, отпишешь семьям как следует, не так, как писаря в полку пишут, которые нас в глаза не видали. А семье, говорят, хочется, чтобы о родном человеке было написано хорошо.

Я дал Володе бумагу, он аккуратно разрезал ее плоским немецким штыком, лег на живот и, подумав, стал писать. Писал он медленно, покручивал круглую головку своей трофейной ручки — на другом конце ее был многоцветный карандаш, — часто смотрел куда-то вдаль, словно вспоминал что-то, потом снова начинал писать старательно выводя зеленые и красные строки.

Закончив первое письмо, он начал было его складывать, но потом тряхнул белесым чубом и застенчиво протянул мне:

— Вот, поглядите. Про Кулагина написал дочке его. Прочитайте и скажите мне, как ваше мнение. Может, там чего не хватает?

— Давай посмотрю, — сказал я.

«Дорогая гражданка Ольга Павловна Кулагина, — писал Володя, — сообщаю вам, что ваш папа, сержант Павел Иванович Кулагин, мой навеки незабываемый боевой друг, в ночь с третьего на четвертое сентября 1942 года героически погиб при обороне важнейших позиций на энской горе. За день до этого он истребил в бою великое множество гитлеровских бандитов и сам был ранен в левую руку, но гордо отказался идти в полевой госпиталь и остался на боевом рубеже до конца своей честной жизни. Погиб он в ясную лунную ночь от разрывной вражеской пули, и, когда умирал, то умирал спокойно и только просил меня написать вам, чтоб вы не горевали и хорошо смотрели за своим дорогим братиком. Если вам чего-нибудь надо помочь, вы напишите мне по приложенному воинскому адресу, а я сообщу, что следует, вашим властям. С боевым приветом, остаюсь уважающий вас и переживающий ваше тяжелое горе боец Владимир Петрович Череды».

Я вернул Володе письмо, и хотя мне очень хотелось обнять и поцеловать этого милого, нежного паренька, я не сделал этого, а только сказал:

— Очень хорошо, Володя. Просто и хорошо.

Пока мы с Володей писали, с моря подул сильный ветер, небо затянуло тучами и к полудню пошел холодный мелкий дождь. Яркие краски вокруг сразу потухли, растаяли в свинцово-серой пелене. Усевшись под кустами, бойцы накрылись шинелями, плащ-палатками, мешками и сидели, как нахохленные куры. Не было слышно ни одного выстрела, в густой листве шумел ветер, обильные дождевые ручьи, пенясь, бежали по каменистым скатам горы.

Вдруг в монотонный шум дождя и ветра ворвался сердитый голос Глуза:

— Второе и третье отделения на подноску мин!

Поеживаясь от холода, бойцы из отделений Стефанкова и Карпова, того самого, что ночью кричал о неправильном распределении воды, ворча, пошли вниз, к поляне, где остановился караван навьюченных минами ишаков. На этой поляне обрывалась ишачья тропа, и оттуда до кустов терновника, среди которых лежали боеприпасы, нужно было подносить мины на руках.

Это был очень тяжелый труд. Люди выстраивались на крутизне на протяжении ста тридцати метров: делая три шага влево, человек принимал ящик с минами от нижнего соседа, потом, цепляясь да стволы деревьев, поднимался с грузом на три шага вправо, передавал мины верхнему соседу и возвращался на место.

Дождь все лил. Скользя, падая, передвигаясь на четвереньках, промокшие бойцы все же методично двигались влево и вправо, и в кустах терновника росла гора мин, накрытая одеревеневшим от влаги брезентом.

После обеда дождь перестал. За высотами, над Горячим Ключом, вспыхнула гигантская горная радуга, потом показалось солнце. Деревья, трава, камни — все засверкало от дождевых капель.

Ночь прошла спокойно. Весь следующий день рота Глуза заканчивала окопы и ходы сообщения. В девять и в одиннадцать часов утра противник пытался атаковать нас несколькими группами автоматчиков, но оба раза был сбит боевым охранением. В двенадцать часов над горой пролетел «фокке-вульф», потом показались четыре «юнкерса» и стали бомбить вершину. Осколками бомб были тяжело ранены два бойца, их тотчас же отнесли вниз.

Вечером на вершину Лысой пришел капитан из штаба дивизии. Он расспросил Глуза о положении, сказал, что гитлеровцы здорово укрепились за горой Фонарь и что там сейчас идет бой.

Поужинав, мы с Володей долго не могли уснуть. Накрывшись его шинелью, мы лежали и разговаривали. Володя рассказывал мне о ремесленном училище, в котором он учился, о каком-то невиданном токарном станке. Потом Володя вспомнил о письмах, которые ему нужно было завтра написать.

— Четыре письма, — сонным голосом бормотал он. — Одно про убитого ефрейтора Ивлева, в город Щигры, у него там жинка и двое детей... Одно про Витьку, которого вчера поранило осколком, матери надо написать, в село Рощино, Воронежской области... Потом про этих двух... Про Погосяна и про Терехова...

Уснули мы поздно. Была такая тишина, что мы слышали, как со старых дубов падали вниз желуди и шуршали опавшие листья.

На рассвете я проснулся от дикого грохота и жара. Пониже того места, где мы лежали, горели дубы, а еще ниже, там, где были сложены мины, что-то трещало, сверкало, вспыхивало красноватым пламенем. Над горой с воем проносились вражеские штурмовики, на голой вершине бесновались какие-то темные фигуры, и я понял вдруг, что там сейчас идет яростная рукопашная схватка. Володи рядом со мной не было. Мимо пробежал старшина Глуз с ручным пулеметом. Он бежал, широко раскрыв рот, должно быть что-то крича и на ходу стреляя. За ним кинулись бойцы с винтовками наперевес. Правее с треском упало большое дерево, и повалил черный дым.

Охваченный острой тревогой и не понимая, что происходит, я хотел вскочить, но меня дернул за ногу лежавший рядом боец, и, когда я оглянулся и увидел его бескровное лицо, он движением головы указал мне влево. Там, в двадцати шагах от нас, прячась в папоротнике, ползли эсэсовцы.

— Кидай гранату! — крикнул боец.

Гранаты у меня не было. Схватив винтовку, я выстрелил два раза, но вдруг там, где ползли гитлеровцы вспыхнуло пламя. Над моей головой просвистели осколки, и сверху посыпались срезанные ими ветки. Это бросил гранату ефрейтор Сартоня, лицо которого на секунду мелькнуло передо мной в кустах. Еще через секунду я увидел пулеметчика Васю. Его счетверенный пулемет бил прямо по зарослям папоротника. Пулемет ходил ходуном, а Вася, полуголый, окровавленный, страшный, кричал одно слово: «Ага-а! Ага-а!» Потом по вершине горы пробежали наши бойцы, человек двадцать. Впереди Глуз. Я вскочил и, не

понимая еще, куда они бегут, побежал за ними и услышал их хриплый крик: «Ура-а!»

В эту минуту крики стали стихать, где-то внизу одна за другой разорвались две мины. Рядом со мной, тяжело дыша, заглывая слова, Глуз кричал в телефон:

— «Донец!» «Донец»!.. В пять ноль-ноль атака противника при поддержке авиации отбита. Прошу патронов и мин.

Уже совсем рассвело. По скату горы полз беловатый дым. Рядом со мной, раскинув руки, лежал мертвый Володя. Он лежал не по-детски длинный, вытянувшись, так что казался больше ростом, с полуоткрытыми застывшими глазами, с восковым лицом. Черная, залитая кровью штанина задралась, обнажая ногу. На подошвах изодранных камнями ботинок налипла глина и сухие стебли травы.

Закусив губу, я смотрел на Володю и думал:

«Обо всех своих мертвых друзьях ты, милый мальчик, писал письма. Куда же о тебе написать? Кому рассказать о твоей смерти? Где твой дом и где твои родные?»

Расстегнув карманы Володиной гимнастерки, я вынул вещи: красноармейскую книжечку, перочинный нож, вечное перо, которым он писал письма, удостоверение ремесленного училища.

В полдень мы хоронили убитых. Их было семнадцать. Бойцы вырубили в граните братскую могилу, положили мертвых, засыпали их свежей травой и завалили щебнем. На самом верху могилы мы положили тяжелый камень, отколотый вражеским снарядом от гранитной скалы. Раненый пулеметчик Вася высек на этом камне обломком штыка выпуклую красноармейскую звезду.

Вечером я простился со всеми товарищами, обнялся с Глузом и, в последний раз взглянув на могилу, медленно побрел вниз, к поляне, где меня ждал коновод с лошадьми. Похудевший за трое суток Орлик радостно заржал, увидев меня. Я вынул из сумки кусок черствого хлеба и протянул ему. Он, шевельнув бархатной губой, осторожно захватил хлеб и, хрумкая, проглотил его. Вскочив на коня, я съехал по тропинке к реке и поскакал в ущелье.

Командный пункт соединения Щагина, где я условился встретиться с Неверовым, располагался на западных склонах горы Хребтовой, совсем близко от командного пункта Аршинцева. Такое расположение, бок о бок с Аршинцевым, вначале удивило меня, но потом я понял, что благодаря этому южнее Горячего Ключа образовался крепкий узел обороны, прикрывающий долину реки Псекупс, подступы к Хребтовому перевалу и долину реки Нечепсухо. Таким образом, сосредоточенные на узком участке

соединение Щагина и дивизия Аршинцева обороняли важные проходы на Туапсе и прямой выход к морю. У Щагина были такие же, как у Аршинцева, добротные, сделанные из камней и бревен, блиндажи, так же стояли в кустах замаскированные машины и мотоциклы.

Полковник Александр Ильич Щагин, грузный человек с седой головой и добродушным лицом, сидел на табурете у входа в блиндаж. На мой вопрос об обстановке он сказал, что на его участке никаких изменений нет.

— Впрочем, — застенчиво улыбнулся Щагин, — противник на меня не очень сильно нажимает. Ведь моя дорога — это так только, название одно. А если еще пойдет дождь, то по ней не проедешь и не пройдешь. Так что противник ведет тут беспокоящий огонь, а основной удар направил на Бориса Никитича.

— А Борис Никитич выдержит? — спросил я.

— Полковник Аршинцев все выдержит, — серьезно ответил Щагин, — это замечательный командир и... и очень надежный сосед. Пока он рядом со мной, мой правый фланг неуязвим. Да, многие из нас, — сказал он, помолчав, — когда на равнине мы не смогли удержать противника, считали горы чуть ли не раем. На самом деле это далеко не так.

И он стал говорить о трудностях в организации горновьючного транспорта, оснащения войск горным снаряжением, о том, что война в горах требует специальных знаний, своеобразной тактики, совершенно отличной от тактики боев на равнине.

— Людям приходится на каждом шагу переучиваться, — продолжал полковник. — Взять хотя бы такой пример. На равнине командир роты привык чувствовать локоть соседа. Здесь же, в горах, совсем иное. Он на своем опорном узле изолирован. А привычки-то у него еще старые. И вот он подчас теряет фланги, допускает обход роты противником. Хорошо еще, что гитлеровцы действуют мелкими группами, я успеваю их ловить своими резервами.

Наш разговор прервал прилетевший из-под Новороссийска летчик Игнатов. Он сообщил тяжелую весть об эвакуации наших войск из Новороссийска. Вечером за столом, в щагинском блиндаже, Игнатов курил папиросу за папиросой и рассказывал:

— Когда наши ушли с Тамани, немцы уже прорвали западный фас новороссийского обвода, взяли Глебовку, залезли на гору Чухабль и вышли к колхозу «Победа». Я был там поблизости и видел, как дрался один наш батальон, им командовал Востриков. Левый флангом этот батальон упирался в море. Против него наступали вражеские автоматчики, на правый фланг лезли танки,

за танками кавалерия. Немцы несколько раз атаковали батальон Вострикова и выбили его из станицы, но он окопался за станицей. В этот день я вылетел на задание и видел все это сверху. Понимаете, дует северо-западный ветер, и вот фашисты подожгли станицу. Ветер гонит густые клубы дыма прямо на Вострикова, а за дымовой завесой идут толпы немецких автоматчиков. Я кружу над нашими, а сердце у меня бьется: неужели не видят? И, понимаете, вдруг, когда немцам оставалось пробежать всего тридцать метров, ветер повернул, дым рвануло назад, и гитлеровцы оказались перед окопами, как на столе. Ох, и дали же им!

— Потом мне рассказывали, — закончил летчик, — повел этот Востриков своих людей в ночную атаку. Его поддерживали своим огнем две канонерки старших лейтенантов Зубкова и Перекреста, с их помощью Востриков дал фашистам по шее и отбил станицу... Но это не помогло...

Игнатов встал и нервно заходил по блиндажу. Мы с полковником молчали. Летчик находился в том состоянии душевного напряжения, которое обычно бывает после боя, и особенно болезненно чувствуется оно после кровопролитного и неудачного боя, когда к обычному волнению примешивается обида, озлобление, недовольство собой, жалость к товарищам.

Выпив воды, Игнатов свернул непослушными пальцами папиросу, чиркнул спичку и продолжал:

— Шестого сентября вражеское кольцо стало сужаться вокруг Новороссийска. Наши кидались в контратаки, на всех участках дело доходило до рукопашных боев, но враги теснили с трех сторон, и уже стало ясно, что города не удержать...

— Паники не было? — сквозь зубы спросил Щагин.

— Паники не было, — ответил Игнатов, — но вы понимаете, когда люди чувствуют, что противник сильнее и что город сдадут, силы теряются...

— Вы скажите просто: бежали или не бежали?

— Бегущих я не видел, — сердито ответил летчик. — Знаю, что люди сотнями умирали на рубежах и совершали такое, что и не расскажешь. Особенно яростно дрались моряки. Фашисты их боялись чуть ли не больше, чем «катюш». Как они дрались под Глебовской, под горой Сахарная Голова, в поселке Мефодиевском и на улицах города! Но немцев было в десятки раз больше, да с танками, а их авиация не давала нашим вздохнуть.

— А как там сейчас? — спросил я.

— Три дня на улицах шли бои. Девятого наши оставили город.

— Далеко отошли от города?

— Нет, до цементного завода. Это правее Мефодиевского. Цемесская бухта и вся восточная часть Новороссийска под нашим контролем...

Игнатов замолчал, выкурил папиросу и, сославшись на усталость, ушел спать. На рассвете ему предстояло лететь в штаб Черноморской группы.

— Да, видно, ничего там хорошего не получилось, — сказал Щагин, — будем надеяться, что наши удержатся на цементном заводе и замкнут Цемесскую бухту. Если же мы не удержим этого участка, немцы начнут наступать вдоль моря и могут смять весь наш левый фланг. Впрочем, правый фланг у нас не в меньшей опасности, чем левый.

— Почему? — спросил я.

— Потому, что немцы стягивают силы на Туапсе, и, если им только удастся прорваться там к морю, произойдет трагедия, которую только можно себе представить.

Несмотря на значительное замедление темпов вражеского наступления, наше положение в сентябре стало более опасным, чем оно было в августе.

В передовой статье от 20 сентября 1942 года «Правда» писала:

«На полях сражений в районе Сталинграда, в предгорьях Кавказа идут **невиданные по своим масштабам и ожесточенности бои**. Над советской Родиной нависла серьезнейшая опасность. Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. Он поставил перед собой задачу — отрезать от нашей страны Советский Юг...»

Столь же серьезно оценивалось наше положение и в передовой «Красной звезды» от 26 сентября 1942 года:

«Три месяца идут ожесточенные бои на юге нашей Родины. Сюда — к Сталинграду и Северному Кавказу — приковано сейчас внимание всей Советской страны, всего мира. Здесь завязался важнейший узел событий второго года Отечественной войны. От исхода боев на Юге зависит судьба Отечества, свобода и жизнь миллионов советских людей...

На защитниках Советского Юга лежит сейчас величайшая ответственность за исход летней кампании 1942 года, за судьбу Советского государства. Их ответственность можно сравнить лишь с ответственностью защитников Москвы осенью 1941 года...

К Сталинграду и на Северный Кавказ немцы бросили свои главные силы, основную массу своих ударных дивизий, танков и авиации. Нашим войскам приходится сражаться с численно превосходящими силами противника».

Клейст, подхлестываемый требованиями Гитлера, прилагал все усилия, чтобы в первую очередь раздавить наши войска, остановившиеся в западных предгорьях Кавказского хребта и прикрывавшие Черноморское побережье. Это дало бы ему возможность не только обеспечить тыл своей группы армий, организовать подвоз через порты Черного моря, но самое главное, позволило бы ему использовать все силы для прорыва на Грозный и Баку.

Поэтому Клейст большую часть своих войск — девятнадцать из тридцати имевшихся в его распоряжении дивизий — бросил против частей Черноморской группы.

Не добившись успеха на Новороссийском направлении, фашисты перегруппировывают свои силы на Туапсинское. Здесь они собрали во второй половине сентября мощную группировку, которая должна была быстро прорваться к Туапсе и, перерезав коммуникации нашей Черноморской группы, поставить ее в безвыходное положение. Одновременно для отвлечения внимания командования Черноморской группы стрелковые и кавалерийские соединения Антонеску должны были перейти в наступление в районе Новороссийска.

У гитлеровцев были большие преимущества: они имели самую широкую возможность маневрировать крупными массами войск на кубанской долине. В распоряжении гитлеровского командования было много превосходных путей подвоза, удобные аэродромы, развитая дорожная сеть, у нас же ни свободы маневра, ни достаточных путей подвоза не было. Войска наши стояли среди лесистых гор, доходящих в этих местах до самого моря.

Наше положение ухудшало еще то обстоятельство, что, помимо железной дороги Майкоп — Туапсе, фашисты могли выйти к Туапсе несколькими обходными путями: долиной реки Псекупс, Пшехской долиной и другими... Это заставляло нас распылять свои силы на несколько направлений, все время держать войска в состоянии крайнего напряжения.

Правда, оборона Туапсе могла стать очень надежной и крепкой прежде всего потому, что севернее города у нас было четыре исключительно хороших естественных рубежа — горные хребты. Но для их укрепления и организации обороны требовалась большая затрата времени и усилий.

Сосредоточив для прорыва на Туапсе крупные силы, Клейст создал специальную «ударную группу» под командованием генерала Руоффа.

Ядро «ударной группы» Руоффа составляли полки четырех горных дивизий (часть полков действовала на высокогорных

перевалах центрального участка), 46-я пехотная дивизия генерал-майора Хейнциуса (трехполкового состава с артиллерийским полком, ротой мотоциклистов, велосипедным эскадром), моторизованная часть дивизии СС «Викинг», 96-й отдельный альпийский полк, 4-й охранный полк, отдельный «иностранный легион», набранный из авантюристов и проходимцев разных национальностей, и другие специальные подразделения. Вся группа была обильно снабжена минометами.

Эту центральную группу генерал Руофф бросил на Туапсе в лоб. Правее ее должны были пробиваться две моторизованные дивизии: 1-я словацкая дивизия и дивизия СС «Викинг», а также полки 125-й пехотной дивизии. Их задача была двигаться на Туапсе в обход по долине реки Псекупс, на Фанагорийское, хутор Кочканов, Елизаветпольский перевал, селение Шаумян.

Наступление вражеских сил началось массированными авиационными ударами по нашим оборонительным рубежам, по городу и близлежащим дорогам. Фашистские летчики бомбили Туапсе днем и ночью, группами и поодиночке, бомбили методично, с жестокостью и педантизмом. В тихие улочки, где еще недавно белели чистые, словно игрушечные, деревянные дачные домики, они бросали тысячекилограммовые фугасные бомбы, сотни зажигательных бомб, тяжелые бочки со смолой и нефтью. Они терзали, уродовали, мучили многострадальный приморский городок, точно мстили его защитникам за их мужество, за их упорство и стойкость.

В течение двух-трех недель Туапсе стал неузнаваем: вместо домов высились безобразные груды камней и бревен; там, где благоухали цветники, зияли огромные воронки и рыжей россыпью кирпичей багровели обрушенные стены; в порту не прекращались пожары, и волны плескались в пробоинах разбитого мола. Над городом не рассеивалась густая туча черного дыма и стоял невыносимо тяжелый запах разлагающихся трупов.

С первых же дней вражеских налетов жители стали покидать город. Нагруженные домашним скарбом, ведя за собой плачущих детей, они уходили в горы. Там, в пещерах, в узких теснинах и ущельях, жили они, боясь разжигать костры, чтобы не привлечь внимания гитлеровских воздушных бандитов. Там хоронили мертвых, там рожали детей...

В городе оставались только моряки. Я увидел однажды на рассвете картину, которая навсегда запечатлелась в моей памяти: груды развалин вместо улиц, хаос перепутанных телеграфных проводов, зарево пожаров, от которого море казалось кровавым, человеческие и конские трупы... И среди этого царства смерти — морской патруль: четыре матроса с винтовками... Они шли по

мертвому городу, и лица у них были суровые, и по торцам стучали подкованные железом ботинки...

После двухдневного пребывания у полковника Щагина мы с Неверовым отправились за информацией в штаб группы, чтобы потом возвратиться в Иркутскую дивизию.

Штаб располагался в небольшом селении, укрытом за холмами, по которым петляет шоссе. Деревянные домики селения спрятаны в густой зелени прибрежных лесов. На южных склонах холмов зеленеют виноградники с аккуратно подвязанными высокими кустами, на окнах домов желтеют гирлянды сушеных яблок. Смуглые женщины в ярких платьях с утра до ночи собирают в садах пахучие сливы, груши, яблоки. Но идиллическая картина ранней приморской осени и здесь нарушена — всюду следы войны.

Деревья над дорогой побелели от пыли. Пыль лежит на них таким густым слоем, что под ним исчезла зелень листвы. По дороге одна за другой движутся грузовые машины, обозы, пешеходы. Машины идут в обе стороны: на юго-восток — груженные эвакуированным из Новороссийска заводским оборудованием, железным ломом, или санитарные автомобили, в которых на подвесных носилках качаются раненые; на северо-запад — доверху наполненные снарядами, минами, патронами, мукой, сухарями, бочками с бензином.

Туда же, на северо-запад, к фронту, движутся маршевые роты. Потные, загорелые, покрытые пылью, солдаты идут медленно, не соблюдая равнения. Пот струями течет по их грязным от пыли, суровым лицам, воротники выцветших гимнастеров расстегнуты, пилотки сдвинуты на затылок. Люди преодолевают крутые подъемы, изнывая от жары, а слева, сквозь ветви старых деревьев, сверкает Черное море и слышно, как рокошет внизу неумолчный прибор.

Море пусто. Изредка проходят вдоль берега тихоходные транспорты, а вокруг них, вздымая пенные волны, плывут низкие, прижатые к воде миноносцы и рыскают торпедные катера. Под крутым берегом, у самого селения, торчит из воды корма затонувшего судна. Вражеская бомба настигла его здесь, и судно похоже на рыбу, которая хочет выскочить из воды. Рыжая ржавчина уже тронула уродливо помятую корму, и волны гулко бьются о железо.

Селение вытянулось вдоль берега на несколько километров.

Фашистские летчики каждый день появлялись над селением и беспорядочно сбрасывали бомбы. Одним из объектов, избранных фашистами в качестве важнейшей цели, стал большой одноэтажный дом, где помещалась столовая. Хотя этот дачный

дом с большой деревянной верандой стоял в глубине старого парка, спрятанный в густой листве высоких деревьев, вражеские летчики, должно быть, заметили тут скопление людей и несколько раз сбрасывали бомбы. Надо сказать, что ни одна из этих бомб в столовую не попала, а некоторые даже не разорвались.

Сидя в шалаше одного из политработников, батальонного комиссара Кузнецова, — этот шалаш стоял в парке, на крутом берегу моря, — мы с Неверовым наблюдали воздушный бой, завязанный нашими истребителями с шестеркой «мессершмиттов».

Было теплое и ясное сентябрьское утро. Только что взошло солнце. Море сияло светлой голубизной. «Мессершмитты» вынырнули из-за окутанного утренней дымкой мыса и кинулись на штурмовку дороги. Вскоре мы услышали гулкое хлопанье коротких пулеметных очередей.

Лейтенант с забинтованной головой, который лежал рядом с нами на траве, поморщился:

— Опять садят, сволочи. Ни одной минуты покоя.

В это время раздалось нарастающее жужжание моторов. Из-за парка вылетела тройка наших истребителей. Два из них летели низко над берегом, прямо в лоб фашистам, а один чуть заметной искоркой мелькал в небесной синеве. Он сделал большой полукруг, развернулся над морем — и вдруг, словно ястреб, заведевший добычу, камнем ринулся вниз.

— Это майор Калараш! — восхищенно сказал лейтенант. — Король черноморских истребителей Калараш! Вы следите за ним! Вы смотрите, что он будет делать! Вот это настоящий ас, гитлеровцы перед ним — дерьмо.

Пулеметы застучали чаще. И вот из-за леса вылетели шесть «мессершмиттов». Фашисты летели двумя тройками: первая тройка гналась за Каларашем, прижимая его к берегу; вторая, наоборот, поворачивала к морю, уходя от наших истребителей.

Два фашиста шли уже правее Калараша, один остался в хвосте. Вражеские пулеметы захлебывались в озлобленном лае, с каждой минутой расстояние между одним из немцев и Каларашем сокращалось. Вдруг самолет Калараша качнулся, как от удара, и стал падать.

— Сбили, паразиты! — крикнул Неверов.

— Погодите, погодите! — отмахнулся лейтенант. — Смотрите дальше.

Самолет Калараша, бессильно лежа на крыле, исчез за скалами. «Мессершмитты», пролетев дальше, стали разворачиваться, чтобы лечь на обратный курс. По всему берегу

захлопали зенитки. В это мгновение истребитель Калараша взмыл вверх свечой и, сверкая как молния, устремился прямо на фашистов. «Мессершмитты» заматались. Наши зенитки смолкли. Выбрав среднего фашиста, Калараш ринулся в атаку. Мы не слышали пулеметной очереди, но видели, как «мессершмитт», сбивая темный дым, попытался уйти в море, а потом круто развернулся, вспыхнул и упал в воду.

Два других вражеских самолета исчезли. А Калараш медленно пролетел над местом падения «мессершмитта» и пошел к берегу. С берега ему махали пилотками, кричали, аплодировали. Женщины поднимали на руках ребят и говорили:

— Вот дядя Митя!

Качнув крыльями, Каралаш описал круг, дождался двух своих напарников и ушел на аэродром.

— Видели? — с гордостью сказал лейтенант. — Каков? От него не спасется ни один фашист. Это уже шестой или седьмой.

— Откуда этот Калараш и где его найти? — спросил Неверов.

— Я его хорошо знаю, — ответил лейтенант, — потому что каждый день бываю на аэродроме. Да его тут все знают. Сам он саратовский, был на Западном фронте, потом в Крыму, прикрывал казаков под Кущевской. На всех типах истребителей летает как бог. Их у нас два таких: Калараш и Щиров. Спросите тут любого мальчишку, вам каждый о них скажет.

Лейтенант долго рассказывал нам о летчиках, об их великолепных воздушных боях, смелости и отваге. Позже я узнал, что за бои в Черноморье правительство присвоило майору Дмитрию Каларашу и капитану Сергею Щирову звание Героя Советского Союза...

Мы пробыли в селении до вечера.

Оформив все необходимые документы и получив нужную нам информацию, мы с Неверовым отправились на рассвете следующего дня в обратный путь, решив по дороге осмотреть морское побережье, которое стало ближним тылом всей Черноморской группы. Мы ехали по единственной рокадной дороге — Новороссийскому шоссе. То отступая от берега, то подходя к самому морю, это шоссе петляет на взгорьях, сбегает в ущелье, ломается неожиданными крутыми зигзагами. Почти на всем протяжении шоссе прячется в густой тени высоких деревьев и только изредка, вырываясь в долины, бежит по ним открыто, прямое, как туго натянутая струна.

Сотни небольших каменных мостов перебрасывает шоссе через многочисленные горные овраги. Пожилые дорожники днем и ночью работают у мостов, сглаживая ломами и лопатами крутизну поворотов, подсыпая землю на склонах, отгораживая

камями опасные обрывы.

В те дни Новороссийское шоссе служило единственным путем снабжения войск Черноморской группы, и его берегли как зеницу ока. Во всех прибрежных санаториях, домах отдыха, пионерских лагерях стояли дорожные команды, заградительные отряды, солдаты комендантского патруля. На высоких скалах были установлены мощные прожекторы, и моряки-пограничники не спускали глаз с моря. В непролазных джунглях стояли замаскированные пушки, пулеметные гнезда; тут на каждом шагу вас сопровождал чей-нибудь внимательный взгляд.

Гитлеровцы все время летали над дорогой, сбрасывая бомбы на мосты. Но высота гор лишала вражеских летчиков возможности снизиться, и они почти всегда промазывали, отыгрываясь на приморских селениях, которые ежедневно подвергались бомбежке.

Все эти селения строили русские солдаты-пехотинцы.

В 1831 году русские солдаты построили укрепление Геленджик, в 1838 году, высадившись в устье реки Сочи, построили Навагинское, а у реки Туапсе — Вельяминовское укрепление. Солдаты генерала Раевского возвели тут Головинский и Лазаревский форты. На месте прежней крепости Суджук-Кале, при устье реки Цемес, была заложена крепость, впоследствии названная Новороссийском.

Проезжая все эти памятные места, мы вспоминали о пребывании Пушкина в драгунском полку Раевского, службу Лермонтова в Тенгинском полку, героическую смерть Бестужева-Марлинского на мысе Адлер, смерть поэта-декабриста Александра Одоевского — все дорогие страницы нашей истории...

На правом крыле дивизии Аршинцева, отбивавшей яростные атаки гитлеровцев под Туапсе по долине реки Псекупс, находился полк майора Ковалева, оборонявший теснину Волчьих Ворота. Эта теснина была единственным удобным проходом в направлении на юго-восток, к железной дороге Майкоп — Туапсе, и фашистское командование сделало Волчьих Ворота объектом ожесточенных атак.

Теснина Волчьих Ворота лежит между двумя высокими лесистыми горами. Прямо посредине этой узкой теснины, едва достигающей в ширину (да и то в одном только месте) трехсот метров, протекает быстрая горная река Псекупс, впадающая в Кубань. Вдоль этой реки, берега которой загромождены валунами, протекает дорога. У входа в теснину, на северном конце, находится селение Безымянное, а у выхода, там, где река Псекупс

разливается двумя рукавами, — селение Фанагорийское. От Безымянного до Фанагорийского всего пять километров, и казалось, гитлеровцы легко могли пройти это расстояние, но как раз посередине между двумя селениями и лежат Волчьи Ворота, имеющие общую протяженность до двух километров.

Если бы гитлеровцам удалось прорваться через Волчьи Ворота и взять Фанагорийское, они вышли бы через долину реки Псекупс к Елизаветпольскому перевалу и ударили бы в тыл нашей группировке, оборонявшейся на подступах к Туапсе с севера.

Майор Ковалев был любимцем всей дивизии. Своей храбростью, пылкостью и какой-то неподражаемой ловкостью, своими постоянными ударами, которые все называли «ковалевским везением», — он целиком оправдывал эту горячую любовь.

Ковалев расположил свои батальоны на обеих высотах, замыкающих с боков теснину, расставил на скатах за валунами и на дне теснины пулеметы и минометы, выставил на тропах отборные команды охотников, отлично пристрелял из пушек ближние подступы к Волчьим Воротам, посадил на деревья сотню великолепно натренированных снайперов и таким образом наглухо запер Волчьи Ворота.

Фашисты десятки раз штурмовали теснину, но, встреченные убийственным огнем из всех видов оружия, каждый раз откатывались назад, оставляя перед Волчьими Воротами сотни трупов.

Генерал Руофф, получивший приказ Клейста любой ценой взять Туапсе, разработал сложную операцию больших и малых «клещей», и эта задуманная им операция предусматривала обязательное овладение Волчьими Воротами.

На овладение Волчьими Воротами генерал Руофф бросил 125-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Шнеккенбургера. Это была кадровая дивизия, состоявшая из вюртембержцев и еще до войны сформированная в Мюнзингене. Генерал Шнеккенбургер был старый, опытный служака, и Руофф имел все основания надеяться на то, что дивизия Шнеккенбургера, усиленная артиллерийским полком, безусловно, захватит Волчьи Ворота и прорвется к селению Шаумян.

Несколько дней Шнеккенбургер потратил на тщательную рекогносцировку, чтобы взять теснину обходным движением: для этого надо было найти хотя бы охотничью тропу, по которой могли бы пройти специальные группы автоматчиков. Но поиски обходных путей не увенчались успехом: на западе теснину замыкали поросшие густым лесом горы хребта Котх, а на востоке — такие же крутые лесистые горы, наименования которых даже

не обозначались на карте. Тогда Шнеккенбургер решил штурмовать Волчьи Ворота лобовым ударом пехоты при активной поддержке артиллерии и авиации.

На полк Ковалева обрушился целый ураган бомб, снарядов, мин. «Огневая обработка» теснины длилась двое суток, и казалось, там не должно остаться ничего живого. Но как только гитлеровские гренадеры 419-го полка ринулись в атаку, они были встречены губительным кинжальным огнем пулеметов, мощными ружейными залпами, взрывами гранат. Шнеккенбургер сам наблюдал с высоты, как этот полк, оставляя мертвых и раненых, бежал к Безымянному.

На следующее утро фашистские бомбардировщики, словно мстя за неудачу 419-го полка, засыпали теснину фугасными и зажигательными бомбами, подожгли лес и прочесали пулеметным огнем внутренние скаты замыкающих теснину гор, а в полдень пошел в атаку 420-й полк, но и он был отброшен с большими потерями.

В густом дыму, в пламени горящих лесов, под губительным огнем противника поредевший полк майора Ковалева в течение четырех суток отбивал ожесточенные атаки фашистов и не отошел ни на один шаг. Но силы полка таяли, и уже казалось, что нам не удержать Волчьих Ворот.

Надвигались ранние осенние сумерки. Мы сидели на бревне у самого входа в блиндаж. Аршинцев, обхватив руками колени, поглядывал вниз, на дорогу, — он ждал к себе командиров полков. Неверов и я слушали рассказ комиссара дивизии подполковника Штахановского о боях ополченцев под Ростовом.

Из-за хриплой астматической одышки Порфирий Александрович Штахановский кажется гораздо старше своих сорока шести лет. Этот человек очень многое видел, и его интересно слушать. Еще в 1912 году, будучи наборщиком в одной из петербургских типографий, Штахановский вступил в партию большевиков, а в 1918 году ушел добровольцем в Красную Армию, бил белополяков под Полоцком и Дриссой, работал в ЧК, ликвидировал банды на Смоленщине. Когда немцы подошли к Ростову, Штахановский во главе полка народных ополченцев дрался на улицах горящего города и одним из последних переплыл Дон. Комиссаром Иркутской дивизии его назначили уже во время отступления.

— Я, братцы мои, все прошел в жизни, — хрипло дыша, говорил нам Штахановский, — я прошел огонь и воду — и не в переносном, а в прямом смысле прошел... сто раз смерти в глаза смотрел...

— К чему это вы? — улыбается Аршинцев. — Это на вас непохоже — рассказывать о себе.

Штахановский багрово краснеет и хрипит:

— Я не к тому, Борис Никитич. Я вот вижу, вы нервничаете, мучает вас судьба Ковалева. Я и хотел сказать, что вера в партию всегда поддерживала меня, всегда укрепляла мой дух, даже тогда, когда, казалось бы, смерть была неминуема...

— Ну и что же? — спрашивает Аршинцев.

— Да все то же, — сердито усмехается Штахановский, — насчет Волчьих Ворот вы не волнуйтесь. Я ведь недавно оттуда. Посмотрели бы вы, какие там коммунисты: Сытник, Кулинец, Полевик, Герасимов, Паршин. Орлы, а не люди. Кулинец был ранен в голову и, весь в крови, поднял взвод в контратаку. Герасимов чудеса творит со своим ручным пулеметом. А Митрофанов? А Тружеников? А Мартынов? А Овсеньян? Там, Борис Никитич, настоящие коммунисты. Они Волчьих Ворот не сдадут.

Склонив голову набок, Аршинцев вслушивается в отдаленную трескотню пулеметов, смотрит, как на горе Солодке темнеет багряный отсвет заката, и говорит вздыхая:

— У коммунистов, Александрыч, хорошие, горячие сердца. Но это человеческие сердца, и они могут быть пробиты пулей. Вы знаете, что Кулинец убит два часа тому назад. Не знаете? А что Сытник тяжело ранен, тоже не знаете?

На скатах горы Солодки появляются первые лиловые тени. Снизу потянуло вечерним холодом. Где-то неподалеку, за блиндажом, стучит неутомимая машинистка, и, соревнуясь с ней, над нашими головами постукивает уже привыкший к людям дятел. Наконец на дороге слышится фыркание лошадей и показывается забрызганная грязью рессорная тачанка. Из тачанки вылезают двое военных. Оправляя на ходу гимнастерки, они идут к блиндажу.

— Ильин и Клименко, — говорит Штахановский.

Командир полка майор Клименко — маленький, курносый шатен. У него очень спокойное красивое лицо, худые детские руки. Трофейный маузер в деревянной колодке явно мешает ему, он беспрерывно сдвигает его назад. Высокий, рыжеволосый, шумный подполковник Ильин, командир другого полка, рядом с тщедушным Клименко кажется великаном. Аршинцев жестом приглашает их сесть и смотрит на ручные часы.

— Что это Ковалева нет? — говорит он тревожно.

— У Ковалева там горячка, — вздыхает Клименко.

— Да, — отзывается подполковник Ильин, — Волчьи Ворота.

Но вот на дороге слышится топот конских копыт. На поляну

влетает всадник. Ловко соскочив с коня, он кидает поводья подбежавшему бойцу и, похлопывая плетью по сверкающим голенищам, быстро идет к нам. Мы все любимся им. Высокий красавец в черной кубанке, с биноклем на груди, порывистый и горячий, он идет так, точно сдерживает в себе рвущуюся наружу буйную удаль.

Не дойдя до нас трех шагов, он прикладывает руку к кубанке и говорит звучным грудным голосом:

— Товарищ полковник! Командир полка майор Ковалев прибыл по вашему приказанию.

Аршинцев пожимает Ковалеву руку и поворачивается к нам:

— Прошу всех в мой блиндаж.

Мы спускаемся вниз вслед за Аршинцевым. Ординарец зажигает в блиндаже светильник — пять стреляных патронов противотанкового ружья, спаянных на высокой гильзе зенитного снаряда. Этот светильник, похожий на старинный подсвечник, озаряет карту, портсигар на столе, портрет Матэ Залка, ходики на обитой картоном стене, лица людей.

В блиндаже яблоку негде упасть. Вслед за нами входят начальник штаба дивизии Малолетко, похожий на Буденного, коренастый усач; начальник политотдела старший батальонный комиссар Козлов, высокий бритый человек в массивных роговых очках; заместитель командира дивизии полковник Карпелюк, добродушный украинец с красивыми серыми глазами.

Усаживаются на чем только можно: на табуретках, на кровати, на чемодане, на низком железном сейфе.

Подождав, пока все рассядутся, Аршинцев — он стоит у стены, поставив ногу на перемычку свободного табурета, — тихо говорит:

— Докладывайте, майор Ковалев.

Поглаживая смушку щегольской кубанки, Ковалев начинает доклад об обороне Волчьих Ворот. Он заметно волнуется и торопливо говорит о том, что за истекшие сутки его полк отбил девять атак и понес серьезные потери, что, по данным разведки, у Волчьих Ворот действует 125-я дивизия Шнеккенбургера, в состав которой входят три гренадерских полка, артиллерийский полк, саперный батальон, мотоэскадрон, рота мотоциклистов.

— Кроме того, — говорит Ковалев, — противник бросил на этот участок две эскадрильи бомбардировщиков и штурмовиков. Они не слезают с теснины ни днем, ни ночью. Сегодня, например, сделали двенадцать вылетов.

— А как настроение у бойцов? — спрашивает Штахановский.

— Настроение хорошее, — отвечает Ковалев, — но дело сейчас не в настроении.

— А в чем?

— В боеприпасах. У меня не хватает снарядов и мин, мало гранат и патронов. Дайте мне боеприпасы, подбросьте немного людей — и все будет в порядке.

Все шумно вздыхают. Козлов, любясь Ковалевым, бросает:

— Значит, Волчьи Ворота не оставишь?

— Ни в коем случае, — вспыхивает Ковалев, — не оставлю, если даже останусь один.

— Ну это ты брось, браток, — ласково говорит Штахановский, — отвагу твою мы знаем, а разговор тут серьезный.

— Я серьезно и говорю: Волчьи Ворота можно держать, несмотря на превосходящие силы противника. Обходных троп там нет, проход очень узкий, танки не пройдут: единственная дорога минирована.

— А люди твои что думают?

— Люди тоже так думают. Каждый знает, что фашистов сейчас уже пропускать нельзя. Бойцы дерутся как черти, сами идут врукопашную.

— Пленные есть? — спрашивает Аршинцев.

— Сегодня взяли одного.

— Солдат?

— Ефрейтор взвода разведки.

Аршинцев говорит начальнику штаба:

— Передайте в полк, чтобы немедленно доставили пленного прямо ко мне, без задержки.

Усатый Малолетко выходит из блиндажа и через две минуты возвращается. Тем временем майор Ковалев, разложив на коленях бумажку, перечисляет потери противника в людях и цифры захваченных полком винтовок и пулеметов.

— А ваши потери каковы?

— За четверо суток я потерял триста пятьдесят девять человек: убитых — девяносто семь, раненых — двести восемнадцать, без вести пропавших — сорок четыре.

— А противник?

— Я говорил: у входа в теснину лежит до четырехсот трупов, раненых примерно в два раза больше, пленных одиннадцать. Так что, по нашим подсчетам, у противника вышло из строя свыше тысячи человек...

Сев на табурет, Аршинцев берет карандаш и начинает что-то чертить в блокноте. Я сижу к нему ближе всех и вижу, что он рассеянно рисует какой-то острый профиль, но все думают, что командир дивизии занят чем-то важным и поэтому разговаривают вполголоса: маленький Клименко о чем-то расспрашивает

Ковалева, Штахановский и Козлов говорят о вручении партийных билетов, Карпелюк, Неверов и Малолетко слушают рассказ Ильина о смерти пулеметчика Матяша. Люди говорят шепотом, так тихо, что отчетливо слышно тикание ходиков.

Я с удивлением смотрю на Аршинцева: почему он молчит, зачем этот неожиданный перерыв в докладе и как в эту минуту, когда решается судьба самого важного участка обороны, можно рисовать какие-то профили? Вначале мне кажется, что Аршинцеву просто скучно, что ему смертельно надоели разговоры, но потом я замечаю (мне видна освещенная светильником щека Аршинцева), как дрожит его века и как он, остановив в воздухе занесенный над блокнотом карандаш, смотрит куда-то невидящими глазами и сосредоточенно покусывает губы.

Вдруг он поворачивается ко мне, щелкает портсигаром, закуривает и устало роняет:

— Говорят, на войне бывает мужество двух родов: во-первых, мужество в отношении личной опасности, а во-вторых, мужество в отношении ответственности перед судом народа, перед судом истории, наконец, перед судом собственной совести...

Сломав недокуренную папиросу, он смотрит на карту, исподлобья поглядывает на Ковалева и, вздохнув, опять начинает рисовать один и тот же профиль.

— Товарищ полковник, — докладывает вбежавший в блиндаж ординарец, — военнопленный приведен по вашему приказанию.

— Переводчик есть?

— Так точно.

— Пригласите переводчика и введите пленного.

Боец исчезает. Через минуту распахивается дверь, в блиндаж входят сержант-переводчик и пленный немец — худощавый, мускулистый, с холодными светлыми глазами и презрительными губами. Увидев офицеров, он вытягивается, щелкает каблуками и отчеканивает, не дождавшись вопроса:

— Обер-гефрайтор!

После обычных вопросов о нумерации дивизии и полка, их численности и дислокации Аршинцев говорит:

— Расскажите о себе подробнее.

— Я из взвода конной разведки, — отвечает обер-ефрейтор, — родом из Вюртемберга. По профессии архитектор. Член национально-социалистической партии. Был в отряде «СА». За Севастополь награжден железным крестом, за Ростов имею знак ранения.

— Ваш генерал Шнекенбургер имеет награды?

— О да! Он имеет два железных креста, а за форсирование Дона награжден рыцарским крестом.

— Каковы ваши взгляды на исход войны?

— Каждый немецкий солдат уверен в победе. Наш полковник фон Циммерман говорит, что в этом году мы завоюем Кавказ, а в следующем году раздавим Московский фронт. Командир нашего взвода лейтенант Шулле заявил, что вскоре мы покончим с Россией и с Англией...

Все с ненавистью глядят на хвастливого нациста. У Козлова заметно дрожит нога; усатый Малолетко шепчет ругательства; Ильин и Клименко сидят, отвернувшись; Ковалев угрожающе вертит в руках ременную плетть. Но, странно, чем более хвастливым и наглым становится пленный гитлеровец, тем более оживленным и как будто даже довольным делается лицо Аршинцева. Он усмехается, тихонько кивает головой и подзадоривает пленного:

— Но вы с вашим генералом Шнеккенбургером что-то долго топчетесь у Волчьих Ворот! Пожалуй, еще и не возьмете?

— Эту теснину мы возьмем в ближайшие дни, господин офицер, — с достоинством говорит обер-ефрейтор, — у нас тут большое превосходство в людях и в технике. Вообще же, как говорят офицеры, положение германской армии на Кавказе очень хорошее. Мы, безусловно, выйдем здесь к морю и возьмем Баку.

— А как вы расцениваете силы, стоящие против вас в теснине? Вы ведь разведчик и должны знать, кто против вас действует.

— Конечно. Против нас действует пехотный полк майора Ковалева, — небрежно тянет пленный, — мы знаем, что это довольно способный офицер, но уверены, что он не устоит против вюртембергских стрелков и в ближайшие дни покинет теснину...

— Ах ты!.. — вскакивает Ковалев, но, повинувшись взгляду Аршинцева, снова садится.

— Увести пленного, — приказывает Аршинцев.

Вскинув голову, ефрейтор выходит из блиндажа. Следом за ним идет сержант-переводчик. Все молчат. Только Штахановский смеется:

— Эх он тебя отчехвостил, Ковалев! В ближайшие дни, говорит, майор Ковалев покинет Волчьи Ворота...

— Черт!

Прищулив глаза, полковник Аршинцев долго смотрит на Ковалева и вдруг говорит:

— Немец прав, Ковалев. Завтра к вечеру вы оставите Волчьи Ворота.

Все умолкают. Ковалев бледнеет, но потом щеки его покрываются румянцем — он понял шутку командира дивизии, и, хотя, пожалуй, это неуместная шутка, Ковалев готов принять ее.

Он улыбается, встает и отвечает, выдерживая шутиливый тон, — раз так угодно начальству, можно немного пошутить:

— Слушаюсь, товарищ полковник. Я оставлю теснину Волчьих Ворота, если получу ваш письменный приказ.

Но мы все видим, что Аршинцев взволнован. Он стоит у стены блиндажа, заложив руки за спину, и светильник освещает его бледное лицо, темные узкие глаза.

— Я не шучу, майор Ковалев, — медленно произнося слова, говорит он, — завтра в девятнадцать часов вы начнете отход от теснины. Письменный приказ получите через два часа. Понятно?

Командиры вскакивают и смотрят на Аршинцева так, точно он болен. Аршинцев обводит их всех внимательным взглядом, потом молча берет со стола толстый карандаш, проводит на карте черную стрелу острием на юг, поворачивает карандаш, замыкает оперение стрелы жирной красной чертой у селения Фанагорийского и кидает одно слово:

— Мешок.

Командиры переглядываются. Ковалев и Клименко склоняются над картой. А полковник Аршинцев, постукивая карандашом по столу, говорит отрывисто:

— Мы не можем играть в солдатики или драться на кулачки. Генерал Шнеккенбургер непоколебимо уверен в том, что его дивизия прорвет Волчьих Ворота. Значит, он не заметит ловушки и полезет в мешок с головой. Гитлеровцы уверены в слабости Ковалева — пленный подтверждает это. Не надо лишать их этой глупой уверенности. Наш отряд из теснины надо инсценировать как отступление с боем, и даже с большим боем. А потом, когда враги втянутся в теснину и займут Фанагорийское, — отсекать им отход и ударить кулаком по голове. Понятно?

— Понятно, товарищ полковник, — с радостной готовностью говорит Ковалев, — это здорово получится.

— Погодите, товарищ Ковалев, — хрипит Штахановский, — это действительно могло бы здорово получиться, если бы у нас были резервы. У Шнеккенбургера целая дивизия. Мы пропустим его через теснину и попытаемся отсекать отход. Это понятно. А что будет, если Шнеккенбургер не захочет возвращаться назад и вместо этого пойдет из Фанагорийского прямо к Елизаветпольскому перевалу? Вот и выйдет — мы сами поможем ему выполнить приказ Гитлера и под ручки подведем на Туапсинскую дорогу, потому что тогда мы уже ничем не сможем его остановить.

— У меня тоже мелькнула такая мысль, — растягивая слова, говорит маленький Клименко, — но я думаю, если туда подтянуть пушки и дать Ковалеву с полсотни пулеметов, мешок может

получиться...

— Тут есть и другая опасность, — вмешивается Карпелюк, — не менее острая опасность. Если даже Шнеккенбургер не пойдет к Елизаветпольскому перевалу без своих тылов (а тылы Ковалев отрежет у него несомненно), он может повернуть вправо, по дороге на Хребтовое, залезет к нам в тыл, и мы сами окажемся в мешке.

— Ну, это чепуха! — горячится Ковалев. — Самое главное, чтоб это все было для него внезапным и неожиданным. Никуда он не пойдет. Я стукну его по загривку так, что он у меня замечется, как карась на сковороде.

Высокий Козлов протискивается к столу, секунду смотрит на карту, рывком поправляет сползающие очки и, обращаясь почему-то к Карпелюку, говорит раздраженно и резко:

— Хорошо. Допустим, что мы оставим все без изменений. Никаких отходов, никаких мешков. Что нас ожидает? Полк Ковалева истекает кровью. Сменить мы его не можем. Ну еще день, еще два, ну неделю пусть он протянет. А потом что, позвольте вас спросить?

— А потом Ковалев сдаст немцам Волчьи Ворота, — бормочет усатый Малолетко, — потому что ему нечем будет обороняться...

Поигрывая карандашом, Аршинцев молча, внимательно слушает командиров. Глядя в его темные глаза, я понимаю, что этот человек уже все взвесил, все решил, сопоставил все «за» и «против», уже взял на себя ту огромную ответственность за исход операции, которая легла на него тяжелым бременем, но в то же время преобразила его — убила в нем все сомнения и колебания.

— Вопрос ясен! — он произносит эту стандартную фразу с легкой усмешкой и, склонившись над картой, бросает отрывисто: — Завтра в девятнадцать часов майор Ковалев, оставив в теснине одну усиленную роту, под покровом темноты начинает отход, вдоль дороги на Хатыпс и на южных скатах высоты располагает полк в засаде. Сегодня ночью ему будет придан дивизион артиллерии, который надо замаскировать на западных скатах с таким расчетом, чтобы простреливалась вся теснина — от слияния речных рукавов до селения Безымянного. Первый батальон из полка Клименко сегодня, в двадцать четыре часа, выходит к отметке триста восемьдесят шесть, располагается в лесной чаще и по моему сигналу закрывает противнику отход в теснину. Два батальона подполковника Ильина и отряд морской пехоты, который находится в резерве, сегодня, в двадцать три часа выходят к хутору Чепси и укрываются в засаде юго-западнее Фанагорийского...

Аршинцев на секунду умолкает, разглядывает карту и

говорит, ни к кому не обращаясь:

— Если принять грубый подсчет, получится следующая картина: против десяти батальонов противника у нас будет шесть батальонов. Но на нашей стороне внезапность и полная готовность ко всему тому, что не предусмотрено противником. Кроме того, мы располагаем свою артиллерию так, что простреливается вся теснина, подступы к ней и выход из нее. Мы атакуем с трех сторон, сверху вниз, и вступаем в рукопашный бой.

Глядя на Ковалева, Аршинцев продолжает:

— Надо подготовить людей к этой операции, но смысл ее держать в секрете. Мы будем вести ближний бой в долине, замкнутой горами. Поэтому раздайте бойцам достаточное количество гранат, по десять штук на человека. Штыки надо держать примкнутыми. Ведите тщательную разведку и шлите мне донесения через каждые полчаса. Начало операции по часам, без сигналов. Начало открытия огня и боя на уничтожение — сигнал с высоты триста восемьдесят шесть, зеленая и красная ракеты. Мой командный пункт переносится на высоту триста восемьдесят шесть. Руководжу операцией лично я. Через два часа командиры полка получают мой письменный приказ. Вы, товарищ Клименко, останетесь на своем участке с двумя батальонами, а вы, товарищ Ильин, с одним. Прошу смотреть в оба. Вам, товарищ Карпелюк, придется заменить меня здесь и держать весь штаб в полной готовности ко всяким неожиданным поворотам событий.

Аршинцев еще раз склоняется над картой, насвистывая, рассматривает ее, а потом оборачивается:

— Ну, как будто все?

— Да, Борис Никитич, ясно, — кивает Штахановский.

— Ну вот. Остальное все в приказе. Можете быть свободными.

Командиры поднимаются, пожимают руку Аршинцеву и уходят, тихо переговариваясь. Неверов едет со Штахановским в полк Ковалева. Малолетко, покручивая усы, отправляется писать приказ. Мы с Аршинцевым остаемся одни. Он расстегивает гимнастерку, гладит ладонью грудь, вздыхает.

— Посидим на воздухе, — говорит он мне, — а то тут накурили, дышать нечем.

Мы выходим из блиндажа и садимся на бревно. В темноте шумят деревья, снизу доносится журчание речки. На переднем крае тихо, только время от времени, точно дальние зарницы, вспыхивают ракеты.

Аршинцев поворачивается ко мне.

— Хорошая ночь, — задумчиво говорит он, — в такую ночь хочется помечтать. А ведь нам есть о чем помечтать, правда? У

каждого человека были до войны свои мечты, а сейчас мы все думаем об одном...

— О чем вы думаете? — спрашиваю я.

Аршинцев смеется.

— Я думаю о Волчьих Воротах.

Коснувшись его руки, я говорю:

— Скажите, Борис Никитич, вы совершенно убеждены, что операция у Волчьих Ворот будет удачной?

— Если бы я не был убежден в этом, — отвечает Аршинцев, — я не принял бы решения об отходе Ковалева.

— Что же вас тревожит?

— Знаете, на войне, как нигде, имеет значение случайность. Тысячи непредвиденных случаев подстерегают нас в бою на каждом шагу, и в наши расчеты вторгается множество фактов, появление которых не предусмотрено, а они иногда решают исход операции.

— Тогда, значит, можно говорить о фатуме, о судьбе, о счастье или несчастье.

— Нет, нельзя, — усмехается Аршинцев. — Я не фаталист. Все дело заключается в том, чтобы эти на первый взгляд мелкие факты, которые не предусмотрены никакими уставами, но могут решить исход боя, не застали нас врасплох.

— Вы об этом сейчас думали?

— Я думал сейчас о том, откуда начать артиллерийский обстрел, когда гитлеровцы пройдут теснину, чтобы заставить их немедленно повернуться на сто восемьдесят градусов.

— Ну и что же?

— Ну и решил бить в лоб и с боков, а потом ударю с тыла...

Днем у Волчьих Ворот все было по-прежнему. Фашисты четыре раза бросались в атаку и были отбиты с большими потерями. В течение дня два батальон Ильина и один из батальонов Клименко скрытно передвинулись в лесу и, как было приказано Аршинцевым, укрылись в засаде.

В пятом часу я поехал к Ковалеву. Тихий осенний день был на исходе. По лесным дорогам двигались замаскированные ветвями пушки, шли караваны нагруженных минами ишаков, по тропам пробирались группы бойцов. Но как только в воздухе показывались фашистские разведчики, все замирало: люди укрывались в кустах, пушки останавливались на обочине дороги. Вражеские самолеты, медленно покружив над лесом, улетали.

У всех было в этот день то торжественно-приподнятое настроение, какое обычно бывает перед большим боем: красноармейцы осматривали оружие, наспех писали письма,

разговаривали друг с другом вполголоса, командиры отдавали последние распоряжения, сверяли часы, хлопотали в штабах.

Ровно в девятнадцать часов полк Ковалева начал отход из теснины. Время отхода совпало с короткой паузой между двумя вражескими атаками. Гитлеровцы вели из Безымянного по теснине редкий артиллерийский огонь. Одна наша батарея, маскируя отход батальонов, отвечала частым огнем.

Уже совсем стемнело. В теснине стало холоднее. Покинув позиции, батальоны вышли на дорогу и форсированным маршем направились к Фанагорийскому. Было почти непонятно: как в такой крошечной тьме, в густом лесу, где всего только одна дорога да несколько охотничьих троп, люди найдут свое место, разыщут указанные им позиции и приготовятся к бою. Но командиры рот уже заранее изучили, куда им надо вести людей, и поэтому отход полка протекал нормально. Рота, оставленная в теснине, вела частый ружейный и пулеметный огонь. В случае, если бы немцы пошли в атаку, эта рота должна была с боем отходить на Фанагорийское, миновать селение, закрепиться на высоте и вести бой до тех пор, пока главные силы противника втянутся в теснину.

В течение ночи фашисты ни разу не пытались штурмовать Волчьи Ворота. Но как только обозначились первые признаки рассвета, в шестом часу утра, 421-й вражеский полк после короткой артиллерийской подготовки ринулся в атаку. Оставшаяся в теснине рота отбивалась сорок минут, потом, прикрываясь ручными пулеметами, отступила, открыв вход в Волчьи Ворота.

Передовые отряды вражеских автоматчиков вошли в теснину. Рота с боем отступала. Бойцы перебегали от камня к камню и беспрерывно отстреливались.

К девяти часам весь вражеский полк втянулся в теснину и начал преследование отступающей роты. Не зная, какие перед ними силы, гитлеровцы продвигались довольно медленно, простреливая скаты ближних высот, высылая боковые дозоры и все время ведя разведку.

Но высоты были безмолвны. На одной из полян немцы обнаружили нарочно покинутую нами пушку, на второй — погреб с минами. Соппротивление оказывалось только в теснине. Никто из фашистов не видел, что на вершинах гор и на скатах, замаскированные в лесной чаще, сидят наши наблюдатели, которые буквально глаз не сводят с дороги. Преследуя отступающую роту, гитлеровский полк к одиннадцати часам утра вышел на подступы к Фанагорийскому.

Тут сопротивление усилилось: из окраинных домов били

пулеметы, из садов стреляли минометы, поредевшая рота два раза бросалась в контратаку.

— Следить за дорогой! — приказал Аршинцев Ковалеву.

— Есть, за дорогой слежу все время, — прокричал Ковалев в телефон.

Без десяти двенадцать, узнав о заминке под Фанагорийском и стремясь развить успех, генерал Шнекенбургер двинул на помощь 419-й гренадерский полк.

Сидя на наблюдательном пункте, мы видели, как немцы продвигались по узкой лесной дороге: один за другим шли грузовики с пехотой, отряды мотоциклистов, артиллерия. Солнце светило вовсю, и нам было видно, как вражеские артиллеристы устанавливают орудия, как саперы ищут в теснине мины.

Через каждые десять-пятнадцать минут приглушенно стрекотал телефон, и майор Ковалев слушал приказания Аршинцева. Ковалев торопливо повторял, что надо сделать, и восторженно удивлялся тому, что полковник, находясь на высоте 386, все видит. И мы все, слушая Ковалева, радовались, что от Аршинцева не ускользает ни одно движение немцев и что пока все идет так, как он говорил.

— Усилить сопротивление у Фанагорийского, — приказал Аршинцев, — двум батареям обстрелять подход к селению...

Под Фанагорийском бушевал бой. Подкрепленная двумя отрядами рота наших стрелков отбивала частые атаки фашистов.

В селении грохотала перестрелка, и уже один дом за другим переходил в руки врагов, уже горели зажженные снарядами сады, и гитлеровцы рыскали по селению.

Несколько раз Ковалев хватал трубку телефона и хрипло кричал:

— Не пора ли?

Но ровный и резкий голос повелительно отвечал:

— Нет, не пора. Ждите зеленую и красную ракеты.

Бойцы укрывшихся в засаде батальонов видели, как их товарищи ведут бой. Взволнованные долгим ожиданием, бледные от напряжения, они лежали на скатах и не отводили глаз от дороги. А по дороге, доступные огню, безнаказанно двигались фашисты, неуклонно приближаясь к горящему Фанагорийскому и обтекая селение с двух сторон.

— Пропадет рота, — сквозь зубы бормотал Ковалев. Не отрываясь от бинокля, он всматривался в высоту 386 — не покажутся ли над ней долгожданные ракеты? — ругался, нервно хлестал плетью по корявому стволу дуба и все время звонил Аршинцеву. Аршинцев отвечал одно:

— Ждите!

Недовольный остановкой под Фанагорийском, генерал Шнекенбургер двинул по теснине один из батальонов своего последнего, 420-го полка. В это время подразделения 419-го полка уже обошли селение и двинулись по дороге в направлении горы Яйпуховой.

Как раз в ту минуту, когда батальон 420-го полка вышел к месту слияния двух рукавов Псекупса, а 421-й полк почти овладел Фанагорийском, над высотой 386 сверкнули две ракеты: зеленая и красная. И сразу же, словно вдруг раскололось небо, загрохотали все укрытые в засаде пушки и минометы. Горное эхо понесло по ущельям грохот яростной канонады. Фанагорийское заволокло черным дымом. На дороге вспыхнули клубы разрывов. Мгновенно ожили высоты: мелькали вспышки пламени, трещал кустарник, отовсюду бежали что-то кричащие люди. Быстро меняя позиции, пробегали пулеметчики. Беспрерывно стреляя, скатывались вниз бойцы. Казалось, в лесу беснуется ураган невиданной силы, который захлестнул горящее селение, дорогу, берега реки и вот-вот сметет со своего пути все живое.

Я успел заметить, что майор Ковалев вскочил на коня и кинулся куда-то вниз. Он был без шапки, с пистолетом в руке, уже опьяненный азартом, охваченный страстью боя. За ним побежали бойцы.

Сбежав ниже, я остановился на поляне и прижался к дереву. Отсюда хорошо были видны река и дорога, по которой суматошно, как шарики раздробленной ртути, метались фашисты. Охваченные паникой, они повернули от Фанагорийского вправо, но были встречены ураганным огнем двух батальонов Ильина и откатились к высоте 386, где напоролись на кинжальный огонь Клименко.

Батальон точно по сигналу вышел из засады, ударил по флангу вражеского резервного батальона и преградил фашистам обратную дорогу через Волчьи Ворота. Там, у подступов к теснине, вспыхнул самый ожесточенный и яростный очаг боя.

Поняв, наконец, что почти вся его дивизия попала в мешок, Шнекенбургер направил из Безымянного к Волчьим Воротам два последних батальона 420-го полка и приказал командиру этого полка Циммерману во что бы то ни стало захватить теснину и дать выход остальным, зажатым в огненные тиски частям дивизии. Но батальон Клименко занял круговую оборону и в течение полутора часов отбил четыре атаки Циммермана.

Пока этот батальон, ни на минуту не прекращая огня, держал Волчьи Ворота, пять батальонов Коваленко и Клименко, а также отряд морской пехоты сжали фашистов в узкой долине. Завязался кровопролитный огневой бой на короткой дистанции. Бойцы били

по противнику из всех видов оружия. После первых минут паники фашисты попытались оказать организованное сопротивление: сбившись в открытой долине, они залегли за камнями и стали отстреливаться, но ряды их редели с каждым часом, и кольцо вокруг них сужалось все больше и больше.

Наконец огонь почти прекратился, и начался рукопашный бой. Это было страшное зрелище. Что-то невидимое стучало, лязгало, стонало. Откуда-то доносились нестройные хриплые «ура!». По реке плыли трупы. Те мгновенно проходящие сцены боя, которые почему-то попадали в поле моего зрения (я оказался на склоне горы, где был один из пулеметных расчетов), запечатлевались с ужасающей отчетливостью, точно кадры какого-то фильма. Некоторых из людей, сражавшихся в этой долине, я знал, о других мне рассказывали потом, а многих так и не пришлось узнать.

Когда начался рукопашный бой, я сразу увидел трех моряков, бежавших впереди всех с винтовками наперевес. Они бежали неторопливо, широко раскидывая ноги, почти на одной линии друг с другом. Но вот один моряк, не добежав до немцев, упал, а два других кинули гранаты. На них наскочили гитлеровцы. Все смешалось в какой-то темный, ворочающийся между камнями клубок. Потом четыре фашиста бросились бежать, а высокий моряк с разорванной штаниной — второго уже не было видно — побежал за ними и на ходу вонзил нож в спину фашиста.

Совсем недалеко от меня пробежал красноармеец Розенблат из полка Клименко (за два дня перед этим я встретился с ним в полевом госпитале, где он брал аспирин). Розенблат бежал без винтовки, размахивая руками. Вдруг из-за дерева выскочил здоровенный гитлеровец и почти столкнулся с Розенблатом. Маленький, тщедушный Розенблат ударил его ногой в живот. Гитлеровец пошатнулся, выронил автомат и стал вытаскивать из-за пояса гранату. Но Розенблат кинулся ему под ноги, свалил на землю. Пока мы с батальонным комиссаром Дерткиным (он почему-то оказался вместе со мной) сбегали вниз, чтобы помочь Розенблату, тот уже поднялся с земли, тупо посмотрел на мертвого фашиста, схватил его гранату и побежал вперед, что-то крича...

Группа бойцов пробежала мимо нас вслед за лейтенантом Омельченко. Смуглая санитарка Бадана Кулькина протащила на плащ-палатке раненого, который надрывно стонал. Два бойца повели к селению группу пленных гитлеровцев.

Бой не прекращался до самой ночи, а когда стемнело, гитлеровцы кинулись к Волчьим Воротам и завязали упорный рукопашный бой у входа в теснину. Этот жестокий, чрезвычайно

кровопролитный бой шел всю ночь. Пользуясь темнотой, гитлеровцы нащупали на правом скате высоты незащищенное место, бросились туда и, прорвав линию обороны, без оглядки побежали по теснине к селению Безымянному.

Так закончился этот бой у Волчьих Ворот. Генерал Шнекенбургер потерял в мешке больше половины своих солдат, десятки пушек и минометов, сотни винтовок, пулеметов и автоматов. В пятом часу утра полк майора Ковалева занял свои старые позиции в Волчьих Воротах...

Утром мы с Аршинцевым в сопровождении трех бойцов объезжали поле боя.

Уже взошло холодное осеннее солнце. С дубов слетали желтые листья. Над Псекупсом голубела дымка тумана. Мы ехали по дороге, огибая Фанагорийское, вдоль реки. Строгий, торжественно-молчаливый Аршинцев, покусывая губы, осматривал долину и подножия высот.

В долине, между камнями, лежали трупы вражеских солдат. Их было множество, и лежали они в самых разнообразных позах: навзничь, на боку, привалившись к камням, поодиночке, по двое, группами. Там, где трупов было особенно много — у поворота реки, за низкой скалой, — Аршинцев сворачивал с дороги, и мы ехали по самому берегу Псекупса. По реке тоже плыли трупы. Они качались в воде, застревали между камнями, неслись вниз, к морю. На обоих берегах реки, ближе к подножию высот, виднелись тела наших бойцов.

Остановив коня, Аршинцев закурил и сказал адъютанту:

— Езжайте к майору Ковалеву и скажите, чтобы с честью похоронили убитых. Фашистов тоже похоронить, а то завтра тут нечем будет дышать.

Потом он затянулся, швырнул папиросу в реку и посмотрел на меня.

— Уже созрели дикие груши, — неожиданно сказал он, — можно будет снарядить людей для сбора фруктов... Бойцам нужны витамины.

Он потрепал шею коня и глубоко вздохнул.

— Это только начало. Тут будут жестокие бои...

Потом он нахмурился, взглянул на трупы, лежавшие на берегу, и скривил губы:

— Как бы там ни было, но отсюда противник на Туапсе не пройдет.

Шевельнув поводья, он шагом поехал вдоль реки.

Днем на поляне, возле обложенного камнями блиндажа полковой разведки, я долго беседовал с пленными. Пленных было

много, больше ста человек. Они сидели и лежали группами, исподлобья поглядывая на проходивших мимо солдат и офицеров, тихонько переговаривались, а больше молчали, угрюмо опустив головы. Ожилились они только тогда, когда из-за поворота лесной дороги показалась походная кухня с двумя туго завинченными котлами.

Черномазый ефрейтор, ухмыляясь, роздал пленным алюминиевые миски и ложки, а толстый повар в белом колпаке стал разливать приправленный мясными консервами суп. После обеда щеголеватый старшина вынес из блиндажа столик, табурет, уселся поудобнее, разложил бумаги и начал регистрировать пленных.

Один из пленных, пожилой рыжеусый крепыш, шаркая сбитыми башмаками, подошел ближе к столу и сказал старшине:

— Меня зовут Иоганн. Звание — фельдфебель... Я в России второй раз... Первый раз я попал к вам совсем молодым, в шестнадцатом году...

Старшина вежливо улыбнулся, понимая кивнул головой и, не зная, что сказать, обратился к следующему. Я тронул рыжеусого за рукав, сказал негромко:

— Давайте посидим, Иоганн, покурим.

Пленный скользнул взглядом по моим петлицам, приложил к пилотке большую веснушчатую руку:

— Слушаю, господин офицер...

Мы отошли в сторону. Я присел на снаряжном ящике. Смущенно оправив мешковатый мундир, немец сел рядом, вынул из кармана измятую сигарету, неторопливо закурил.

— Как вам нравится ваш марш до Кавказа? — спросил я, выждав, пока пленный справился с отсыревшей спичкой.

— Мне этот марш с самого начала не нравился, господин офицер. — Иоганн покосился на меня. — Я слишком хорошо знаю русский народ и потому не обманываю себя и не верю нашей пропаганде.

— То есть?

— Офицеры-нацисты уверяют нас, что мы к новому году разгромим советские войска, подпишем мир с Америкой и Англией и получим на Украине миллионы гектаров земли. Об этом у нас трубят на каждом шагу, и многие дураки верят этим сказкам...

— Кроме того, нам говорят...

— Что?

— Будто советские солдаты получили приказ не оставлять в живых ни одного пленного немца.

— А вы верите этой бессовестной лжи?

— Нет, господин офицер, — убежденно сказал пленный, — этой лжи я не верю, так же как не верю в то, что мы можем победить в этой проклятой войне...

— Серьезно? — спросил я. — Однако ваши товарищи говорят совсем другое.

— Мне неизвестно, что вам говорят мои товарищи, но я сам знаю: затеянная фюрером война принесет Германии много бед...

Он наклонился ко мне и заговорил, понизив голос:

— Нашему народу заткнули рот, господин офицер. Мы все живем под страхом расправы — каждый человек. Мы, солдаты, тоже заражены этим страхом и идем на фронт, как животные, обреченные на смерть. Мы боимся за жизнь наших жен и детей, за клочок земли, на котором живут наши близкие, за место на фабрике, где они работают, и потому слепо идем туда, куда нас ведут, а ведут нас на очень нехорошее дело — нападать на мирных людей. Именно поэтому мы проиграем войну, но, может быть, получим свободу — по крайней мере те, кому удастся уцелеть в этой войне.

Немец задумчиво провел согнутым пальцем по щетине усов.

— Вы не думайте, что я говорю это, чтобы спасти свою шкуру, — сказал он. — Мне уже нечего терять: семья моя погибла при воздушной бомбардировке, я остался один. Говорю же я это потому, что мне стыдно за себя, за товарищей, за наших начальников. Мы давно потеряли честь и почти все стали разбойниками и мародерами.

— Почти все?

— Во всяком случае, многие из нас, — угрюмо сказал он, — и это лишит людей возможности отделить грабителей от честных солдат, а нас, когда придет время, лишит последней возможности оправдаться перед ограбленными людьми.

— Народ разберется во всем, — помолчав, сказал я, — он найдет правых и виноватых.

— Может быть, — кивнул Иоганн, — но это не так просто, это дьявольски трудно, потому что мы запятнали себя.

Как видно, Иоганн хотел еще что-то сказать, но бравый старшина зычно скомандовал: «В колонну!», и пленный, поднявшись, притронулся к пилотке и проговорил устало:

— Прощайте, господин офицер... В селе Борском, Самарской губернии, двадцать пять лет назад жил плотник Федор Алтухов. Он сделал мне много добра и многому меня научил. Передайте ему поклон от Иоганна и напишите, что я все-таки остался человеком...

Разговор этот удивил меня. Тогда, осенью 1942 года, мне еще не приходилось слышать таких речей, и я, глядя в согбенную

спину уходившего фельдфебеля, подумал: «Да, народ наш разберется во всем...»

В последний вечер моего пребывания в дивизии должно было происходить торжественное вручение орденов и медалей всем награжденным за последние бои солдатам и командирам. Для вручения наград в дивизию приехал член Военного совета армии бригадный комиссар Григорий Афанасьевич Комаров.

По приказу Аршинцева на поляну, неподалеку от командного пункта, вынесли маленький походный стол, накрыли красной скатертью, расставили перед ним скамьи и табуретки. Вскоре на поляне собрались вызванные из полков люди. Они подъезжали на машинах, в телегах, верхом, шли пешком; многие из них были ранены — они шли, опираясь на винтовки, с забинтованными головами, перевязанными руками. Шинели у них были оборваны, покрыты густой грязью и лесными колючками, а у многих потемнели от кровавых пятен; почти у всех были совершенно разбиты сапоги — долгое лазанье по каменистым горам, марши в лесах и переходы по горным рекам истрепали обувь. У некоторых подошвы сапог были подвязаны веревками, желтыми и красными обрывками немецких телефонных проводов, старыми бинтами, всяким тряпьем.

Люди расселись по поляне кто где стоял. Придерживая коленями винтовки, негромко переговариваясь между собой, они вслушивались в оружейную стрельбу и — это было заметно по их лицам — думали о своих ротах и батальонах, о том, что там сейчас происходит.

Напряженно всматриваясь в усталые, суровые лица сидящих на поляне людей, я не видел и признаков той нервозности, той печали, какие свойственны были многим во время отступления от Ростова и Краснодара, от Саратовской и Горячего Ключа, когда мы не знали, где будут остановлены гитлеровцы и как их остановить. В те дни — я слишком хорошо помнил это — мы все говорили быстро, гораздо быстрее, чем нужно, часто ссорились и, ища друг в друге виновников отступления, постоянно упрекали в чем-то товарищей.

Но вот прошло тридцать или сорок суток непрерывных боев в этих лесистых предгорьях. За нашей спиной лежало Черное море, по ночам мы слышали его неумолчный шум; вокруг нас шумели вековые леса и высились горы. У нас не хватало винтовок, патронов, снарядов, мы сидели на сухарях, мокли в сырых ущельях, изнывали от жажды на гранитных высотах, но — удивительно! — у каждого теперь появилась непоколебимая уверенность в своих силах. Очевидно, люди по-настоящему вдруг увидели, что отходить нельзя, и стали гораздо крепче драться;

сражаясь лучше, яростнее, злее, они приостановили в предгорьях вражеское наступление и поняли, что могут остановить врага.

Во всяком случае, в сумрачных лицах людей, собравшихся здесь, уже не было ни тени смятения, а движения отличались спокойной уверенностью. Оборванные, грязные, они говорили о том, что было необходимым и важным: о патронах, о снарядах, о родниках, о звериных тропах, обо всем, что теперь стало привычным, знакомым, обжитым в этих горных лесах, из которых можно было уйти только вперед, на север, туда, где в эти минуты гремели пушки...

Когда все, кто был вызван из полков, собрались на поляне, из командирского блиндажа вышли Комаров, Аршинцев, Карпелюк, Штахановский, Малолетко, Козлов, Ильин, Ковалев, Клименко. Они приблизились к столу и встали вокруг него. Два бойца принесли и положили на стол коробочки с орденами и медалями.

Бригадный комиссар Комаров вышел вперед и молча обвел взглядом стоявших перед ним людей. Заходящее солнце освещало красноватым светом его невысокую, коренастую фигуру, небрежно брошенную на плечи генеральскую шинель, все его крепкое, скуластое крестьянское лицо с широким лбом и узкими серыми глазами.

Бригадного комиссара я знал давно, еще по самбекскому стоянию и по боям на Миусе. Добрейшей души человек, простой, отзывчивый, ласковый, он мгновенно преображался, как только дело касалось важных вопросов, становился беспощадным ко всему, что, с его точки зрения, вредило народу, партии.

Я с нетерпением ждал, что будет говорить Комаров стоявшим на поляне бойцам. За свою долгую бивачную жизнь он прекрасно узнал душу солдата, не сюсюкал с бойцами и никогда не произносил легковесно-бодрых речей.

Сейчас он стоял, заложив руки за спину, и молча осматривал бойцов. Взгляд его медленно скользил по угрюмым лицам, по изорванным шинелям, истрепанным сапогам. Потом он шагнул вперед и сказал:

— Вот смотрю я на вас, товарищи, и думаю: трудно нам в этих проклятых лесах. Голодранцами стали, впроголодь живем, еле концы с концами сводим. И вот я думаю об этом и знаю, что дело все-таки в другом: в том, что мы на своем участке остановили врага. Да, мы остановили врага, — продолжал он, помолчав, — хотя это было страшно трудно, нечеловечески трудно. И в том, что враг тут остановлен, — прежде всего ваша заслуга, товарищи. То, что вы сделали у Волчьих Ворот еще выше подняло славу нашей знаменитой дивизии. Командование, по достоинству оценив ваш подвиг, от имени правительства

награждает вас орденами и медалями.

Взгляд Комарова задержался на стоявшем впереди сержанте. Голова сержанта была забинтована, шинель с подоткнутыми за пояс лапами забрызгана грязью, правый сапог обвязан бечевкой. За плечом у сержанта сверкала начищенная винтовка с оптическим прицелом.

Комаров улыбнулся сержанту, кивнул ему и громко сказал:

— Вот тут, рядом со мной, стоит лучший снайпер армии Василий Проскурин. Этот человек истребил сотни фашистов, и гитлеровское командование предлагает за его голову десять тысяч марок. Видите, какой это дорогой человек! А он, этот самый Проскурин, стоит сейчас в рваных сапогах. Почему это?

Выждав, Комаров взглянул на смуглую, черноволосую девушку, сидевшую на траве.

— Вот сидит Бадана Кулькина. Она вынесла с поля боя сто шестьдесят человек раненых. Сто шестьдесят наших советских людей спасла! Сегодня мы будем вручать ей самую высокую награду — орден Ленина. А на ней гимнастерка с продранными локтями. Почему?

Снова сделав паузу, Комаров нахмурился и резко вскинул руку:

— Фашисты и их прихвостни кричат сейчас о том, что мы уже побеждены и что наше государство не в состоянии нас обеспечить. Это ложь! У нас тут действительно маловато оружия, и мы испытываем острый недостаток в одежде, в обуви, жирах. Но все это происходит потому, что у нас здесь нет достаточных путей подвоза. Народ в тылу работает не покладая рук. Нам надо перенести все эти тяготы, пока найдут возможность подбросить нам все, что нужно. Наш народ производит и отправляет на фронт все больше танков, самолетов, пушек, винтовок, боеприпасов. Мы получим все это. А пока надо терпеть. Это очень трудно, но это необходимо. Понятно, товарищи?

Лица стоявших на поляне людей посветлели. Несколько голосов нестройно ответили:

— Понятно, товарищ бригадный комиссар!

— Выдержим!

Комаров продолжал дрогнувшим голосом:

— Народ нас не забудет. Когда-нибудь вся наша страна узнает, как мы дрались с врагом без сапог, как долбили осями гранитные скалы, как умирали, но не отступили ни на шаг. Я от души поздравляю вас, товарищи, с высокой наградой, — закончил он, — и выражаю твердую уверенность в том, что в ближайшее время ваша героическая дивизия станет гвардейской.

После речи Комарова начальник штаба дивизии майор

Малолетко подошел к столу, взял список награжденных и стал вызывать людей.

Первой была вызвана Бадана Кулькина.

Комаров вручил ей орден Ленина, крепко пожал руку и спросил:

— Комсомолка?

— Член партии, товарищ бригадный комиссар, — с гордостью ответила девушка, — принята в партию две недели тому назад...

— Сержант Василий Проскурин! — крикнул майор Малолетко.

Высокий сержант с забинтованной головой подошел к столу. Кто из нас не знал Васю Проскурина? Несравненный снайпер, ловкий и хитрый следопыт, великолепно натренированный солдат, он был известен всей армии. Командиры его уважали, товарищи в нем души не чаяли, многочисленные корреспонденты писали о нем восторженные статьи, гитлеровцы боялись его как огня. Теперь он стоит, смущенный сотнями устремленных на него взглядов, и, приняв из рук Комарова орден, отвечает коротко:

— Служу Советскому Союзу!

Один за другим подходили к столу все эти суровые люди, получали награду и уходили на место. Уже зашло солнце, из ущелья потянуло холодом, а люди все подходили. Я всматривался в их угрюмые, почерневшие лица и теперь уже отчетливо видел то новое, спокойно-сосредоточенное выражение их глаз, которое говорило о том, что появилась уверенность в своих силах, и о том, что наступает какой-то важный, огромного значения перелом.

Когда все ордена и медали были вручены, к столу подошел полковник Аршинцев. Его солдатская шинель была застегнута на все крючки и затянута ремнями, защитная фуражка надвинута на брови. Махнув перчаткой, он тихо сказал:

— Благодарю вас за службу и поздравляю с достойной наградой. Прошу передать в полках, что гренадерская дивизия генерала Шнекенбургера вчера разгромлена нами в теснине Волчьих Ворота и не скоро оправится от удара.

Прикусив губы, Аршинцев добавил еще тише:

— Пока придут боеприпасы, обмундирование и провиант, прошу собирать в лесу дикие груши, каштаны, алычу. Прошу шить обувь из кожи павших коней. Такая обувь называется «чуни». Лепешки прошу печь в бензиновых бочках, предварительно обжигая их. Посоветуйтесь насчет этого в полках и передайте товарищам, что отсюда мы пойдем только вперед...

В ту ночь мы долго сидели в блиндаже Аршинцева. Повар

принес туда ужин — мясо дикого кабана, лук и две фляги спирта. Спирт был отвратительный, издавал запах резины, но мы не замечали этого. Мы пили в честь победы у Волчьих Ворот, курили махорку и оживленно беседовали.

Комаров очень хвалил Аршинцева, несколько раз поздравлял его и полушутя сказал, что уже готовит для него генеральские звезды, так как на днях ожидается присвоение ему звания генерал-майора. Аршинцев улыбался, отшучивался, потом стал расспрашивать о боях под Туапсе.

— Там дела не совсем важные, — с досадой сказал Комаров, — есть сведения, что гитлеровцы прорвали наш основной оборонительный рубеж и заняли селение Красное Кладбище, высоту семьсот сорок, хутор Котловину и ряд очень важных высот.

— Неужели возьмут Туапсе? — воскликнул майор Малолетко.

— Если наши будут зевать, то...

— Туапсе отдавать нельзя, — отозвался Аршинцев, — потому что это будет катастрофой для войск, обороняющих побережье.

— Говорят, есть приказ Сталина держать подступы к Туапсе и ни в коем случае не отдавать город. Но фашисты все время подбрасывают на Туапсинское направление свежие силы и трубят на весь мир, что Туапсе падет в ближайшие дни.

— А что там произошло за последние сутки?

— Вражеские войска, по всем данным, хотят овладеть Елизаветпольским перевалом и выйти к селению Шаумян. Они захватили поселки Гурьевский и Папоротный, вышли на скаты горы Гейман и горы Гунай...

— Да, в таком случае первый оборонительный рубеж на Туапсинском направлении уже прорван, — глухо сказал Аршинцев.

— А паники там нет? — спросил Карпелюк.

— Нет. Подступы к Елизаветпольскому перевалу обороняют гвардейцы Тихонова. Это отчаянные головы. Рядом с ними часть казачьего соединения Кириченко. Казаки дерутся как черти, там же сражается морская пехота полковника Богдановича. Словом, оборону удержат прекрасные части. Но фашисты не отказались от мысли взять Туапсе в ближайшие дни и тщательно готовятся к этой операции...

Мы проговорили далеко за полночь, потом проводили Комарова и разошлись спать...

Трава, которую мне постелили на деревянные нары, остро пахла полынью, в стенах блиндажа мерцали гнилушки, где-то за стеной монотонно журчала вода, — должно быть, из скалы пробивался маленький родничок. Я долго думал о Туапсе, об

Аршинцеве, которого успел полюбить, о том новом выражении лиц, которое я заметил у людей на поляне.

Когда взошло солнце, приехавший из полка Неверов разбудил меня, сказал, что конь мой оседлан и я могу ехать.

Я вышел из блиндажа. На стволах деревьев, на камнях и на траве серебрилась роса. Мне жалко было уезжать, не простившись с Аршинцевым, но он вдруг вышел из своего блиндажа в накинутах на плечи кители, с полотенцем в руках и, улыбаясь, подошел ко мне.

— Едете? — спросил он.

— Еду, Борис Никитич, пора, — грустно ответил я. — Желаю вам удачи и счастья — теперь кто знает, когда нам доведется встретиться.

— И доведется ли вообще, — серьезно добавил он, — такая уж штука война, ничего не поделаешь...

Мне подвели коня. Пока я осматривал седловку, пришел ординарец с кувшином воды и мылом, и Аршинцев стал умываться. Я подтянул подпругу, поправил уздечку, потуже подвязал кобурчата, куда сердобольный коновод положил две горсти овса, сел на коня и приложил руку к шапке.

— До свидания, Борис Никитич! — закричал я.

— Прощайте, мой друг! — ответил Аршинцев.

Я в последний раз взглянул на него. Сердце у меня больно сжалось от какого-то тягостного предчувствия. Аршинцев стоял, широко расставив ноги, юношески стройный, высокий, с вышитым полотенцем в руках. На его лице сверкали капли воды, и мокрая прядь темных волос свешивалась на висок. Он стоял и улыбался. Таким я видел Аршинцева, пока его не скрыл от меня крутой поворот лесной дороги.

На Туапсинском направлении

В один из холодных осенних дней (к сожалению, я не запомнил точной даты) я ехал на мотоцикле по Новороссийскому шоссе, потом свернул в горы, чтобы посетить батарею, о людях которой мне много говорили в штабе армии. В сумерках мы заблудились на скрещении двух дорог, потом, в довершение этой неприятности, мой шофер наскочил на пень и что-то сломал в мотоцикле. Пришлось, проклиная свою судьбу, идти пешком по тропе. Когда мы прошли километров шесть, таща за собой мотоцикл (благо, тропа шла вниз), нас остановил патруль краснофлотцев. На мой вопрос, в распоряжение какой части мы попали, статный старшина в бескозырке ответил мне, что тут стоит батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Кузьмина.

Я уже слышал о Кузьмине и поэтому решил переночевать у него, а с рассветом двинуться дальше. Меня проводили в командирский блиндаж, убранство которого ничем не отличалось от сотен других блиндажей. При свете подключенной к аккумулятору автомобильной лампочки сидел у стола молодой человек. У него было красивое, чуть удлиненное лицо, прямой нос с едва заметной горбинкой, гладкие, тщательно расчесанные на пробор волосы. Ничто в этом человеке не обличало моряка: он был одет в защитную гимнастерку пехотного офицера, в петлицах которой красовались капитанские «шпалы»; на груди его сверкала начищенная медная пряжка портупей, — пехотинец! Но вот едва заметные детали: прокуренная маленькая трубочка, чуть-чуть выше, чем обычно, приподнятый над воротом гимнастерки белый воротничок, тщательно отшлифованные ногти, пуговицы с якорями на карманах — все это говорило, что передо мной моряк.

Я поздоровался и назвал себя. Офицер привстал, протянул мне руку и сказал:

— Капитан-лейтенант Олег Кузьмин.

На столе у Кузьмина я заметил испещренную цветными пометками карту, циркуль, выписки из статьи Энгельса о горной войне, книгу французского подполковника Абади «Война в горах» и несколько чертежей и схем.

— Я интересуюсь горной войной, — сказал Кузьмин, заметив мой взгляд, — и уже успел полюбить горы. Между горами и морем есть, как мне кажется, что-то общее: то ли это дикость и свежесть, то ли размах и величие. Во всяком случае, я полюбил горные операции.

Когда мы познакомились ближе, Олег Кузьмин сообщил мне, что батальон морской пехоты, которым он командует, на рассвете

начнет наступление на хорошо укрепленную фашистами высоту.

— У меня с противником равные шансы, — сказал Кузьмин. — Высоту занимает вражеский батальон, которому неоткуда ждать помощи, так как высота, как вы видите на карте, расположена несколько в стороне от очагов боевых действий и не имеет достаточных путей подвоза. Мне тоже придется управляться самому. Словом, на доске одинаковое количество фигур. На рассвете я сделаю первый ход.

Я взглянул на карту. Вражеская оборона представляла собою замкнутую окружность: склоны высот были кольцеобразно опоясаны тремя линиями окопов, на вершине расположились блиндажи, землянки и командный пункт батальона.

— Это точная схема? — спросил я.

— Очень точная, — усмехнулся Кузьмин, — тут у меня несколько суток работали шесть групп лучших разведчиков.

— Каков же ваш план?

Кузьмин пыхнул трубкой, пустил несколько затейливых колец густого дыма и концом трубки коснулся карты.

— Я ударю с трех сторон. Час назад группа автоматчиков Жукова отправилась вдоль реки в тыл к гитлеровцам. К рассвету она обойдет высоту и будет ждать в засаде, чтобы отрезать противнику пути отхода и ударить ему в спину. На правый фланг вражеского батальона уже вышли автоматчики Вяземского, чуть левее продвигается рота Евстафьева. Прямо в лоб пойдет рота Васильева, ее поддержат пулеметчики Мамаева. Таким образом, я окружу высоту мелкими группами и по сигналу начну бой...

План Кузьмина мне понравился не только свежестью замысла, рассчитанного на уничтожение равного по силам, но обладающего крепкими позициями противника, но и той законченностью, тщательностью, с какой он был разработан. Кузьмин предусмотрел каждую мелочь: пути подхода были хорошо разведаны и обозначены, стрелки получили точные задачи, минометчики — точные ориентиры и сигналы к открытию и переносу огня, все было расставлено на свои места, и все подготовлено к бою.



В эту ночь мы почти не спали. Мне удалось вздремнуть часок на походной койке гостеприимного хозяина, но потом меня разбудил негромкий голос Кузьмина. Капитан-лейтенант разговаривал по телефону. Это был короткий, отрывистый разговор намеками — видно было, что Кузьмин доволен продвижением своих групп на исходные рубежи и уверен в успехе.

В третьем часу ночи заспанный ординарец принес термос с горячим кофе и тарелку с гренками. Мы курили, пили кофе, говорили о литературе, о музыке, спорили о системах пистолетов, и Кузьмин ни разу не вспомнил о предстоящей операции. Но я понимал, что он все время думает о бое и не только мысленно представляет этот бой, но и разыгрывает различные его варианты. Это было заметно по тому, как нетерпеливо посматривал он на ручные часы, сосредоточенно насвистывал или, рассеянно отвечая мне, бросал взгляд на карту.

Ровно в половине пятого он поднялся, надел фуражку, сунул в карман брюк трубку, положил карту в планшет и сказал:

— Пора. Поедем на командный пункт. Через час начнем.

Неподалеку от блиндажа нас ждали кони, запряженные в рессорную тачанку. Кузьмин на секунду включил фонарик, мы уселись, кучер-краснофлотец причмокнул губами, и тачанка, мягко покачиваясь, покатила куда-то вправо. Вначале мы ехали довольно быстро, потом начался крутой подъем, кони пошли медленнее. Над нашими головами шумели ветви деревьев, неподалеку слышались одиночные винтовочные выстрелы, изредка над высотой, лежащей левее, вспыхивали осветительные ракеты и трещали пулеметные очереди.

— Бойтсся атаки, — сквозь зубы буркнул Кузьмин, — подходы

проверяет...

Командный пункт Кузьмина оказался на высоком выступе скалы, поросшей тощими елями, орешником и дикой грушей. Отсюда до занятой фашистами высоты было не более ста двадцати метров. В узкой расселине скалы, слегка подправленной кирками саперов, сидел телефонист; на камнях, прикрыв голову изодранным бушлатом, спал связной; по тропинке, между елями, медленно расхаживал часовой с автоматом.

В течение пятнадцати минут Кузьмин говорил по телефону с командирами рот, потом зажег трубку, взглянул на часы и взял у телефониста длинный ракетный пистолет.

— Через три минуты, — сказал он, раскуривая трубку.

Мы выбрались из расселины и стали под елью. Уже рассвело. Небо было чистое, бледно-голубое в зените, розоватое на востоке, холодное и спокойное. Прямо перед нами темнела безымянная высота, та самая, которую сейчас должны были штурмовать моряки Кузьмина; на лесистых склонах высоты, точно комки ваты, белели клочья тумана, между деревьями виднелись чуть колеблемые нагревающимся воздухом дымы, — очевидно, вражеские солдаты разожгли в блиндажах печи. Левее высоты, внизу, мерцала речка, а правее, повитые облаками, синели предгорья Большого хребта. Было тихо. У подножия высоты дважды татакнул пулемет.

Кузьмин поднял вверх ракетный пистолет и выстрелил. Светло-зеленая ракета, оставляя за собой полоску белого дыма, легко понеслась к небу, на мгновение замерла в какой-то точке, потом описала светящуюся кривую и погасла за скалами.

Я следил за ракетой, ожидая, что вот в эту самую секунду, когда она исчезнет, тишина осеннего утра расколется частыми выстрелами, грохотом взрывов. Но — странно! Ракета исчезла, а вокруг все еще стояла непонятная, невыносимая тишина. Мне казалось, что эта тяжелая тишина будет длиться вечно и я всегда буду слышать, как над моей головой шелестят ветви деревьев, как в лесной чаще шуршат крылья хлопотливых птиц и журчат горные родники. И только когда под нами в ущелье грохнули выстрелы, застрекотали пулеметы и где-то за елями хлестко и зло ударила пушка, я взглянул на часы и удивился тому, что между исчезновением зеленой ракеты и этим бушующим грохотом прошло всего три с половиной минуты.

Я еще не видел впереди ни одного человека и не мог разобрать в хаосе взрывов, откуда и кто стреляет, но Кузьмин — это было заметно по его нервному лицу — видел все как на ладони.

— Мамаев выскочил раньше времени, — отрывисто бросил он

и сейчас же повернулся к телефонисту: — Давайте Мамаева!

Через минуту он уже кричал в телефон:

— Почему заминка? Минировано? Прodelайте проходы и не задерживайтесь! Следите за Евстафьевым. Пошел вперед? Поддержите его левый фланг.

Он бросил трубку и, опустившись на колени, приник к большому биноклю: по движению его бровей, по коротким усмешкам, по тому, как он одобрительно кашлял, видно было, что он замечает все то, чего я не вижу, что ход боя он держит в своих руках.

Позвав связного, Кузьмин бросил:

— Быстро к Васильеву. Пусть подвинет два миномета правее и откроет путь Мамаеву. Пусть одновременно одним взводом штурмует скалу, перед которой застрял Мамаев. Повторите приказание.

Связной быстро повторил приказание и побежал вниз по тропе. А Кузьмин уже кричал в телефон:

— Не спите, Жуков, начинайте! Что? Не бегут? Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе! Действуйте! Бейте прямо по блиндажам с тыла!

Лежа рядом с Кузьминым и вглядываясь в окутанную дымом высоту, я старался представить, что там сейчас происходит. За деревьями не было видно ни одного человека, но вся высота, казалось, содрогалась и дышала красноватым пламенем. На левом скате загорелся лес, оттуда повалил густой черный дым, там что-то трещало, грохотало, ворочалось. Раздались нестройные крики людей. Выстрелы участились, потом замолкли. Стреляли только справа и за высотой.

— Рота Васильева пошла врукопашную! — закричал Кузьмин.

На склоне, обращенном к нам, слышались взрывы гранат, короткие, захлебывающиеся очереди пулеметов. Кузьмин, склонив голову набок, внимательно слушал. Проходили минуты, стрельба справа разгоралась все сильнее, но дальние выстрелы затихали, их почти не было слышно. Кузьмин нетерпеливо кинул телефонисту:

— Дайте-ка мне Вяземского!

Спокойный телефонист склонился над аппаратом и стал монотонно повторять:

— «Полубак»! «Полубак»! «Полубак»!

— Ну, что вы там? Долго я буду ждать?

— Товарищ капитан-лейтенант, «Полубак» не отвечает, — должно быть, линия перебита.

— К черту с вашими «должно быть»! Давайте Евстафьева!

Телефонист певуче запричитал:

— «Клотик»! «Клотик»! «Клотик»!

Вражеская мина просвистела над нашими головами, зацепила ствол ели, под которой стоял часовой, с треском разорвалась и осыпала нас щепками. Часовой испуганно вскрикнул и схватился за плечо. Кузьмин мельком взглянул на него и сердито бросил телефонисту:

— Вы что там?

— Товарищ капитан-лейтенант, — спокойно возразил телефонист, — «Клотик» не отвечает, должно быть, линия...

— Прекратить объяснения! Мамаева!

Телефонист передал Кузьмину трубку.

— Мамаев? — закричал Кузьмин. — У вас связь с Евстафьевым есть? А с Вяземским? Тоже есть? Передайте Вяземскому, чтоб он поворачивал левее, а не лез на соединение с Жуковым... Понятно? Жуков и без него справится... Пусть держится Евстафьева... А как у вас? Прошли скалу? Хорошо! Жмите, но не отрывайтесь от Васильева!

Пока Кузьмин говорил с Мамаевым, белобрысый телефонист в лихо заломленной бескозырке жадно затянулся папирсой и восхищенно шепнул мне:

— Наш капитан-лейтенант бой разыгрывает, как пианист.

— Почему как пианист? — не понял я.

— Вроде как на клавишах играет.

Действительно Кузьмин не только попевал за ходом боя, но и безошибочно предугадывал события на каждом участке: вовремя устранял возможные заминки, вовремя нажимал нужную «клавишу», он, казалось, везде присутствовал и все видел.

Бой за высоту длился четыре часа. Солнце поднялось уже довольно высоко, туман в долине исчез. Мимо нас стали проносить раненых. Два моряка-автоматчика провели по тропе группу пленных фашистов. Куда-то поволокли станковый пулемет. Выстрелы стали стихать, слышались только редкие взрывы гранат.

В одиннадцатом часу бой закончился. Моряки разгромили вражеский батальон. Почти никто из гитлеровцев не спасся. Высота была взята. Она стояла, освещенная солнцем, повитая темным дымом, внезапно притихшая. Ротные повара уже поехали туда с кухнями, обозники повезли снаряды и мины.

Кузьмин лежа выслушал по телефону донесения командиров рот, закурил свою неизменную трубку и с наслаждением вытянулся на камнях. При солнечном свете лицо было мертвенно-бледным, а покрасневшие от бессонной ночи глаза полузакрыты: через минуту он уже спал. Телефонист подошел к спящему Кузьмину, снял с себя бушлат и осторожно и нежно прикрыл

своего командира.

Обстановка под Туапсе становится все более угрожающей. По всему видно, что фашисты решили взять город любой ценой. Обладая широкой кубанской равниной с десятками прекрасных дорог, они маневрировали крупными массами войск, непрерывно подбрасывали резервы и, прорвав первый рубеж нашей обороны, растекались по высотам и ущельям; подобно мутному потоку, они просачивались на отдельные тропы, лезли в долины, с отчаянным упорством наступали в лесах.

Правда, сравнительно с кубанскими боями, темпы этого продвижения уменьшились, но наши позиции севернее Туапсе с каждым днем придвигались ближе к городу. Туапсинское сражение подходило к своему зениту.

Фашисты захватили на правом фланге наших войск гору Матазык, вышли на северные скаты горы Оплепен, взяли селение Красное Кладбище, а на центральном участке захватили гору Гунай и хутора Папоротный, Гурьевский, Суздальский. В станице Хадыженской, стоящей от станции Хадыженской на десять километров, гитлеровское командование сосредоточило 97-ю горноегерскую дивизию генерал-майора Руппа, явно предназначая ее для штурма главного Туапсинского шоссе и селения Шаумян, превращенного нами в мощный узел сопротивления.

Выполняя приказ Гитлера и Клейста, генерал Руофф решил прорвать фланги нашей группировки, прикрывавшей Туапсе, выйти в долину реки Пшиш, замкнув клещи в этой долине, отрезать дивизии, обороняющие первый пояс туапсинского рубежа, и после этого штурмовать Туапсе.

Правому крылу предназначенной для этой операции ударной группы Руоффа противостояли гвардейцы полковника Тихонова. Это были отборные, хорошо натренированные, мужественные и стойкие солдаты. Они великолепно дрались в горах и долго сдерживали напор превосходящих сил противника. Особенно показали они себя в рукопашных боях, в лесных засадах и глубоких ночных поисках, в дерзких захватах «языков», в налетах на тылы противника.

К выполнению операции по окружению наших войск севернее реки Пшиш Руофф приступил в октябре.

Перед вечером 13 октября командир 204-го горноегерского полка предпринял атаку высоты, расположенной восточнее Туапсинского шоссе. Оборонявшие эту высоту гвардейцы Тихонова в трехчасовом бою уничтожили свыше двухсот егерей, перешли в контратаку и отбросили гитлеровцев. В разгар боя

погода резко изменилась, в долинах встал густой туман, пошел холодный дождь. Лежа в воде, продрогшие гвардейцы отстреливались от фашистов и не отступали ни на шаг. Боеприпасы иссякли, так как посланные Тихонову автомашины с минами, патронами и гранатами застряли на размытой дождем дороге. Но гвардейцы не отступали.

В те дни я имел возможность ознакомиться с очерками немецкого корреспондента обер-лейтенанта Петера Вебера, который принимал участие в наступлении Руоффа и печатал свои корреспонденции в газете «Панцер форан».

«Атака на расположенные уступами влево от шоссе горные позиции потерпела неудачу, — писал Петер Вебер, — и наша попытка повести прорыв по этому пути стоила много крови. Наступать по самому шоссе было невозможно. Значит, оставалось попытаться обойти справа занятые противником вершины и овраги и охватить с фланга врага. Однако наша передовая разведка и тут натолкнулась на сильную линию дотов, расположенных в шахматном порядке и не менее укрепленных, чем позиции справа от шоссе. Командир егерского полка приказывает остановиться перед линией дотов, чтобы найти для прорыва слабое место где-нибудь на центральном участке вражеской обороны. Генерал решает начать прорыв на рассвете и сосредоточить для этого все силы. Егерский полк, находящийся слева от шоссе и понесший серьезные потери, вызван сюда и ночью направлен в обход противника в лесу...»

На рассвете фашисты вновь повели частый минометный огонь. Лес загорелся в нескольких местах, но вскоре полил дождь, очаги пожара погасли, только по склонам высот еще тянулся густой белый дым. Под покровом этого дыма гитлеровские егеря пошли в атаку. Гвардейцы Тихонова яростно отбивали натиск вражеских автоматчиков, но противнику удалось взорвать гранатами четыре дзота и просочиться в глубину нашей обороны.

Пытаясь расширить полосу прорыва, гитлеровское командование непрерывно подбрасывало к месту боя свежие батальоны и боеприпасы. На стороне фашистов тут было значительное преимущество — наличие хороших дорог. Наши же гвардейцы почти не имели путей подвоза, а машины и телеги с боеприпасами и продовольствием, которые высылались гвардейцам, застревали на размытых дождем дорогах и в лучшем случае доходили с большим запозданием.

И все же гвардейцы мужественно отбивали атаки врага, каждый рубеж держали до последнего защитника. Голодные, продрогшие от частых горных ливней, они сами нападали на фашистов, перехватывали их фланги, мелкими группами

заходили в тылы, а если и отступали, то цеплялись за каждую тропу, за каждый выступ скалы, за каждое дерево.

В самый разгар боев наступило резкое похолодание. Днем шли дожди, а к ночи температура падала, лужи затягивались тонкой коркой льда, подымался холодный ветер. В окопах и щелях невозможно было усидеть от пронизывающей тело сырости. Но редевшие с каждым днем полки Тихонова позиций своих не сдавали. Тогда гитлеровцы перегруппировали свои силы и обходным маневром прорвались к Туапсинскому шоссе.

Положение защитников Туапсе значительно ухудшилось. С выходом на шоссе фашисты взяли под жесткий минометный обстрел селение Шаумян, лежащее на ближних подступах к Туапсе. Правда, этот глубокий прорыв таил в себе большую опасность и для гитлеровцев, так как в этом месте образовался очень сложный рисунок фронта: на фланге у противника осталась занятая нами высота 501, а в лесах, за спиной егерей, стали активно действовать отряды наших лазутчиков из окруженных батальонов.

Но гитлеровцы не придавали этому большого значения. Они были уверены в благополучном исходе операции — взятии Туапсе.

«Теперь открылся свободный путь, — писал Вебер, — для последнего, решающего удара по Туапсе. Командование посылает в наступление на горное селение Шаумян новые резервы. С противоположного берега реки (речь идет о реке Пшиш. — В. З.) наступает наша вторая дивизия... В районе селения Шаумян сошлись наши егеря и стрелки горной дивизии, наступавшей с востока.

Туапсинская оборона прорвана. Падение города неизбежно. Это произойдет в ближайшие дни. Однако упорная битва в лесистых горах еще продолжается...»

Вспоминая кавказскую осень 1942 года, тяжелые, кровопролитные бои, все то, что совершили наши люди в предгорьях Кавказа, я как будто снова переживаю эти дни, вижу пылающие леса, шумные реки, по которым плывут трупы, спотыкающихся на камнях лошадей, угрюмых пленных; я слышу неумолчный грохот пушек, могучее горное эхо, треск ломающихся деревьев...

Сколько тягот перенесли наши воины под Новороссийском, под Крымской, у Горячего Ключа и Волчьих Ворот, под Туапсе и дальше, на перевалах, на Тереке.

Сколько несчастий приносила нам в те дни вода!..

В предгорьях мы мучились от жажды, обсасывали покрытые

росой желуди и делили воду, как величайшую драгоценность, делили одной кружкой, чтобы каждому досталась совершенно одинаковая порция: ни больше ни меньше.

В долинах и ущельях все было пропитано водой: в землянках, как в банях, на полу лежали деревянные решетки, а с потолка и со стен днем и ночью сбегали струйки и звонко шлепались крупные капли; окопы, ходы сообщения, воронки от бомб и снарядов, каждая ложбинка, каждая ямка, в которой можно было укрыться от вражеских пуль, — все это было залито водой, и нашим солдатам приходилось часами лежать в воде, в лучшем случае подгребая под себя гальку или подмащивая хворост.

Конечно, у нас умели делать водостоки, дренажи, водосборные колодцы, умели вязать ореховые веники и укладывать их на бревенчатые перекрытия землянок, но всем этим некогда было заниматься в боях или приходилось заниматься очень мало. Поэтому сапоги у нас покрывались сизо-зеленой плесенью, шинели и портянки никогда не высыхали, винтовки ржавели, а хлеб превращался в клейкий комок теста...

Гитлеровские солдаты с трудом выдерживали такие условия, хотя за их спиной во всех направлениях проходили хорошие дороги и они могли подвозить себе все необходимое. Их письма в Германию были полны жалоб. В сентябре 1942 года ко мне попало письмо обер-фельдфебеля Георга Шустера (полевая почта 05601-С), который был под Туапсе и писал жене в Дюссельдорф:

«Мы находимся среди дремучих лесов Кавказа. Селений здесь очень мало. Тут идут тяжелые бои. Драться приходится за каждую тропу, буквально за каждый камень. Солдаты, которые были в России в прошлом году, говорят, что тогда было много легче, чем теперь...

Почти постоянно мы находимся в ближнем бою с противником. То-то будет радость, когда мы выберемся из этих дьявольских горных лесов! Нервы у всех нас истрепаны. И это понятно. Представь: тишина, а потом вдруг раздается ужасный грохот, из всех лесных закоулков летят камни, вокруг свистят пули. Стрелки невидимы, их скрывает чаща леса. А у нас потери и снова потери...

Да, моя милая Хилли, горы хороши в мирное время, но на войне нет ничего хуже гор. В горах мы лишены танков и тяжелого вооружения. Тут пехотинец действует винтовкой и пулеметом и должен всего добиваться сам. Наши летчики помогают нам, но в этих лесистых горах противник надежно укрыт, и летчики ничего не видят...

Ах, дорогая Хилли, я мечтаю сейчас только о глотке воды! Один глоток, маленький глоточек воды, пусть даже грязной, даже

зловонной! На этой отверженной богом высоте нас всех изнуряет смертельная жажда. Внизу, в долине, воды сколько угодно, даже больше чем нужно, но — увы! — там сидят русские солдаты, озлобленные и упрямые, как черти...»

Нашим бойцам приходилось намного труднее, чем фашистскому обер-фельдфебелю, и все-таки мне ни разу не пришлось услышать жалобы. С изумительной стойкостью переносили они нечеловеческие лишения, воля их с каждым днем закалялась все больше и больше, мужество не знало пределов. Даже самые слабые, самые нервные, подчиняясь отважным и сильным, заражались их энергией, стыдились малодушия.

В этом процессе духовной и физической закалки огромную роль сыграли коммунисты-политработники. Свято храня благородные традиции большевистской партии, являя прекрасный образец твердости и бесстрашия, они всюду были в первых рядах, сражались не щадя жизни. В самые отдаленные доты, в окопы и землянки, на высоты, в ущелья, в леса несли они слово партии, и это могучее слово поднимало людей на подвиг, вдохновляло их, укрепляло их дух, звало к победе. Коммунисты-фронтовики объединяли бойцов всех национальностей, воспитывали в людях отвагу, учили тому, как надо преодолевать непреодолимые, казалось бы, трудности...

Когда начинаешь вспоминать все, что нашим воинам довелось пережить в горах, слово «трудности» кажется тусклым, незначительным...

У нас не было дорог. Единственная рокадная дорога — Новороссийское шоссе — постоянно подвергалась массированным воздушным налетам противника. Когда начались дожди, эта дорога, разбитая машинами, стала разрушаться; ее засыпало во многих местах оползнями с гор, вызывавшими смещение дорожного полотна и деформацию ездовой поверхности. Тысячи людей трудились на шоссе днем и ночью, под палящими лучами солнца, под дождем и снегом, в грязи, они спасали своими кирками и лопатами жизнь многим бойцам, находившимся в лесистых горах. Потоки грузов непрерывно шли по Новороссийскому шоссе.

Однако шоссе это находилось в зоне армейских тылов, то есть на расстоянии пятидесяти-семидесяти километров от переднего края, проходившего в горах. К переднему краю грузы нужно было доставлять через перевалы, большей частью по полному бездорожью, и это был неимоверно тяжелый труд.

Пока саперы и дорожники, пробуя просеки, строили жердевые дороги, перекидывали через овраги сотни мостов, расширяли тропы, бойцы на плечах носили ящики с боеприпасами, мешки с

мукой и крупой. Там, где позволяла местность, шли караваны лошадей и ослов, кое-где даже проходили грузовики и обозные телеги, но на многие участки приходилось доставлять грузы на себе.

У нас не хватало поэтому хлеба, а когда мы получали муку, хлеб негде было выпекать, потому что в горах не было ни печей, ни месильных чанов.

Находясь в одной стрелковой дивизии, которая дралась в горах севернее Туапсе, я был свидетелем того, как сержант Егоров изобретал «полковую хлебопекарню». Он обжег большую бензиновую цистерну, вырезал в ней отверстие и поставил цистерну на сложенные двумя стенками камни; между камнями Егоров устроил топку, зажег дрова, заложил в цистерну круглые куски теста и вскоре, торжествуя и усмехаясь, протянул нам румяный, с поджаристой корочкой, на диво вкусный хлеб.

«Е-1», как шутя называли бойцы егоровскую печь-цистерну, буквально через неделю стала известной далеко за пределами дивизии, и скоро на всех высотах весело задымились самодельные печи, сооруженные из бензиновых бочек, цистерн, всяких железных сундуков и т. п. Наиболее изобретательные хлебопеки усовершенствовали «Е-1» каменной «рубашкой», которая долго держала тепло, стали придумывать всевозможные «вентиляторы», регулирующие температуру печей, ускорили выпечку хлеба. Одним словом, даже там, в лесной глухомани, был найден выход из трудного положения.

У нас не хватало, а кое-где и совсем не было свежих овощей. Появились случаи заболевания цингой. Тогда полки стали выделять команды по сбору диких ягод и фруктов: груш, яблок, алычи, шиповника, каштанов, орехов. Ловкие бойцы, рыская в непроходимой лесной чаще, добывали щавель, дикий чеснок и другие полезные травы. Все это шло в солдатский котел.

Лучшие наши снайперы позволяли себе в редкие часы отдыха побаловаться охотой на кабанов и коз. И, надо сказать, появление снайпера, нагруженного разделанной кабаньей тушей, всегда вызывало у бойцов неподдельный восторг. В этот день готовился наваристый, вкусный борщ, настоящее чудо солдатского поварского искусства. Правда, такие дни бывали не очень часто, потому что наши знаменитые снайперы — Вася Проскурин, Федор Петров, Алексей Прусов, Степанченко, Шашин, Четкин, Шапошников, Бычков и все другие — были заняты гораздо более опасной и важной охотой на фашистских офицеров.

У нас не хватало обмундирования и особенно обуви. Каменистые тропы в горах, колючие лесные кустарники, залитые

водой долины и ущелья в течение месяца превращали солдатские ботинки в сплошную рвань. Бойцы подвязывали подметки сапог телефонным проводом. Каждую убитую или павшую от истощения лошадь немедленно обдирали и из кожи шили «чуни»; такие «чуни» особенно ценили разведчики — в них можно было неслышно подобраться к врагу, они были легкие, прочные и удобные...

Так приходилось воевать в предгорьях Западного Кавказа. И вот, несмотря на все лишения и тяготы, несмотря на все то, что, казалось бы, должно было подорвать у людей силу духа, войска Черноморской группы не только остановили врага по всей линии фронта, но и стали изматывать гитлеровцев непрерывными контратаками, ночными вылазками и ловкими рейдами в тыл. И с каждым днем укреплялась в защитниках Кавказа горячая вера в победу, непоколебимая преданность Коммунистической партии, ибо все они знали, что партия приведет к победе, чувствовали руку партии во всех приказах и безгранично верили в могучую силу этой руки.

И вот, теперь, перелистывая свои походные дневники, я вижу, как ничтожно мало успел я тогда записать; но даже то, что я успел записать, поражает меня величиим человеческих подвигов, и мне хочется назвать героев, тех, которых я видел и знал, и тех, которых я никогда не знал и никогда не узнаю...

Двадцать девятою октября, в самый разгар боев за Туапсе, командир взвода автоматчиков лейтенант Алексей Кошкин получил приказ: выбить фашистов из седловины между горами Семашхо и Два Брата. Эта поросшая густым лесом седловина была укреплена гитлеровцами со всех сторон, а обороняла ее самая отборная рота 500-го офицерского штрафного батальона.

500-й батальон состоял из отпетых людей, громил и головорезов. Фашистское командование бросало батальон на самые опасные и ответственные участки. Не случайно штрафников называли «смертниками» — опознавательным знаком 500-го батальона было изображение жертвенной чаши с кровавым пламенем.

Алексей Кошкин знал, с каким противником ему придется иметь дело. Лейтенант стал кропотливо готовиться к штурму седловины. Он поговорил с разведчиками, точно узнал силы противника, долго сидел над картой, беседовал с жителями селения Анастасиевка, расположенного близ горы Два Брата, потом сам вышел за селение и внимательно осмотрел местность.

Горы Семешхо и Два Брата высились километрах в десяти северо-восточнее станции Кривенковская. Они почти примыкали

одна к другой, и разделяла их только узкая седловина, которую и должен был взять Кошкин. Слева обозначалась изжелта-серая вершина Семешхо, справа — более низкая и продолговатая, с двумя горбами, вершина горы Два Брата. Между ними, вся в лиловых тенях, лежала занятая фашистами седловина. Вершины гор тоже были заняты врагом; ударом по седловине наше командование решило разрезать вражескую группировку пополам и этим упредить ее наступление на Кривенковскую и Анастасиевку.

Вечером лейтенант Кошкин говорил с людьми. Он всматривался в лица бойцов и словно взвешивал: удастся или не удастся? И по непроницаемо спокойному лицу самого лейтенанта можно было видеть, что он уверен в успехе.

В ночь под тридцатое Кошкин повел людей к седловине. Бойцы шли по узкой тропе. Ночь была темная. Рядом с Кошкиным шли его друзья: замполитрука Шевченко, замполитрука Кобаладзе, пулеметчики Богданов и Шульга, автоматчики Данилов, Кобелюк, Черномаз, Куликов. За ними двигались остальные. К двум часам ночи они подошли к подножию гор и миновали боевое охранение. Слева и справа лениво перестреливались наши и вражеские пулеметчики.

Но вот бойцы головного охранения заметили впереди, километра за четыре, дымное зарево и языки пламени. Фашистские штрафники, пользуясь удобным направлением ветра, зажгли лес на юго-западных скатах высот, чтобы сделать эти скаты непроходимыми. Как видно, гитлеровцы ожидали штурма и решили обезопасить себя.

— Ну, что будем делать? — спросил Кобаладзе.

— Надо идти, — твердо ответил Кошкин.

— А пройдем?

— Надо пройти...

Взвод двинулся дальше. С каждым шагом дышать становилось труднее. Горьковатый дым тяжелым облаком медленно плыл навстречу, проникал в легкие, разъедал глаза.

— Бегом! — скомандовал Кошкин.

Темнота, торчащие всюду пни срубленных деревьев, разбросанные на пути камни и едкий дым почти не давали возможности одолевать крутой подъем. И все же бойцы, задыхаясь от дыма, закрывая нос и рот рукавами шинели, спотыкаясь и падая, бежали за лейтенантом и приближались к месту пожара.

Впереди засветились горящие деревья. Все было залито красноватым светом, в котором чернели гигантские стволы буков. Миновав полосу дыма, взвод Кошкина ворвался в зону пожара.

Дышать стало невозможно, жар проникал в грудь. Бойцы легли на землю, но их тотчас же поднял хриплый властный голос лейтенанта Кошкина:

— Вперед!

Обжигаемые пламенем, люди кинулись за лейтенантом. А он бежал впереди, весь черный, в горящей шинели, откинув левую руку, в которой была стиснута большая противотанковая граната.

Еще пять долгих, невыносимо долгих минут. Взвод выбежал на поляну. Пожар остался позади. Впереди, шагах в сорока, темнели вражеские завалы. Еще две секунды люди успели пробежать без выстрелов. Но вот фашистские завалы загрохотали, вспыхнули пляшущими огнями пулеметных очередей. Люди приникли к земле. И опять их поднял хриплый крик лейтенанта Кошкина:

— За мной! Бей паразитов!

Люди кинулись через полосу вражеского огня и достигли наконец вражеских завалов. Начался рукопашный бой. Освещенные пламенем пожара, неукротимые в своей ярости бойцы бросали гранаты, кололи штыками, били фашистов прикладами, саперными лопатами, ногами, душили, стреляли. Над завалами стоял глухой шум, слышались стоны, скрежет и лязганье металла, отдельные выстрелы, треск ломающихся ветвей...

Через четверть часа все стихло. Седловина была взята. Между стволами поваленных деревьев лежали трупы. Вокруг белели размотанные бинты, ключья каких-то тряпок, обрывки газет. Где-то на поляне кричал тяжелораненый боец. В розовом свете зари темнели перевернутые, засыпанные листьями вражеские пулеметы.

Когда совсем рассвело, над седловиной появились пикирующие бомбардировщики и стали сбрасывать фугасные и зажигательные бомбы. По всему было видно, что гитлеровцы придают седловине первостепенное значение и предпримут отчаянные попытки вернуть ее.

Три дня и три ночи вражеские бомбардировщики засыпали седловину бомбами. Все на ней было изрыто, исковеркано, разнесено вдребезги. А на четвертые сутки офицеры-штрафники начали штурм седловины. Они шли с трех сторон, пьяные, в расстегнутых мундирах, без фуражек, с сигарами в зубах.

Расставив людей, лейтенант Кошкин стал ждать приближения фашистов и, когда они подошли на пятьдесят шагов, приказал открыть стрельбу. Штрафники четыре раза пытались прорваться сквозь огонь, но бойцы Кошкина встречали их гранатами, бросались в контратаки и каждый раз отбрасывали вниз...

На рассвете следующего дня гитлеровцы снова ринулись на штурм. Теперь их было значительно больше, и двигались они, соблюдая все меры предосторожности, прячась за стволами деревьев, проникая в воронки. Их атака поддерживалась частым минометным огнем.

В пятом часу утра положение Кошкина стало угрожающим. Завалы, осыпанные зажигательными пулями, дымились. Один за другим выбывали из строя бойцы. И Кошкин понял, что наступила минута, когда надо или смять наступающих врагов, разметать их ряды, или погибнуть. Командир понял и то, что именно он должен первым встать и кинуться в огонь, в дьявольский свист и грохот, чтобы за ним пошли его усталые, израненные люди.

Он вставил в автомат новый диск, рывком кинул свое тело вперед и, не оборачиваясь, закричал:

— За мной!

Он услышал, как за его спиной закричали бойцы, и тут же упал на колени, словно шагнул в кипящее огненное море: миной ему перерезало обе ноги. Лежа на левом боку, он стрелял короткими очередями и еще успел увидеть, что Шевченко и Кобаладзе ведут людей в контратаку, а здоровенный Черномаз бьет прикладом какого-то фашиста. Но вот группа штрафников кинулась на Кошкина с ножами. Двух он застрелил из автомата, остальные укрылись за камнем.

Он лежал, залитый кровью, с обожженным лицом, и, слабея, кричал ушедшим вперед бойцам:

— Бей гадов!

К Кошкину уже подбегали шесть гитлеровцев. Он подложил под себя противотанковую гранату и стал ждать. А когда гитлеровцы кинулись на него, собрав последние силы, он дернул рукоятку гранаты. Раздался оглушительный взрыв. Враги погибли вместе с Кошкиным. В шестом часу седловина была очищена от противника.

Я стоял у подножия дикого камня, на котором кто-то нацарапал штыком: «Лейтенант Алексей Кошкин 1918–1942...» Рядом со мной стояли Кобаладзе, Черномаз, Данилов, Богданов, Шульга. Они и рассказали мне о смерти своего командира, а я сообщил им, что Алексею Кошкину присвоено посмертно звание Героя Советского Союза...

Я поил коня в прозрачной речке. От потной шеи его шел пар, а с губ падали звонкие капли. Я был голоден и измучен. Услышав шум на тропе, обернулся.

Ко мне приближалась худая белая лошадь, запряженная в снарядную двуколку. Лошадью правил боец азербайджанец с

забинтованной рукой, а в двуколке, бессильно откинувшись назад, сидел немолодой боец, до пояса закрытый брезентом.

Ему было лет пятьдесят или около этого. Он сидел в неудобной позе, вытянув поверх брезента желтые руки, на которых запеклась кровь. Его бледное лицо было спокойно, только синеватые губы, опущенные темными усами, дрожали, а в глубоко запавших глазах застыло выражение нечеловеческой боли.

— Откуда вы? — спросил я.

Боец разомкнул сжатые губы и хрипло ответил:

— Четыреста три и три...

Я знал, что на высоте 403,3, севернее Туапсе, с утра шел ожесточенный бой, и мне очень хотелось расспросить, как там идут дела. Но азербайджанец плохо понимал по-русски, а сидевшего в двуколке бойца я не хотел беспокоить, так как видел, что он тяжело ранен.

К моему удивлению, раненый шевельнул рукой, и глядя на меня, сказал:

— Может, у вас будет закурить?

Я поспешно вытащил портсигар, дал ему папироску и поднес зажигалку. Раненый жадно затянулся и, морщась от боли, заговорил.

— Там, кажись, уже кончается дело, — сказал он, — наши пошли вперед. А то, проклятый, никак не давал двигаться. Там у него дзот один был, прямо как заколдованный... строчит и строчит... Кажись, больше десятка уложил. Сержант приказал мне уничтожить этот дзот. Дополз я до него, кинул гранату, он вроде замолк, потом, гляжу, обратно застрочил... Я в него еще одну гранату, потом сразу две... А он, проклятый, разворочен совсем — и все-таки строчит... Гранат у меня больше не было, а наши, гляжу, недалеко, рукой подать... Ну, я глаза закрыл и кинулся на него...

— На кого? — спрашиваю я.

— На пулемет...

— Ну и что?

— Замолчал.

— А вы?

— А меня поранило. Как закрыл я его, слышу — рвануло меня по ногам, вроде как бревном ударило... и в нутро, кажись, попало... потому — в нутре горит...

Ездовой напоил лошадь, взнуздal ее, уселся на угол двуколки и поехал. Я долго следил, как подпрыгивала двуколка на каменистой дороге. Потом прищпорил коня, догнал и, волнуясь, спросил раненого:

— Как вас зовут? Я забыл спросить об этом... и скажите откуда вы?

Раненый спокойно ответил:

— Я сам из города Азова. Фамилия моя Кондратьев, а имя и отчество Леонтий Васильевич...

Через месяц, уже находясь на другом участке Закавказского фронта, я узнал, что рядовому Леонтию Васильевичу Кондратьеву, совершившему высший подвиг самопожертвования, присвоено звание Героя Советского Союза.

С тех пор прошло много дней, но в минуты, когда меня одолевает усталость и мне кажется, что я ослабел, я всегда вспоминаю холодный осенний день в лесу, двуколку и этого немолодого, раненного в живот и в ноги солдата. Я вижу его спокойное бледное лицо, засаленный воротник шинели, руки в запекшейся крови, слышу его короткий рассказ о самом большом и высоком, что только может совершить человек. И, вспомнив Леонтия Кондратьева, я становлюсь сильнее, и мне кажется, что я тоже могу совершить что-то очень большое и важное, что во мне тоже должна быть частица той же неторопливой, спокойной, хорошей силы, как в этом советском солдате, которого я встретил 30 ноября 1942 года...

Да, в советском солдате живет сила, которой дивится весь мир. Эта исполинская сила проявилась и тут, в предгорьях Кавказа, когда гитлеровские войска прорвали нашу оборону и приблизились к Туапсе. Уже фашистские газеты кричали о скорой победе, уже вражеские дивизии приблизились к городу, уже казалось — падение города неминуемо. И все-таки город спасли.

Его спасли советские солдаты — русские, украинцы, грузины, армяне — все, кто в эту осень оборонял туапсинский горный рубеж. Многие из них отдали свою жизнь и умерли так, как умирают настоящие солдаты, — глядя вперед...

И вот я перелистываю свои походные дневники-блокноты, тетради, клочки бумаги, вспоминаю фамилии, лица, отдельные участки обороны, памятные даты и памятные места, — и мне все кажется, что я никогда не закончу перечень человеческих подвигов, что моей жизни не хватит на то, чтобы написать летопись нашей солдатской славы...

В районе гор Гунай и Гейман сражалось стрелковое соединение Героя Советского Союза генерал-майора Провалова. Полки этого соединения были укомплектованы в Донбассе и большей частью состояли из донецких шахтеров-добровольцев. Это были степенные, крепкие, молчаливые люди с сильными рабочими руками, привыкшие к труду и к постоянной опасности.

Среди них было много пожилых, солидных, всеми уважаемых мастеров угледобычи, отцов многочисленных семейств, неторопливых, хладнокровных людей; много было и комсомольской молодежи, порывистых, ладно скроенных юношей, готовых по первому приказу своего генерала кинуться в огонь и в воду.

Соединение дралось на широком фронте, протяжением более двадцати километров, и отбивало по пять-шесть атак за сутки. Самые тяжелые дни пришлось ему пережить во второй половине сентября, когда гитлеровцы, ведя в продолжение недели кровопролитные бои, прорвали наш правый фланг, овладели горами Оплепен, Гунай, Гейман и вышли в долину реки Гунайки. Разбросанные по скатам гор, в ущельях и оврагах, подразделения героически сдерживали натиск вдесятеро превосходящих сил противника.

В эти дни капитан-артиллерист, с которым я познакомился на огневых позициях, рассказал мне о подвиге ездового Степана Суворова.

— Три дня тому назад, — сказал капитан, — у нас погиб ездовой четвертой батарее Степан Суворов, и погиб он так, что мы о нем никогда не забудем. Геройски погиб.

Капитан показал мне выцветшую фотографию рабочего-подростка в стеганке и помятой кепке. Фотография была потерта на углах и сломана в двух местах.

— Вот он, Степан Суворов, — вздохнул капитан. — Мы шутя его называли «фельдмаршалом». Так вот, этот самый «фельдмаршал», заменив убитого пулеметчика, один прикрывал отход нашей батареи, один — понимаете, один — держал гитлеровцев свыше четырех часов, пока мы вручную перетаскивали орудия на новые позиции. У него на теле не оставалось ни одного живого места, весь он был буквально иссечен пулями и осколками мин и гранат. Мы нашли его мертвым, привалившимся к пулемету, и не могли понять: как в нем столько часов держалась жизнь, откуда появилась сила, когда успел закалить свой дух этот паренек...

Капитан помолчал, спрятал фотографию и промолвил задумчиво:

— Сегодня нам сообщили из штаба армии, что Степан Суворов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. У нас много таких, как Степан Суворов...

Да, здесь их было много. Шестнадцать автоматчиков старшего лейтенанта Бондаренко, которые обороняли дорогу и уничтожили сотню фашистов; разведчики лейтенанта Бирюкова, которые пробирались по тайным лесным тропам в тыл врага,

устраивали засады, рвали связь, совершали налеты на фашистские штабы; снайпер старший сержант Лютый, истребивший своими меткими пулями не один десяток гитлеровцев; лейтенант коммунист Мосин, тридцать два раза водивший в атаку своих солдат и павший на поле боя; мастера-оружейники Деркач, Рыжов, Копоть, которые ремонтировали пулеметы прямо под огнем противника; связисты Кавешников, Кречин, Леонов, Орлов, которые днем и ночью, под дождем и снегом пробирались в самые недоступные места, восстанавливая связь; инженер Голобородько, который со своими бесстрашными саперами под самым носом врага строил искусные препятствия и прокладывал пехоте дорогу в проволочных заграждениях; начпрод Вакс, подвозивший горячую пищу в такие места, куда, казалось бы, птице не долететь; отважный командир батальона капитан — орденоносец Пятаков, который стал непревзойденным мастером смелых лесных засад, горных обходов и охватов и водил свой батальон на самые неприступные позиции гитлеровцев, — таковы были донецкие герои-шахтеры генерала Провалова, оборонявшие предгорья Кавказа.

Мужественно дрались шахтеры с врагом, и ходила среди них ими же сочиненная песня:

Как прощались с женами, надевали ранцы,
Оставляли врубовки, брали автомат, —
Расскажи, товарищ, про луганцев,
Про суровых воинов, про лихих ребят.
Нашей клятвы Родине нерушимо слово,
Закалили местью мы сердца свои,
Храбрость Бондаренко и Пяткова
Нас зовет на новые, грозные бои.
От родного Дона до кавказских склонов
Имена героев всех не перечесть.
Высоко красуются знамена —
Боевая слава, воинская честь.
Назад ни шагу! — таков приказ.
Станет могилой врагу Кавказ.
За нами море не отойдем.
Врагу на горе вперед пойдем...

Генерал-полковник фон Клейст был очень недоволен действиями генерала Руоффа. Вместо успешного захвата Туапсе и выхода к морю группа Руоффа застряла в лесистых горах и топталась на одном месте. Без поддержки танков, которые не могли действовать среди гор и непроходимых лесов,

гитлеровские дивизии наполовину утратили свою боеспособность.

Правда, «ударную группу» активно поддерживала авиация, однако фашистские летчики жаловались, что им приходится действовать «вслепую, так как противник скрыт густыми лесами и поэтому недоступен для воздействия с воздуха».

Вынужденная отказаться от массированного удара, группа Руоффа перешла к медленному «прогрызанию» нашей обороны на отдельных участках и направлениях, как правило, расположенных вдоль горных дорог и троп. План Клейста распался на выполнение частных тактических задач: захват господствующих высот, узлов и дорог, бои в горных селениях, перехват коммуникаций. Вне дорог могли действовать только мелкие группы автоматчиков, преимущественно альпийских стрелков или егерей легко-горных дивизий. Эти группы использовались с целью выхода на фланги и просачивания в стыки.

Гитлеровцы сразу потеряли в предгорьях сплошной фронт и перешли к методическим скачкам, напоминавшим действие разрозненных поршней. Дивизии, против желания командования, дробились во время операций на роты и батальоны, так как большие массы войск не имели никакой возможности развернуться в горах.

В некоторых местах (гора Семашхо) врагам удалось приблизиться к Туапсе на очень короткое расстояние (до двадцати пяти километров), однако, как они не рвались отсюда к городу, их атаки успеха не имели.

Генерал-лейтенант Руофф делал все от него зависящее, чтобы выполнить приказ Клейста и захватить Туапсе: он бросал на Туапсинское направление горноегерские дивизии, штрафные батальоны и самые отборные отряды; он даже снял с высокогорных перевалов центрального участка лучшие полки альпийских дивизий и направил их на штурм прикрывающих Туапсе высот; он был очень изобретательным по части всевозможных обходов и охватов; отсутствие танков, которым не позволяла действовать горно-лесистая местность, генерал Руофф щедро возместил легкой артиллерией, минометами, пулеметами: фашистские артиллеристы и летчики поджигали термитными снарядами густые леса, свирепо набрасывались на горные селения и не оставляли от них ни малейшего следа. (Об активности действий вражеской авиации в наступлении на Туапсе свидетельствует, например, такой факт: только на одном из участков туапсинского рубежа наши зенитчики в течение ноября сбили 42 и подбили 14 фашистских самолетов).

Тем не менее широко задуманный план Клейста, разработанный в духе «старого Шлиффена» и предусматривавший

рассечение и уничтожение всей Черноморской группы советских войск, явно провалился. Приятная для Клейста перспектива — полный разгром левого фланга войск Закавказского фронта — исчезла безвозвратно.

Терпела неудачу и попытка гитлеровцев наступать на линии Новороссийск — Абинская. 9-я гессенская пехотная дивизия генерал-лейтенанта фон Шлейница, 72-я пехотная дивизия, в которой за короткое время сменилось несколько командиров, вновь восстановленная 3-я дивизия, 19-я, 6-я, 9-я кавалерийские дивизии — все эти семь дивизий, несколько танковых батальонов и ряд отрядов особого назначения, объединенные в «новороссийскую группу» генерала Ветцеля, топтались перед цементными заводами, замкнувшими прямой выход из Новороссийска, на высотах южнее Абинской, под Карасу-Базаровым и Эриванским.

Шоссе Новороссийск — Геленджик, стиснутое между горами и морем, оказалось недоступным для группы Ветцеля; уложив на штурмах не одну тысячу своих солдат, генерал Ветцель так и не смог пролезть в «дьявольскую глотку», как именовали шоссе обескураженные гессенцы и вестфальцы. Что же касается лесистых высот, окаймляющих Цемесскую долину и проход Шапсугская — Кабардинка, то блистательный разгром 3-й горно-стрелковой дивизии отбил у вражеских солдат охоту к наступлению.

Так с течением времени улетучивались оптимистические летние планы гитлеровского командования. Все правое крыло Клейста безнадежно застряло в предгорьях Западного Кавказа и, ведя бои на отдельных участках, вынуждено было постепенно переходить к обороне.

В один из пасмурных октябрьских дней я покидал предгорья. Накануне мной было получено предписание явиться в штаб.

С грустным чувством уезжал я. Тут я много испытал, тут оставались мои друзья, которых я горячо любил.

Грузовая машина увозила меня на юго-восток. Лежа в кузове, я следил за мелькающими верстовыми столбами, любовался тихим мерцанием моря, вспоминал Аршинцева, Ковалева, старшину Глуза, мертвого Володю, удалых казаков Кириченко, моряков Кузьмина, Лысую гору, Волчьи Ворота, Островскую щель — все, что отныне навсегда вошло в мою жизнь.

Рота лейтенанта Николая Перелешина занимала оборону на кирпичном заводе, между селениями Гнаденбург и Раздольное. Заводик стоял совсем близко от южного берега Терека, на окраине селения, откуда хорошо были видны занятая гитлеровцами станица Павлодольская, постройки машинно-тракторной станции на противоположном берегу.

Место для обороны оказалось удобным. Заводской двор был забит высокими штабелями кирпича, из которого бойцы Перелешина соорудили противотанковые завалы, отличные пулеметные гнезда, просторные блиндажи с рельсовыми перекрытиями.

Между Павлодольской, где уже стояли фашисты, и кирпичным заводом, в котором расположилась рота Перелешина, протекал Терек. В задачу роты входила оборона небольшого, протяженностью в шестьсот метров, берегового участка — полосы речных камней с песчаными холмиками, негусто поросшими вербой и дубняком.

Лейтенант Николай Перелешин, окончивший пехотное училище до войны, был в боях под Харьковом, где получил серьезное ранение, потом лежал в госпитале и только в конце августа принял роту. Грубоватый и резкий, он не терпел никаких нарушений уставных правил и строго взыскивал за малейшую провинность. В роте многие его побаивались.

Политрук роты, пожилой и спокойный Григор Левонян, до войны работал воспитателем в детском доме, и эта профессия выработала в нем мягкость и уравновешенность. Политрук видел, что Перелешин, подчас не разобравшись как следует, кричит на бойцов, но пока ничего не говорил лейтенанту, думая, что тот остепенится и «войдет в колею».



Личный состав роты сразу же не понравился Перелешину: за исключением полутора десятков вернувшихся из госпиталя кадровых бойцов, в роте не было обстрелянных людей, она состояла из зеленой молодежи, призванной недавно из горных районов Армении. Когда Перелешин приехал в Малгобек, где тогда находилась его рота, он ужаснулся: перед ним стояли в самых вольных позах, сутулясь или засунув руки в карманы, совсем молодые парни. Перелешин громко поздоровался с ними, они хором прокричали что-то по-армянски, а некоторые в знак приветствия даже сняли шапки.

Лейтенант, удивленный и раздосадованный, посмотрел на политрука.

— Что это такое? — спросил он.

Политрук Левонян, который привел это новое пополнение в Малгобек, ответил не смущаясь:

— Ты не сердись, лейтенант. Ребята сегодня получают обмундирование и сразу другой вид примут.

— А по-русски они говорят? — упавшим голосом обронил Перелешин.

— Говорить почти не говорят, но процентов на десять понимают, — объяснил Левонян.

Подозвав широкоплечего старшину украинца, Перелешин сказал:

— Сегодня же остричь их и переодеть. Завтра я проверю, что они знают...

На следующий день новобранцы стояли перед лейтенантом наголо остриженные, в новеньких мешковатых гимнастерках, в пилотках, в тяжелых солдатских ботинках, с винтовками в руках.

Они выглядели лучше, но после стрижки казались похudevшими и застенчивыми.

Понаблюдав, как под командой старшины парни выполняют ружейные приемы, перестраиваются и маршируют, Перелешин немного успокоился, но все же его сердце сжалось от предчувствия, что молодые бойцы подведут его в первом же бою.

Он остановил роту, подошел к правофланговому (политрук Левонян шел следом за лейтенантом) и спросил высокого юношу, у которого из широкого ворота гимнастерки выпирала худая шея:

— Как фамилия?

Политрук из-за спины Перелешина быстро перевел вопрос.

— Саакян! — довольно бодро ответил юноша.

— А твоя фамилия? — спросил лейтенант второго бойца.

— Саакян! — последовал ответ.

— А твоя?

— Саакян!

Перелешин кинул через плечо политруку:

— Что они, все Саакяны? Целая рота Саакянов?

— Нет, зачем же? — обиделся политрук. — По фамилии Саакян в роте числится семнадцать человек. А есть Петросян, Симонян, Багдасарян, Геворкян, Назарян. Этих тоже по несколько человек.

— Как же это получилось?

— Они из одних селений, там живут все их родственники.

— Как же я их различать буду? — ужаснулся Перелешин.

— Ничего, лейтенант, привыкнешь. Научим их русскому языку, натренируем немножко, и все будет в порядке...

Через две недели после этого разговора рота Перелешина покинула Малгобек, двое суток простояла на ферме овцеводческого совхоза, потом была отправлена на передовую — оборонять береговой участок кирпичного завода между селениями Гнаденбург и Раздольное.

Территория завода была уже пуста. Ценное имущество, как видно, успели эвакуировать, а рабочие разошлись по домам. Перелешин приказал оборудовать командный пункт в глубоком мрачном подвале, над которым высилась целая гора плотно утоптанной глины. В подвале поставили телефон, сделали деревянные нары. Здесь же поселились Перелешин и Левонян.

Они вдвоем осмотрели участок обороны, отметили на карте каждую извилину довольно пологого берега, кустарники, окраинные дворы Гнаденбурга — все, что могло оказаться важным и удобным для обороны.

Перелешин решил расположить два взвода на самом берегу

реки, а третий — на территории завода. Первый взвод отрыл себе окопы между кромкой берега и надречными дворами селения, соединенными с окопами глубокими ходами сообщения. Этим взводом командовал младший лейтенант Геворк Саакян, только что прибывший в роту из училища.

Второй взвод старшины Вдовиченко, здоровенного флегматика украинца, окопался в зарослях ивняка у самой воды и был соединен ходами сообщения с заводским двором. Перелешин уважал Степана Вдовиченко за его огромную физическую силу, за то, что старшина был отличным служакой и требовательным командиром. Поэтому второй взвод и был направлен им на участок, который казался ему наиболее опасным.

Третий взвод — им командовал старшина Никифор Голоблев, бывший моряк, — занял территорию завода и должен был стать главным опорным пунктом роты.

У Саакяна и Вдовиченко было по одному станковому пулемету, по одному миномету и по два расчета противотанковых ружей. У Голоблева — два пулемета, два миномета и четыре расчета ПТР. Кроме того, Перелешину была придана одна противотанковая пушка, ее расположили чуть правее завода, так, чтобы артиллеристы могли наблюдать за противоположным берегом реки и, если понадобится, бить прямой наводкой. Орудийным расчетом командовал молодой сержант Семен Шустиков, бывший слесарь Кировского завода.

В тот день, когда рота Перелешина заняла кирпичный завод, фашистский головной танковый отряд из дивизии генерала Вестгофена выскочил на разъезд Чернойарский, расположенный по железнодорожной линии Прохладный — Моздок, примерно в двадцати километрах от завода. На следующее утро танкисты Вестгофена были уже в станице Павлодольской, стоявшей на северном берегу Терека, прямо против кирпичного завода.

За два часа до этого взвод Саакяна пропустил через Терек на Гнаденбург бойцов отходившего от железной дороги пехотного батальона. Бойцы переправлялись на самодельных плотках, они были оборваны, забрызганы грязью, и их появление смутило необстрелянных людей Саакяна.

Коверкая русские слова, один из бойцов взвода спросил:

— Как там дела?

Хмурый сержант с перевязанной рукой, который переправлял людей через реку, сердито отрубил:

— Сегодня сам узнаешь, как дела, и не раз маму вспомнишь...

В девять часов утра на заводском дворе разорвался первый снаряд, пущенный гитлеровцами по Павлодольской.

— Ну, политрук, теперь начинается, — сказал Перелешин Левоняну.

Они стояли на площадке высокой заводской печи, где за массивной кирпичной стеной и рельсовыми укрытиями располагался наблюдательный пункт.

— Я пойду к Геворку, — сказал Левонян.

— Зачем?

— Надо поговорить с ребятами.

— Беседу проводить? Газеты читать? Им сейчас не до газет... — пробурчал Перелешин.

Левонян нахмурился. Он давно заметил, что лейтенант несколько пренебрежительно относится к мероприятиям, которые он проводит во взводах. Обычно политрук отмалчивался, но сейчас, перед лицом близкой опасности, он счел нужным сказать:

— Нет, Николай, не газеты читать, а поговорить с людьми по душам и хотя бы в первые минуты побыть рядом с ними. Они живые люди, и у них есть страх...

— Иди! — махнул рукой Перелешин.

Он уже не слышал, что говорил Левонян. Припав к объективу стереотрубы, он смотрел на вражеский берег. Из-за длинного сарая, белевшего на окраине Павлодольской, ударил шестиствольный миномет. Мины не долетели до южного берега и упали в воду, взметнув белые гейзеры пены. По дороге из Ново-Осетиновской в Павлодольскую промчались, оставляя за собой клубы пыли, тяжелые грузовые машины с прицепами, на которых темнели длинные понтоны.

— К переправе готовятся, паразиты! — с тоской и злобой сказал Перелешин.

Оставив у стереотрубы наблюдателя, лейтенант сбежал по кирпичным ступеням вниз и стал звонить в батальон, чтобы Павлодольскую накрыли огнем.

— Их там собралась чертова куча! — кричал он в трубку. — Дайте раза два по сараю восточнее станицы! За сараем у них «ванюша»!

— Ладно, ладно, Перелешин, — хрипло гудел командир батальона, — сейчас свяжусь. Ты смотри в оба, особенно ночью...

Два вражеских танка выскочили из станичной улицы к самому берегу, постреляли минут пять и ушли. Во взводе Саакяна защелкали противотанковые ружья и дробно застучала длинная пулеметная очередь.

Услышав стрельбу, взбешенный Перелешин покрутил телефон и закричал в трубку:

— Ты чего там стреляешь? Раньше времени обнаружить себя хочешь?

— Фашистские танки, товарищ лейтенант, — оправдывался испуганный криком Саакян.

— Ну и черт с ними! Что они, через реку поплывут, что ли? Прежде чем что-нибудь делать, головой надо думать...

— Есть, головой думать, товарищ лейтенант! — отозвался Саакян.

Гитлеровцы к переправе пока не приступали. Обнаружив место расположения саакяновского взвода, они обрушили на селение Гнаденбург шквальный огонь тяжелых минометов и пушек. Перелешин сам побежал в этот взвод. Не стесняясь присутствия бойцов, лейтенант закричал еще издали:

— Какому вас черту учили в училище? Обнаружили себя, теперь получайте!

Красивый Саакян, с темными усиками над детскими губами, зарделся от стыда:

— Виноват, товарищ лейтенант...

— Головой думать надо! — перебил Перелешин. — Ваше дело — следить за противником и, если он попытается наводить переправу, воспрепятствовать этому огнем, а вы палите в белый свет, как в копеечку. Во-первых, без переправы танк вам не опасен, во-вторых, вы отсюда ни черта ему не сделаете вашими ружьями. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

Бойцы, припав к стенке окопа, не сводили глаз с сердитого лейтенанта, ожидая, что он обрушится сейчас на них.

— Ну, а вы, орлы? — закричал Перелешин. — Дрожите небось?

Услышав в голосе лейтенанта нотки смешливости, бойцы заулыбались. Но Перелешин тотчас же нахмурился и, скользнув взглядом по фигурам парней, закричал:

— Почему поясные ремни распустили, как бабы? А обмотки? Не можете с обмотками обращаться? Если еще раз замечу кого-нибудь в таком виде, голову оторву! Сегодня у вас обмотки разматаются, а завтра вы мне танк противника пропустите! Надо следить за собой, тогда вы и за врагом следить будете...

Фашисты все время вели беглый минометный огонь по селению, осколки с резким вжиканьем разлетались над головами; бойцы прижимались к земле, и многие из них побледнели от страха. Перелешин видел это и своими грубоватыми замечаниями по поводу распустившихся обмоток хотел им внушить, что вокруг ничего страшного нет, что в окопах всегда так будет и что на такие пустяки, как огонь противника, не стоит обращать никакого внимания.

Так прошло четверо суток. Днем и ночью стоял в степи гул

пушечной канонады, земля сотрясалась от частых бомбовых разрывов, черный дым густой тучей навис над изрезанной окопами и воронками равниной, над станицами и над потемневшими лесами Черных гор.

В ночь на пятые сутки гитлеровцы начали скрытно подвозить к берегу понтоны. Разведчики второго взвода обнаружили это. Сержант Шустиков выпустил в темноте по северному берегу десять снарядов и разогнал вражеских понтонеров. Тогда фашисты обрушили на южный берег весь огонь своих пушек и стали бомбить береговую полосу, селение и кирпичный завод, чтобы под прикрытием огня построить переправу.

Взлетали вверх вырванные с корнями деревья, тяжелые булыжники, длинные бревна перекрытий и блиндажей, рушились кирпичные заводские стены, белые домики селения, и всюду стоял едкий, густой дым и кисловатый запах сгоревшего металла.

Больше всего пострадал взвод младшего лейтенанта Саакяна — половина его бойцов выбыла из строя. Но ни один из юношей не дрогнул, не побежал, не оставил окопа. Короткие часы «огневого крещения» уже успели превратить их в солдат, умеющих подавлять в себе чувство страха.

Гитлеровцам все же удалось построить на реке понтонный мост. Правда, это им дорого стоило: пушка Шустикова, пулеметчики и минометчики Вдовиченко и Голоблева, несмотря на бешеный огонь вражеской артиллерии, десятками сметали фашистских солдат с низких понтонов, топили их в терских волнах, разносили в клочья на берегу, где они накапливались для атаки. Однако, несмотря на потери, фашисты соорудили мост, по которому ринулись на южный берег их первые танки...

Лейтенант Перелешин больше всего боялся появления танков. Он хорошо знал, что при встрече с танками самое главное — устоять, выдержать, подавить в себе невыносимо гнетущее желание бежать из окопа. Он знал это и боялся, что его «мальчики» не выдержат страшного испытания.

Правда, в окопах были противотанковые ружья, гранаты, зажигательные бутылки, но что все это стоит без сильной человеческой воли, которая в состоянии подавить даже страх смерти?

— Не устоят наши орлы! — с тревогой говорил Перелешин политруку.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что тут нужна большая душевная сила...

Политрук неуверенно успокаивал:

— Выстоят...

— Выстоят! — оборвал Перелешин. — Ты-то сам знаешь, что

такое танковая атака?

— Нет, Николай, не знаю, — простодушно соглашался политрук, — но я буду среди ребят...

Когда наблюдатели доложили, что гитлеровцы, несмотря на огонь, заканчивают наводку моста, Перелешин и Левонян побежали к берегу. Лейтенант повернул на левый фланг, к Саакяну, так как знал, что враги прежде всего полезут к селению, а политрука Левоняна послал к Вдовиченко.

Было раннее сентябрьское утро. Красноватое солнце уже поднялось довольно высоко над береговым кустарником, и по всей долине розовели тающие полосы тумана. Небо было чистое, глубокое, такое, какое только бывает осенним утром. Но все вокруг гремело, бушевало. Фашисты вели из Павлодольской беглый минометно-артиллерийский огонь, готовя танковую атаку.

Пригнувшись, лейтенант Перелешин вскочил в окоп. Бойцы оглянулись и, увидев лейтенанта, стали незаметно поправлять пояса; красивый Геворк Саакян, с побледневшим лицом, в измятой расстегнутой шинели, стоял в правом углу окопа, напряженно всматриваясь в смутные, подернутые туманом очертания берега.

— Товарищ лейтенант, на северном берегу работают танковые моторы, — ломким, срывающимся голосом закричал он. — Видно, противник готовится...

— Застегните шинель и не кричите! — перебил Перелешин. — Бронебойщики на месте?

— Так точно!

— Приготовьте гранаты и зажигательные бутылки, — коротко и жестко сказал лейтенант. — Я пойду к бронебойщикам, а вы оставайтесь тут. Из окопа не выпускать ни одного человека. Первого же бегущего расстрелять на месте. Если это не будет сделано, танки раздавят вас всех. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

— Ну вот, действуйте!

Гнездо первой пары бронебойщиков было выдвинуто метров на сорок вперед. Нахлобучив фуражку, Перелешин съехался и, не оглядываясь, побежал по узкому ходу сообщения. Где-то справа разорвалась мина. В лицо Перелешину ударила туча песку. Он сплюнул и побежал быстрее.

Бронебойщики стояли спиной к ходу сообщения, прижавшись друг к другу. Длинное, неуклюжее ружье лежало между ними на бруствере. На дне окопчика зеленели ивовые прутья с увядшими, растоптанными листьями; в земляной нише поблескивали сваленные грудой большие медные патроны; на патронах лежали флаги и замотанный в промасленную тряпку кусок хлеба.

Увидев командира роты, бронбойщики испуганно вытянулись.

Перелешин скользнул взглядом по их смущенным лицам и спросил:

— Как фамилия?

— Багдасарян, товарищ лейтенант, — торопясь, ответил один из парней, стоявший ближе к Перелешину.

— А твоя?

— Багдасарян, товарищ лейтенант, — как эхо повторил второй парень.

— Братья?

Бронбойщики переглянулись и ответили в один голос:

— Нет...

Перелешин потрогал рукой ружье и, прижавшись плечом к брустверу, бегло осмотрел ориентиры. До Терека было метров триста. Между рекой и гнездом бронбойщиков высились две старые вербы.

«Сто пятьдесят метров», — мысленно отметил Перелешин.

Еще ближе, метрах в семидесяти от гнезда, чернела глубокая бомбовая воронка. Совсем близко, метрах в двадцати, валялось корявое, покрытое зеленым мохом бревно, должно быть, занесенное сюда еще весенним разливом.

— Я останусь с вами, — сказал Перелешин, поглядывая на парней. — Сейчас пойдут вражеские танки. Стрелять надо спокойно. Когда танки дойдут до тех двух деревьев, — раздвинув два пальца, он показал рукой, — переведите прицел. Дойдут до воронки — стреляйте в последний раз, прячьте ружье в окоп и берите гранаты. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант, — ответили бронбойщики.

Фашисты усилили огонь. В промежутках между частыми разрывами слышен был ровный и звонкий гул танковых моторов. Заслонив южный конец понтонного моста завесой огневого вала, гитлеровцы готовились к решающей минуте.

«Эх, дать бы сюда штук пять самолетов!» — с тоской подумал Перелешин.

Он всматривался в побледневшие лица бронбойщиков и в сотый раз спрашивал себя: выдержат или не выдержат?

Вдруг вражеские пушки сразу умолкли, точно кто-то смахнул их с берега. Наступила зловещая тишина.

«Сейчас!» — мелькнула у Перелешина короткая, как молния, мысль. Парни беспокойно оглянулись.

— Боец Багдасарян! — почти спокойно сказал Перелешин. — Поправьте пилотку и смотрите вперед, а не назад. Сзади все в порядке...

Парни механическим движением поправили съехавшие на затылок пилотки и приникли к ружьям. Ровный голос лейтенанта подействовал на них, как ледяное прикосновение, и они, повинаясь этому странно успокаивающему голосу, заглушили в себе лихорадочную дрожь и смотрели вперед, туда, где вот-вот должны были показаться стальные чудовища.

На одно мгновение встревожила Перелешина мысль о том, что он поступает неправильно, оставаясь здесь, с бронебойщиками, что его место позади, там, откуда нужно руководить боем, но он понимал, что, если эти два парня дрогнут и побегут, не выдержав первого удара, все будет кончено, потому что паника охватит их товарищей, и тогда уже никто не остановит обезумевших людей.

Подобно приближающемуся урагану, загрохотали танки. Вот их тяжелые гусеницы уже застучали по мосту. Скрежет, лязганье, захлебывающиеся пулеметные очереди разорвали тишину. У самого берега сверкнули вспышки пламени.

«Это пушка Шустикова, — отметил Перелешин. — Нервничает, дурак, и стреляет раньше времени...»

Парни снова оглянулись. В их глазах стояло выражение ужаса.

Перелешин положил им на плечи тяжелые руки.

— Идут вражеские танки! — закричал он протяжно. — Не торопитесь и цельтесь лучше!

Из розового приближающегося тумана вынырнули черные силуэты танков. Справа, из кустарников, где оборонялся взвод Вдовиченко, нестройно защелкали противотанковые ружья. Неподалеку разорвался снаряд. Ветер донес до окопчика сладковатый запах жженого металла и селитры.

Припав к ружью, боец выстрелил один раз, потом второй, третий...

— Не торопись! — закричал Перелешин. — Целиться надо!

Боец, выждав секунду, выстрелил еще раз. Башня переднего танка, выползая из тумана, неуклонно двигалась вперед. Перелешин мучительно боролся с желанием выхватить у смуглого парня ружье и стрелять самому, но он подавил в себе это желание и захрипел над самым ухом бойца:

— Спокойнее, спокойнее!

Боец отмахнулся локтем и припал к ружью. Один за другим грохнули два выстрела. Передний танк замер. Из темного полукружья его приземистой башни вырвалась беловатая струйка дыма.

— Молодец, Багдасарян! Есть один! — восторженно крикнул Перелешин.

— Давай зажигательные! — гортанно крикнул парень.

Второй номер выбросил на бруствер два патрона с ярко-красной полоской. С металлическим карканьем щелкнул затвор.

Танки, слева и справа обходя подбитый головной танк, быстро приближались к старым вербам. Уже со всех сторон посвистывали пули. Подхваченные взрывами снарядов, взлетали вверх камни. Полыхнув клубами багрового черного дыма, дрогнул и остановился танк, который шел справа.

«Это Шустиков долбанул», — подумал Перелешин.

Но огонь Шустикова не остановил фашистов. Пять танков, скрежеща по камням, шли прямо на окопчик. Уже хорошо были видны острые траки их гусениц, тонкие стволы пушек, черные, обведенные белыми полосами кресты на броне. У воронки танки разделились: три, обогнув ее, устремились к селению, а два шли на окопы Саакяна.

Бронебойцы все еще стреляли.

— Прячь ружье, бери гранаты! — закричал Перелешин.

Парни нырнули в окоп. Ствол ружья больно ударил Перелешина по колену. Лейтенант схватил две связки гранат и, размахнувшись, бросил под гусеницы ревущего танка. Раздался оглушительный грохот. Второй танк, огромный, пышущий жаром, пронесся над окопчиком, руша камни, рыча траками и разбрызгивая горячее масло.

— Кидай ему в зад! — прохрипел засыпанный землей Перелешин.

Но танк, подбитый пушкой Шустикова, уже вертелся в десяти шагах от окопчика. Из открывшегося люка стали выпрыгивать танкисты.

Один из бойцов поднял тяжелое ружье, выстрелил и пригвоздил к земле бегущего фашиста. Еще двух почти в упор застрелил из пистолета Перелешин.

Второй боец, белый как мел, лежал на дне окопчика, подогнув колени и зажимая руками шею. Между скрещенными пальцами текла кровь... Боец боязливо посмотрел на лейтенанта черными, влажными глазами, ожидая разноса за ранение.

Но грозный лейтенант вдруг опустился на колени, вытер, размазывая грязь, свой потный лоб, наклонился и поцеловал бойца в щеку и в губы. Потом он поцеловал второго парня и сказал хрипло:

— Молодцы Багдасаряны! Орлы! Представляю к награде. Танковую атаку отбили!

Ледяной уступ на южном склоне горы Кара-Кая и одинокая, сложенная из камней горная хижина — это наш последний крупный привал. Здесь мы сложим все наши запасы и пойдем на северо-запад, где нас ждут смертельно уставшие люди лейтенанта Метагвария. Кони и ослы отсюда вернутся обратно.

Бойцы, оживленно переговариваясь, ставят палатки. Два повара, достав из выюков припасенные внизу дрова, разжигают костер. Выюководы копошатся возле животных. На уступе шумно и весело. Усталости как будто не бывало.

Я захожу в хижину, протираю запотевшие очки и осматриваюсь. Хижина довольно большая, в ней могло бы поместиться человек двадцать. Щели в каменных стенах плотно законопачены сухой травой. Травя толстым слоем устилает пол. В двух стенах — северной и западной — маленькие подслеповатые оконца. Никакой мебели, только вдоль восточной стены подобие каменных нар, на которых набросаны меха и куски брезента.

На нарах сидят девушки, а на полу, в углу хижины, накрывшись толстыми солдатскими одеялами, спят трое мужчин — два наших бойца и немец с нашивками гаупт-фельдфебеля на зеленых петлицах.

— Здравствуйте, девушки! — говорю я хозяйкам хижины.

Девушки встают и вытягивают руки по швам.

— Здравствуйте! — отвечают они приветливо.



Одна из них — маленькая, курносая, сероглазая, с большим ртом и рыжевато-золотистыми кудряшками, которые она поминутно отбрасывает тонкой, детской рукой; вторая — чуть

повыше и посерьезнее, темнобровая, коренастая, с угрюмым выражением некрасивого веснушчатого лица, держится независимо и несколько надменно.

— Ну, девушки, что ж вы тут делаете? — спрашиваю я.

— Мы санитарки, — отвечает курносая усмехаясь.

— А как вас зовут?

— Меня — Ася...

— А подругу?

— И ее тоже Ася.

Некрасивая девушка настороженно смотрит на меня и, не поворачивая головы, говорит маленькой с сердитой укоризной:

— Ты их спросила, кто они такие, что сразу расписываешься?

— Мы будем сменять лейтенанта Метагвария, — с готовностью разъясняю я и, скользнув взглядом по полу, спрашиваю: — А это что у вас за народ?

Маленькая, заложив руки за спину, отвечает:

— Это все раненные. Двое бойцов из отряда Метагвария, а один фриц. Ногу ему прострелили позавчера, он чуть не замерз, так мы его подобрали...

В хижину вваливаются лейтенант Смага, Порфирий Иванович, Слава Ковзан, радист Аббасов, вслед за которым двое бойцов вносят нашу портативную радиостанцию.

Хижина наполняется гомоном, шумом, паром.

— Ну, красавицы, где вы тут? Показывайтесь! — кричит Смага. — А то мне разведчики давно говорили: впереди, говорят, монастырь женский расположен, и красавицы в нем такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Сероглазая замечает на защитных петлицах Смаги алые кубики и рапортует тоненьким голоском:

— Санинструктор отдельного горно-стрелкового отряда лейтенанта Метагвария ефрейтор Ключкина и санинструктор того же отряда ефрейтор Пудалова.

— Ого! — смеется Смага. — Молодец девка! Кто же из вас Ключкина, кто Пудалова?

— Я санинструктор Ключкина, товарищ командир.

Смага делает несколько шагов по хижине и оглядывается:

— А это что за люди?

Стоя на вытяжку, ефрейтор докладывает:

— Раненные бойцы нашего отряда Гамбарян и Лященко и гаупт-фельдфебель первой альпийской дивизии «Эдельвейс» Алоиз, обнаруженный без сознания ввиду потери крови.

— Так, так...

Смага испытующе смотрит на девушку и говорит, согнав с лица усмешку:

— А теперь, красавицы, предъявите-ка ваши документы!

Угрюмая девушка сдвигает темные брови:

— Сперва, Ася, ты у них погляди документы, — неожиданно бросает она.

Смага смеется. Он вытаскивает из куртки удостоверение. Обе девушки достают свои красноармейские книжки.

— Теперь все в порядке, — удовлетворенно говорит Смага, — принимайте гостей, а то мы устали, как звери, и спать хотим.

Маленькая Ася явно смущена. Она вопросительно смотрит на подругу, но та стоит, нахмурившись, точно слова лейтенанта к ней не относятся.

— Товарищ лейтенант, нам принимать вас нечем, — краснея, говорит маленькая, — у нас давно все съедено... Сидим на строгой норме — три кукурузные лепешки в день и кусочек сахара.

Смага тоже несколько смущен. Он пощелкивает пальцами и смотрит вниз.

— Хорошо, хорошо, — бормочет он, — мы будем кушать вместе, у нас есть запасы.

Распотрошив туго набитый рюкзак, он достает концентраты в желтых коробках, консервы, сгущенное молоко, шоколад. Слава, Порфирий Иванович и я следуем его примеру. Начинается обед. Девушки подсаживаются к нам — Ключкина охотно, Пудалова с некоторой церемонностью. Просыпаются раненые. Черный Гамбарян с перевязанной головой свертывает махорочную самокрутку и молча протягивает свой кисет пленному фельдфебелю. Тот бормочет: «Данке», неумело крутит сигарку и тревожно смотрит на нас светло-голубыми глазами. Ключкина передает им всем по бутерброду и по кружке чаю.

Потом наши отрядники ложатся спать. Ася Пудалова усаживается на нары — чинить чью-то в лоскуты разорванную шинель. Гамбарян и Лященко засыпают. Немец лежит, уставившись в потолок.

Мне не спится. Я прошу Асю Ключкину рассказать о своей работе. Она садится на пол рядом со мной, обнимает руками колени и задумывается.

— Что ж тут рассказывать? — растягивая слова, говорит она. — Трудно нам так, что и не рассказать. Чтобы все это понять, надо самому видеть...

Глядя в угол хижины, точно всматриваясь во что-то, Ася усмехается:

— На войне все говорят о геройстве. Тот, дескать, первый ворвался в немецкую траншею, тот людей поднял под огнем, а тот снайпер отличный или ценного «языка» добыл. Это, конечно, все

героические дела, и у нас правильно таким людям уважение делают. Про этих людей и рассказывать, и слушать интересно. А мы сидим тут на краю света, и страшно нам, и голодно, и труда нашего никто не видит, и никто даже не представляет, какой это каторжный труд...

— Это мы сегодня только дома, — вставляет Ася Пудалова, перекусывая нитку, — вчера позволил нам лейтенант отдохнуть и помыться. «Мы, — говорит, — без вас пока обойдемся, потому что снег засыпал и фрицев и нас и никаких действий на ближайшие дни не предвидится». А то мы как уйдем с утра, так до самой ночи в горах.

— Говорят, под пулями человеку страшно, — продолжает маленькая Ася Ключкина. — Это правильно. Умирать никому не хочется. Но знаете, что самое страшное?

— Что?

— Самое страшное — это когда умирающего человека тащишь по ледникам да по тропкам над пропастью. И у него силы нет, и у тебя сила небольшая, а кругом холодные льды и снег выше роста человеческого. Вот расстелешь кусок брезента на льду, раненого на него положишь, а сама в лямки впряжешься.

— В какие лямки?

— На брезент мы лямки приспособили, чтобы тащить было удобнее. Впряжешься в эти лямки и тащишь. Пока вниз по льду тащишь — ничего. А как только снег глубокий или крутой подъем, прямо из сил выбиваешься. Шаг протащишь, а потом ложишься лицом в снег и плачешь. Ведь человек на брезенте кровью исходит. У нас в правилах написано, чтоб через восемь часов после ранения боец был уже эвакуирован в дивизионный госпиталь. А разве тут можно выполнить эти правила? Вот и ломаешь голову, как бы человека спасти. И рану ему бинтом перевяжешь, и чаем горячим из термоса напоишь, и одеялом накроешь его... А сама тащишь... В глазах темно, и руки себе кусаешь от слабости, чтобы не упасть и не уснуть в снегу...

Ася Пудалова почти неодобрительно посматривает на подругу, но говорит, чуть-чуть улыбаясь:

— Ты расскажи про этого твоего...

— Какого?

— Да про грузчика авлабарского.

Маленькая Ася густо краснеет, смущенно опускает голову, а потом машет рукой и говорит мне:

— Это смех и слезы.

— А что?

— Недели три назад это случилось. Я была при отряде, на дежурстве. Лежу за камнем и поглядываю вперед. А впереди,

между камней, бойцы наши лежат, из карабинов постреливают. Ну и немцы, конечно, отвечают. Редкая перестрелка идет. Погода пасмурная, ветер гудит, и снег все время срывается. Вдруг я слышу, кричит один сержант: «Ася! На левый фланг!» Я ползу на левый фланг и вижу: на льду один наш распластался, а лед под ним красный от крови. Боец здоровенный такой, из Тбилиси сам, грузчиком в Авлабаре работал, Ваню его зовут. Ну вот, лежит он и к боку руки прижимает, а сам уже побелел от потери крови. Подползла я к нему, расстегнула ему стеганку, брюки, смотрю — в боку у него пулевое ранение и все кругом залито кровью. Перебинтовала я его, втащила на брезент и поползла в тыл. Сначала ползти было легко, потому что камни лежали редко и льдом все затянуло. А потом камней все больше и больше, весь лед камнями засыпало. Раненый стонет и просит только: «Полегче, доченька, полегче!..» Я уж чувствую, что из сил выбиваюсь. А тут, как назло, тропка вся снегом засыпана и крутой подъем начался, над самой пропастью... Привязала я Ваню к брезенту, чтоб в пропасть не скатился, положила его на лыжи и тащу. Два-три шага протащу и останавливаюсь — очень уж тяжелый. Вспотела вся, руки и ноги дрожат, голова кружится. Лягу я лицом вниз, полижу снег, отдохну минутку и дальше ползу. Гляну вверх — тропе и конца не видно, а снег все глубже и глубже. И вот, верите, не выдержала я: сердце у меня заболело, и потеряла я сознание. Потом прихожу в себя и вижу, что я уже лежу на брезенте, а меня тащит по снегу Ваню. Тащит он меня, а сам рану рукой зажал и ругается на чем свет стоит: «Паршивая, — говорит, — девчонка! Какой дурак, — говорит, — тебе позволил идти сюда! Сидела бы, в куклы играла и с пионерами в садике гуляла бы! А то полезла сюда, теперь возись тут с тобой, негодница!»

Ася смеется, краснея. Проснувшийся Гамбарян тоже смеется и говорит мне:

— Не слушайте вы ее, товарищ майор. Она вам наговорит! Может, случай такой действительно был, потому что этот самый Ваню двадцать пудов поднять мог. А только эту самую девочку все наши бойцы готовы на руках нести не то что на гору, а до самой Москвы, а там поднять на Красной площади и показать людям, чтобы все знали, какая это девочка, потому что она у нас тут как ангел божий...

Наш разговор прерывается, но я долго еще не могу уснуть, думая о двух девушках, отрезанных от мира снегами и льдами высоких гор, о героизме и высокой человечности их тяжелого труда. И когда я сквозь дремоту смотрю на спящего фельдфебеля, спасенного Асей Ключкиной, я особенно остро начинаю

понимать величие наших людей, их особый склад души, характер и силу.

Мы пробыли на ледяном уступе двое суток. За это время наши люди оборудовали в горах склад и установили связь с лейтенантом Метагвария. Отдыхая в гостеприимной хижине, Слава Ковзан написал своей Майе четыре письма, Порфирий Иванович сделал всем раненым перевязки, а я привел в порядок дневник и черновые походные записи. Бойцы хорошо отдохнули, почистились, побрились.

Ровно в полночь мы должны были сменить бойцов Метагвария и занять позиции на западном склоне горы Кара-Кая, где проходит тропа, ведущая на юг, к перевалу Аданге. Погода установилась тихая, пасмурная, снег прекратился, и ветра не было.

Мы сидели в хижине, заканчивая последние приготовления. Девушки собирали свои вещи. Они должны были вместе с людьми Метагвария покинуть горы и спуститься в долину на отдых. Придерживая солдатские вещевые мешки, девушки неторопливо собирали измятое белье, какие-то ремешки и скляночки, аккуратно сложенные газеты, коробочки из-под пудры — все, что накопилось у них в обжитой хижине за два месяца. Обе девушки были оживлены, но я заметил на их раздумывавшихся лицах еле уловимое выражение задумчивости. Я сидел у окна рядом с Алоизом. Пленный гаупт-фельдфебель, у которого вещей не было, молча наблюдал за сборами, изредка роняя односложные фразы.

Старый проводник сван, точно каменное изваяние, стоял у дверей, скрестив руки и потупив взор. За все время этот угрюмый старик так и не произнес ни одного слова. Чувствуя себя виноватым за наши подозрения, Смага пытался объясниться со сваном и даже протянул ему сто рублей. Увидев деньги, проводник сердито замотал головой и так взглянул на Смагу, что тот поспешил спрятать деньги.

— Старый горец — отличный следопыт, — сказал мне гаупт-фельдфебель, наблюдавший эту сцену, — он не похож на наших проводников. Те продаются, а этот отдает себя. Дьявольская разница.

— Да, это большая разница, — согласился я.

После ужина, который несколько затянулся, Смага взглянул на часы и проронил, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот. Кажется, все. Можно собираться. Десятый час.

Мы поднялись. Слава подошел к маленькой Асе и протянул ей несколько сложенных треугольником писем.

— Когда будете в Сухуми, опустите, пожалуйста, в почтовый

ящик, — прошептал он, — а то, пока они дойдут до города, можно десять раз помереть...

Ася взяла письма, повертела их и повернулась к Смаге, который укладывал карты в туго набитый планшет.

— Товарищ лейтенант... — несмело сказала Ася.

— Чего тебе? — рассеянно отозвался Смага.

— У меня к вам большая просьба...

— Что такое?

Девушка густо покраснела.

— Я хочу остаться здесь.

Смага оставил планшет.

— Как ты сказала? — удивленно спросил он. — Остаться? Зачем?

— Потому что я здесь нужнее... Порфирию Ивановичу трудно будет одному...

Не дожидаясь ответа, Ася протянула Славе его письма и стала развязывать свой затянутый ремнями вещевой мешок.

Генерал Селиванов

Штаб донских казаков находился в полуразрушенной ферме овцеводческого совхоза № 8. Нам сказали, что генерал сейчас на командном пункте, который находится в овечьих кошарах, километрах в двадцати от совхоза.

Мы решили отдохнуть и пообедать на ферме. Собственно, полуразрушенные стены стандартных деревянных домиков и квадратные пепелища сожженных сараев очень условно можно было назвать фермой: гитлеровцы так изуродовали все вокруг, что не уцелела ни одна постройка; на дорожках, между пепелищами, валялись застреленные собаки, отрубленные бараньи головы, серые клочья овечьей шерсти, окровавленные, присыпанные ином телячьим шкурам, какое-то загаженное, затоптанное, примерзшее к земле тряпье. Единственный колодец был доверху забит трупами ягнят и собак. Песчаные буруны вокруг совхоза были исполосованы гусеницами танков и разворочены тяжелыми грузовыми машинами.

Сейчас здесь царил оживление. Прижавшись к уцелевшим стенам, пытели заведенные броневики. Связисты, переругиваясь, тащили тяжелые катушки с проводами. На соломе, среди двора, обеды казаки. Они сидели, не снимая винтовок и держа в поводу оседланных коней. За крайним домиком, на дороге, стояли два самолета, вокруг них хлопотали летчики.

Тут уже ощущалось жаркое дыхание боя. Над степью проносились вражеские штурмовики. На конях и машинах подъезжали и уезжали связные. Проезжали машины, наполненные ранеными.

Усатый казак указал нам дом, где помещался штаб. Там нас встретил крепкий, коренастый полковник Панин — начальник штаба. Он сидел над картой, постукивая карандашом по столу и ероша коротко остриженные волосы. Одетый в какой-то коричневый костюм, он показался нам сугубо штатским человеком, пришедшим сюда из райисполкома или райкома партии. Но это было ошибочное заключение. Вскоре мы смогли убедиться в том, что полковник Панин настоящий штабист, интересный, умный и образованный офицер.

Познакомившись с нами, он расспросил о дороге, коротко поговорил с пленным, приказал вывести его и стал рассказывать нам о сложившемся положении.

— Тут сейчас очень тяжело, — сказал он. — Мы уже залезли довольно далеко, обошли ищерскую группировку противника и можем сейчас решить исход всей операции по овладению

Моздок и Малгобеком, потому что нависли над левым флангом гитлеровцев и угрожаем их тылам. Фашисты, конечно, сразу учли эту опасность и бросили против нас более ста танков. Нам пришлось спешиться и перейти к обороне.

— А как кубанцы? — спросил я.

— Кубанцы справа, — ответил Панин, — они вышли на линию Каясулу-Нортон и тоже остановились. У нас тут создалось оригинальное положение: либо мы протараним вражескую оборону и выйдем в тыл моздокской группы Клейста, либо гитлеровцы рубанут нас танками по хвосту и отрежут пути отхода.

За обедом мы стали расспрашивать Панина о генерале Селиванове. Полковник на секунду задумался и серьезно сказал:

— То, что в такой сложной обстановке соединением командует Селиванов, — большой плюс. Это на редкость умный, тонкий и оригинальный человек, генерал высокой культуры.



Нам хотелось поскорее повидать Селиванова, но полковник сказал, что одним ехать опасно, так как между фермой и кошарами, где находится генерал, часто появляются вражеские танки.

— Что же делать? — нетерпеливо спросил я.

— Придется дожидаться ночи, — ответил Панин, — а ночью я пошлю к кошарам два броневика, поедете с этими броневиками.

В это время под окном лихо развернулся черный каплеобразный «штейер» и, забрызгав часового снегом и грязью, замер у порога.

— Машина Селиванова, — сказал Панин.

В комнату вошел парень в бушлате, в морской ушанке с крабом и в тяжелых сапогах.

— Что ты, Зоя? — тревожно спросил Панин и, обернувшись,

сказал нам: — Это шофер генерала. Хотя имя у него и женское, но сам он ухарь...

— Ничего, товарищ полковник, все в порядке, — ответил моряк, — за чаем приехал, вышел у нас весь чай, кипяток заварить нечем.

— Как генерал?

— Хорошо, только сердится, что чаю нет, приказал сейчас же доставить чай.

— А дорога как?

— Где-то справа шляются пять фрицевских танков. Туда сейчас пошел бронетранспортер с бронебойщиками.

— Ладно, иди возьми чаю и захватишь с собой двух товарищей, — сказал Панин, — только смотри в оба...

Через пять минут «штейер» уже мчал нас с Васильевым в буруны. Хмурое небо висело над заснеженными песками, впереди и слева, точно грозовые зарницы, сверкали отсветы орудийных залпов.

Моряк с девичьим именем Зоя лихо вел машину и рассказывал нам о своем генерале.

— Смелее нашего генерала вы не найдете, — убежденно говорил Зоя. — Уж если я после госпиталя променял морскую бригаду на этого генерала и, можно сказать, подвел своих братков, то это что-нибудь да значит, я понимаю толк в войне... Вы знаете, — обернулся он, — как наш генерал под Гизелем шел на немецкие танки со стеклом?

— С каким стеклом? — удивился Васильев.

— С обыкновенным кавалерийским стеклом, — повторил Зоя.

— Как же это?

— Дело было так. Ехали мы в одну нашу часть. На одном участке прорвались вражеские танки, штук тридцать. Ну, у ребят наших, которые обороняли дорогу, при виде танков начался легкий мандраж, и они тихо-тихо драпанули. Мы едем с генералом и видим — бегут навстречу гаврики, одна кучка, другая, третья. Генерал говорит мне: «Остановись-ка, Зоя, придется вмешаться в эту отступательную операцию». Затормозил я машину, а генерал вышел и пошел вперед по дороге. Идет себе, стеклом помахивает, кубаночка набекрень, шинель расстегнута, — никак я не могу приучить его застегивать шинель, поэтому он и кашляет всегда... Ну, значит, идет это он по дороге прямо туда, где режут танки, а навстречу ему переменным аллюром двигаются драпачи. Он остановил одну кучку и спрашивает довольно ласково: «Куда это вы, орлы?» Они трясутся — зуб на зуб не попадает — и говорят: «Там фашистские танки прорвались, сюда идут!» А генерал кивнул головой, засмеялся — только глаза у

него, как молнии, сверкают — и говорит этим хлопцам спокойно и даже, представьте себе, негромко: «Ах, танки... Ну что ж, пойдёмте, встретим их как полагается», — и сейчас же, не оглядываясь, пошел по дороге. А ребята переглянулись, глазами захлопали и потихоньку пошли за ним, даже бронебойки свои по кювету подбирать стали. Ну, через четверть часа эти самые бегунцы запалили шесть штук вражеских танков и отбили атаку. Собрал их генерал, поблагодарил за работу, потом махнул стеком и сказал: «А ежели вы еще раз побежите, я с вами иначе поговорю!»

Шофер горделиво повел плечом и закончил:

— За Гизельское сражение нашему генералу дали второй орден Красного Знамени...

Пока мы слушали рассказ шофера, наступили сумерки. Извилистые очертания бурунов покрылись вечерним туманом. Отсветы пушечных залпов стали ярче. Впереди, точно какой-то неведомый город, обрисовалась темная соломенная изгородь гигантской кошары. Ветер трепал на ней клочья соломы, яростно крутил их в воздухе и уносил в степь.

Сюда, в эту степную кошару, когда-то загоняли десятки тысяч овец. Овечьи отары укрывались тут от снежных буранов, весенних гроз и ливней. Сейчас огромная кошара казалась пустой. Под ее изгородью притулились два мотоцикла. У разметанных ворот, ежась от пронизывающего ветра, ходил казак-часовой в белом полушубке.

— Приехали, — удовлетворенно сказал шофер, — сейчас я провожу вас к генералу.

Мы отправились в угол кошары, где светлела глинобитная пастушеская хибарка. Одна стена ее развалилась и была заложена кизяком. Из разбитого окна высывалась дымящаяся труба железной временки. Сквозь щели тонкой двери светилось пламя печки. Рядом с хибаркой, под соломенной крышей кошары, на зарядных ящиках сидели офицеры и сбоку расхаживал второй часовой. Один из офицеров, жестикулируя, негромко допрашивал толстого немца-танкиста.

Шофер вошел в хибарку, через минуту вышел и сказал мне и Васильеву:

— Генерал просит зайти.

Мы вошли. Генерал сидел на походном складном табурете, откинув на пол черную лохматую бурку и вытянув к печке худые руки. Он был узкоплеч, невысок и тонок. Красноватое пламя освещало его чисто выбритое, морщинистое смуглое лицо, клоч седеющих волос над выпуклым лбом, серые с желтизной холодные и умные глаза. Китель его был полурасстегнут и

обнажал край шелковой рубахи и узкую грудь.

На другом табурете, рядом с печкой, лежали обрывок измятой карты, стек с костяной ручкой и массивный серебряный портсигар. На подоконнике стояли походный телефон и недопитый стакан чаю.

Мы назвали себя. Генерал встал, протянул руку и коротко бросил:

— Селиванов.

Голос у него был глуховатый и хриплый, как у заядлых курильщиков или простуженных. Не садясь на табурет, очевидно, потому, что нам не на что было сесть, он щелкнул портсигаром, предложил нам папиросы, закурил сам и, прислонившись плечом к оконному косяку, стал расспрашивать нас о своем левом соседе и о подвозе фуража на станцию Микенскую. Вопросы он задавал быстро, ответы не слушал до конца, словно заранее знал, что ему скажут, и просто проверял себя. Во всей его небольшой сухощавой фигуре, в порывистых движениях, в насмешливо-иронических репликах, в прищуривании глаз обнаруживались острый ум, большая внутренняя сила, которая в любую секунду может проявить себя в чем-нибудь очень решительном и большом. Постепенно разговор перекинулся на действия конницы.

— Сейчас многие еще не понимают, — сердито сказал Селиванов, — что конница не таран, а разящий меч. Я не могу превращаться в поршень. Маневр предполагает движение, а у меня казаки все время дерутся в пешем строю.

Наш разговор был прерван приходом полкового комиссара Даровского — заместителя Селиванова по политической части. Это был пожилой кубанский казак, высокий блондин с орлиным носом. Не снимая бурки, под которой виднелась синяя черкеска, Даровский взволнованно сказал Селиванову:

— Алексей Гордеевич, кубанцы отошли от Нортонна километров на тридцать. Весь наш правый фланг открыт. Гитлеровцы зажгли Нортон.

— Когда они отошли? — нахмурившись, спросил Селиванов.

— Два часа назад. Немцы бросили против них много танков.

— Откуда эти сведения?

— Только что я встретил нашу разведку.

Даровский устало сел на табурет, вытер рукавом черкески потный лоб и вопросительно посмотрел на генерала. Но Селиванов молчал, раскуривая папиросу.

— Ну что, будем отходить? — спросил Даровский.

— Куда отходить?

Даровский удивленно повел плечом.

— Как куда? У нас час времени, товарищ генерал. Если мы не

отодвинем наши части назад, нас хлопнут так, что и очухаться не успеем.

Но Селиванов уже не слушал. Покрутив ручку телефона, он стал кричать в трубку:

— Панин? Правый сосед два часа назад... Что? Слышали? Знаете? Немедленно доложите об этом командующему... сейчас же... Что? Приказ об отходе? Никакого приказа не будет... И отхода не будет... Я сейчас еду к Горшкову. Поверну Горшкова фронтом направо. Как только получите ответ командующего, немедленно сообщите мне...

Подрагивая ногой, Селиванов слушал, что говорил Панин, и, перебив его, сердито закричал:

— Советуете отходить? Еще раз повторяю: сообщите командующему группой о моем решении оставаться на месте, несмотря на отход правого соседа. Понятно? От моего имени прикажите, чтобы полковник Лев к двадцати трем часам подбросил Горшкову снарядов.

Швырнув трубку и на ходу застегивая китель, Селиванов кинул Даровскому:

— Езжайте к Стрепухову и побудьте там до утра. Свяжитесь с Белошниченко. От Стрепухова возьмите взвод противотанковых ружей и направьте на бронетранспортерах к Горшкову. Я буду у Горшкова, обо всем сообщайте туда. Имейте в виду: центр боя завяжется на правом фланге. — Накинув шинель, надев набекрень черную кубанку с генеральской кокардой, Селиванов натянул светлые перчатки и взял хлыст. — Зоя! Машину! — крикнул он в дверь.

Вместе с шофером в хибарку вбежал чернобровый майор.

— Товарищ гвардии генерал-майор, разрешите доложить?

— Ну, что у вас?

— Два часа тому назад...

— Знаю, — перебил Селиванов. — Вечно опаздываете. Свернитесь и отправляйтесь на ферму. Здесь оставить только связистов.

— Когда прикажете уезжать?

— Приготовьтесь. Я сообщу от Горшкова.

— Есть! — майор козырнул, щелкнул шпорами и вышел из землянки.

— Поедете со мной? — спросил нас Селиванов.

Мы с Васильевым разделились. Он решил ехать с Даровским на левый фланг, а я поехал с Селивановым к Горшкову.

Ехали мы быстро. Зоя уверенно вел свой «штейер» среди бурунов. Покрытые снегом буруны розовели от дальнего зарева пожаров: это горело зажженное фашистами селение Нортон.

Селиванов всю дорогу молчал и беспрерывно курил, — в автомобильном стекле отсвечивался тусклый огонек его папиросы.

— Товарищ генерал, впереди люди, — тревожно сказал Зоя.

— Далеко?

— Метров сто будет.

— Много? Я ничего не вижу!

— Много.

— Идут навстречу?

— Нет, пересекают дорогу и движутся к Нортону.

— Подъезжай туда.

Через две минуты Зоя на полном ходу затормозил машину. Мы вышли. Мимо нас позскадронно двигался кавалерийский полк в направлении к пожару. Бок о бок с эскадроном шли артиллерийские упряжки. Туго натягивая построжки, кони тащили по хрустящему песку тяжелые пушки. Еще дальше двигались тачанки с пулеметами.

В стороне от дороги, освещенная пожаром, стояла небольшая группа всадников. Впереди этих всадников на высоком рыжем дончаке гарцевал человек в лохматой бурке.

— Генерал Горшков, — сказал Зоя.

— Сергей Ильич! — крикнул Селиванов.

Человек в бурке подскочил к машине и осадил жеребца так, что он присел и замотал головой.

— Товарищ гвардии генерал-майор, — сказал Горшков, приложив руку к шапке, — большую часть сил и артиллерию развертываю вправо, потому что...

— Знаю, Сергей Ильич, — мягко перебил Селиванов, — а вы не думаете отступить?

— Отступить? — удивленно спросил генерал Горшков. — Разве вы отдали приказ об отступлении?

— Нет, я не отдавал такого приказа. Я спрашиваю, как вы думаете...

— Если мне подбросят снарядов...

— Снаряды и взвод противотанковых ружей придут к двадцати трем часам. Кроме того, я сейчас прикажу Белошниченко передать вам десять противотанковых пушек. Надо держаться, Сергей Ильич!

— Удержимся, Алексей Гордеевич, — заверил Горшков.

Я с удовольствием слушал лаконичный разговор двух генералов. Они понимали друг друга с полуслова, оба были полны решимости и оба любили и уважали друг друга. Это видно было по тому, с каким почтением обращался Горшков к Селиванову и как ласково гладил Селиванов, вытягиваясь на

носках, атласную шею горшковского жеребца и постукивал ручкой хлыста по сапогу Горшкова.

Пока генералы разговаривали, одна из противотанковых пушек остановилась у придорожного буруна. Пожилой казак развернул коней, выпряг их и стал со своими помощниками устанавливать пушку. Я наблюдал, с какой ловкостью, с какой хозяйской уверенностью и неторопливостью работает этот немолодой казак.

— Откуда ты, станичник?

Казак посмотрел на меня, сдвинул на затылок папаху:

— Родом я из станицы Вешенской.

— Свою пушку ты здесь ставишь?

— Так точно. Приказ командира батареи. Позиция тут удобная.

Узнав, что Селиванов решил возвратиться в кошару, я обратился к нему:

— Разрешите мне остаться здесь, поговорить с казаками. Завтра я вернусь.

— Пожалуйста, — сказал Селиванов, — а я — обратно. В центре удобнее. Сергей Ильич сделал тут все необходимое...

Через несколько минут генералы разъехались в разные стороны. Я расстелил бурку и сел рядом с пожилым казаком. Пока его напарники возились с пушкой, мы закурили.

Мимо нас бесконечной вереницей двигались всадники в башлыках, артиллерийские упряжки, тачанки. Вокруг высились покрытые снегом буруны, и все это — и лица всадников, и конские крупы, и снежные буруны — освещалось заревом пожара...

Яков Маркович Земляков — так звали пожилого казака — насобирав бурьяна, расстелил его у лафета и уселся, поджав под себя ноги. Рядом с ним сели его товарищи — хмурый казак Медведь и молодой парень, закутанный в синий башлык. Казаки выкурили сигарки и прислушались. Пушечная канонада утихла. Пожар стал угасать. На дороге прогрехотали последние телеги с патронами.

— Кажись, все прошли, — басом сказал Медведь.

— Сейчас фрицы спать ложатся, — задумчиво проговорил парень, — они ночью не любят воевать, так что до утра можно отдохнуть.

— Так ты, дядя Яков, из Вешек? — спросил я.

— Так точно, из Вешек.

— А Шолохова знаешь?

— Ишо как! — воскликнул Земляков. — Мы с ним, можно

сказать, друзьями жили. Михаил Александрыч как начнут собираться на рыбалку, так завсегда до меня идут — насчет крючков совета спросить, или насчет наживы, или лесок всяких... Я и жинку ихнюю знаю, и деток, и с тестем знакомый.

Яков Маркович неторопливо расправил бурьян под ногами и сказал:

— Михаил Александрович что ни писали, то все про вешенцев, только в книжках фамилии другие проставлены — дед Щукарь там, или Разметнов, или Мелеховы.

Стало холоднее. Подул ветер, и пошел мелкий снежок. Завернувшись в бурку, я дремал, думая о Селиванове, о Горшкове, о казаках. Мне нравились эти сильные, решительные люди. То ли сказывались давние боевые традиции, то ли здесь были подобраны действительно отважные и смелые бойцы, — с ними как-то удивительно легко и спокойно.

Обычно в ожидании боя я нервничал, томился: скорее бы уж началось... Но здесь, у казаков, я невольно подчинялся их спокойной уверенности, твердому сознанию своей силы и какой-то непоколебимой убежденности в том, что все будет именно так, как нужно.

На рассвете гитлеровцы обнаружили отход Кириченко и разделились на две группы: одна устремилась вслед за кубанцами, а другая развернулась вправо и, не предполагая, что генерал Горшков уже успел повернуть спешенные батальоны к Нортону, смело ринулась в атаку, думая, что встретит восточнее Нортон его незащищенные фланги.

Ровно в шесть утра вражеский танковый батальон, подкрепленный полутора десятками бронемашин и десантом автоматчиков, устремился на юго-восток. Спешенные казаки лежали в бурунах, не отвечая на пулеметный обстрел и ничем себя не обнаруживая.

Горшков, как мне позже стало известно, приказал пропустить танки через боевые порядки, расстрелять с тыла десант автоматчиков и отсечь артиллерийским огнем шедшие за танками броневики.

Когда на востоке забрезжил неяркий зимний рассвет, в серо-свинцовом небе уже сверкали разрывы шрапнелей, на бурунах, вздымая водопады песка, рвались фугаски, впереди трещали пулеметы.

Яков Маркович стоял за щитком своей пушечки, курил сигарку и поглядывал на вершины ближних бурунов. Они белели ровной грядой метрах в четырехстах от того места, где мы стояли. На их западных скатах, обращенных в сторону противника лежали спешенные казаки. Мы не могли видеть

казаков, но знали, что они там, потому что оттуда несло частое пощелкивание винтовочных выстрелов и слышались короткие пулеметные очереди.

Фашисты обстреливали буруны из минометов. Взметывая песок и снег, мины рвались на вершинах бурунов и на восточных скатах, которые казались нам пустынными.

Правее, метрах в трехстах, на одной линии с пушкой Землякова, в лощинке, стояли коноводы с лошадьми — там все было спокойно: как видно, гитлеровцы не успели их обнаружить.

Но вот в грохоте пушек и треске мин мы услышали гудение моторов, скрежет и лязг гусениц. Эти зловещие звуки сливались в однообразный гул.

— Дядя Яков, танки! — закричал парень в синем башлыке.

Яков Маркович не шевельнулся, только побледнели его морщинистые, давно не бритые щеки и чуть-чуть задрожали пальцы, подносявшие сигарку к губам.

Танков еще не было видно. Но там, за грядой бурунов, где лежали казаки, дробно и часто, захлебываясь, застучали пулеметы, забухали гранаты, затрещали автоматные очереди.

Вдруг на гряде бурунов показалось темное облако — не то дым, не то пыль, и металлический скрежет гусениц сразу стал громким и резким.

— Выскочили на бугор! — крикнул парень в башлыке.

Темное облако качалось, ползло влево, а из облака, похожие на привидения, вырвались фашистские танки. Все они были окрашены в белый цвет и, точно сорвавшиеся с гор сугробы, катились вниз, устремляясь к лощине, где стояли коноводы.

— Подавай коней, холеры! — злобно закричал Медведь.

После этих слов Медведя все слилось в моем сознании в какую-то цепь пляшущих огней, раздирающих уши взрывов, гудения и толчков. Шевелилась впереди широкая спина дяди Якова, мелькали руки Медведя. Пушка ходила ходуном, изрыгая пламя, откатываясь и вновь двигаясь вперед. От нее, как от печки, полыхало жаром и пахло паленым. Колючий песок больно хлестал по щекам, и я закрыл лицо рукавом мокрой шинели, но вдруг в полоске между рукавом и краем пушечного щита я заметил вдали горящий танк. Его обходили два других танка, и в это мгновение Земляков выстрелил один раз, второй, третий. Оба танка завертелись рядом с тем, который горел.

Потом что-то сильно ударило по пушечному щиту. Яков Маркович выругался и схватился за грудь. Сделав два шага, он опустился на колени и сел в песок.

— Вставай к пушке, Медведь, — сквозь зубы сказал Яков Маркович.

Медведь встал к пушке. Снова загремели выстрелы. Но вражеская атака уже ослабела. Уцелевшие танки — мы насчитали их восемь — повернули направо и скрылись в бурунах. А на гряде бурунов, где лежали казаки, заканчивался огневой бой с вражеской пехотой. Казаки забросали фашистских автоматчиков гранатами, отсекали их от танков пулеметным огнем, стали обстреливать из винтовок и затем перешли в контратаку.

Через полчаса все стихло. В долине дымились подбитые танки, да где-то гудел невидимый немецкий самолет. Здоровенный санитар, появившийся у пушки, взял Якова Марковича на руки и понес туда, где стояли коноводы. Мне привели худого рыжего коня, я сел на него и поехал на командный пункт.

Кавалеристы Горшкова, отбив атаку вражеских танков, окопались фронтом на северо-запад, прикрывая обнаженный фланг. Фашисты не ожидали такого быстрого маневра и поэтому понесли большие потери: свыше пятисот солдат осталось лежать в бурунах; кроме того, казаки-артиллеристы сожгли и подбили девятнадцать вражеских танков.

Вообще артиллеристы и бронебойщики оказали в этом бою неоценимую услугу конникам: они расстроили своим огнем вражеские атаки и уничтожили много танков и броневиков еще на подходах к нашему переднему краю. Казаки с восторгом говорили об их подвигах. Четыре танка подбили Земляков и Медведь, три танка поджег на другом участке наводчик Васько, а когда гитлеровец-пулеметчик с броневика ранил его, Васько из своей пушки насквозь просадил броневик; гвардии сержант Клименко подбил две машины из противотанкового ружья; расчет гвардии сержанта Литвинова сжег две танкетки и мотоцикл.

В первом часу ночи в уцелевшую на совхозной ферме хибарку, в которой остановился Селиванов, съехались на совещание старшие командиры.

Окна хибарки были завешены солдатскими одеялами. Под окнами стояла накрытая буркой хозяйская двуспальная кровать. Стола не было — его сожгли гитлеровцы. В углу, в широком деревянном корыте, спал грудной ребенок. На подоконнике горела поставленная в железную кружку свеча. Селиванов сидел на кровати, разложив рядом с собой карту, и прислушивался к пушечной канонаде, от которой дребезжали стекла.

Первыми приехали генерал Стрепухов и комбриг Белошниченко. Стрепухов, высокий сутуловатый старик, сгибаясь от боли в пояснице — следствие давнишнего ранения позвоночника, вошел в хибарку, поздоровался и сел на табурет у

растопленной русской печи. Коренастый Белошниченко, размотав башлык, метнул взгляд в угол и сказал с сильным украинским акцентом:

— В корыте устроился самый наистарший!

Он присел у корыта, полюбовался спящим ребенком и спросил у Селиванова:

— А где же его мать?

— У соседей хлеб печет, — ответил Селиванов.

Потом в хибарку вошли полковой комиссар Даровский, Панин, Горшков и кругленький, румяный начальник артиллерии полковник Лев. Хибарка наполнилась морозным воздухом, табачным дымом и говором.

— Эй, запорожцы, закрывайте дверь, а то дите простудите! — крикнул Белошниченко. — Идете, будто возом едете!

— Кузьма Романович беспокоится о детях! — засмеялся Лев и плотно притворил дверь.

Селиванов подождал, пока все расселись — кто на лавке, кто на закрытых досками бочках, — закурил и сказал, понижая голос:

— Командующий разрешил нам временно отойти. Я побеспокоил вас, чтобы узнать ваше мнение.

Помедлив, Селиванов затянулся несколько раз гаснущей папиросой и закончил:

— Решая вопрос, расчлените его на две части. Сейчас меня больше всего интересует следующее: какова может быть сила вражеского удара и насколько мы подготовлены к тому, чтобы в сложившейся серьезной обстановке отразить удар. В зависимости от ответа на эти предварительные вопросы мы можем определить и направление наших действий...

Круто оборвав фразу, Селиванов повернулся к стоявшему у окна полковнику Панину.

— Товарищ полковник, доложите общую обстановку.

Панин заговорил мягко, глуховатым голосом, изредка заглядывая в разложенную на подоконнике карту:

— Прорвав первую линию вражеской обороны, мы за девять суток боев глубоко врезались в расположение войск противника и нависли над флангами его крупной моздокской группировки. До последнего дня главной нашей опасностью был левый фланг, поставленный под танковые удары противника на линии Ищерская, Галюгаевский, Стодереvская, Моздок...

Уронив седую голову на тяжелые, жилистые руки, старик Стrepухов, морщась от боли в пояснице, внимательно слушал Панина. Его казаки как раз и обороняли левый фланг, вгрызаясь в фашистские рубежи на линии хуторов Шефатов — Авалов и отражая беспрерывные танковые атаки немцев со стороны

примоздокских станиц Галюгаевской и Стодеревской.

— Однако последние бои несколько изменили обстановку, — осторожно подбирая слова, продолжал Панин. — Если до сих пор наш правый фланг был надежно прикрыт продвигавшимися правее нас кубанцами, то сейчас, после их отхода из-под селения Нортон, наш правый фланг ничем не защищен и открыт для ударов противника...

Панин взглянул на Селиванова. Тот сидел, прислонившись к деревянной спинке кровати, закрыв глаза.

— Таким образом, — продолжал Панин, — мы, подобно игле, глубоко вонзились в расположение войск противника, имея за собой лишь степной «коридор» и слабо защищенные, растянутые по степи тылы с отставшими обозами, не обеспеченными надлежащей охраной. Боеприпасы у нас на исходе, фуража тоже почти нет, печеного хлеба осталось на две дневные выдачи...

— Переходите к оценке сил противника, — перебил Селиванов.

— Слушаюсь, — коротко ответил Панин.

Он стал поспешно перелистывать лежащую на подоконнике папку с бумагами. Яркое пламя горящих в печи кизяков освещало обветренные лица генералов. Ребенок в корыте сладко потянулся, вздохнул и зачмокал губами.

— Хорошее что-то снится малышу, — засмеялся Белошниченко.

Панин разгладил ладонью примятый зеленый листок.

— Против нас действуют следующие части противника, — сказал он. — Африканский корпус генерала Фельми, сводный кавалерийский полк полковника фон Юнгшульце, сводный конный отряд, пятьсот шестой мотоциклетный батальон и батальон полевой жандармерии. Этим частям приданы танковые батальоны из третьей танковой дивизии и три дивизиона артиллерии из резерва главного командования. Всей степной группой войск противника командует генерал Фельми. Главные пункты сосредоточения вражеских сил и опорные узлы — Ага-Батырь, Нортон, Сунженский-Иргакли, Ачикулак. В этих селениях противник, по данным нашей авиаразведки, ведет до последнего времени все крупные оборонительные работы.

— Зачем? — хитро прищурился Селиванов.

Присутствующие засмеялись. Панин тоже улыбнулся. Он понял ход мыслей Селиванова и приготовился отпаривать удар.

— Как «зачем»? Затем, что маневр казачьей конницы вызывает необходимость соответствующего отпора. Однако...

— Что «однако»?

— Однако отход нашего правого соседа изменил положение.

Теперь противник имеет возможность ударить нас по флангам и даже замкнуть клещи охватом наших растянувшихся по степи тылов. Для этого контрманевра он может пустить мотоциклистов и конницу.

— Ну какие там к бесу мотоциклы пойдут по этим пескам, — усмехнулся Белошниченко. — Они застрянут среди бурунов так, что их канатом не вытащишь.

— Мотоциклисты могут пойти по дорогам в обход.

— Так это они могут пойти, ежели Сергей Ильич их пропустит, — сказал Стрепухов, — и, кроме того, они неизбежно натолкнутся на кубанцев.

— Хорошо, согласен, но не это является главной опасностью, — невозмутимо продолжал Панин. — Главная опасность в том, что у нас кончаются снаряды и нечем кормить людей и лошадей.

Стрепухов, ежась от боли, обратился к Селиванову:

— Если добудем боеприпасы и провиант, можно продержаться до подхода кубанцев...

Долго еще говорили командиры, оценивая возможность тех или иных действий противника, подсчитывая свои силы и предлагая всякие варианты для отражения вражеских ударов.

Все предположения сводились к тому, чтобы перестроить расположение боевых порядков и приготовиться к прочной обороне.

Табачный дым густел, окутывая синевой тускло горящую свечу. Румяная молодница, хозяйка, в шерстяном платке отворила дверь, заглянула в комнату, и Белошниченко вынес ей проснувшегося ребенка, неумело держа его на вытянутых руках, подальше от кителя. Адьютанты, сидевшие в той комнате, где была хозяйка, приснули со смеху и плотно закрыли дверь.

Селиванов встал и прошелся по комнате, позванивая шпорами. Небольшого роста, тщедушный, он был на голову ниже всех своих командиров, и его рука с узкой кистью казалась почти детской. Грызя изжеванный мундштук папиросы, он остановился у печки и сказал хрипловато:

— Вопрос ясен. Раз они готовятся нанести нам удар на правом фланге и ожидают, что мы отойдем или, в крайнем случае, перейдем к обороне, значит...

Он несколько раз затащился догорающей папиросой, швырнул ее в печку, полюбовался вспыхнувшим на секунду огоньком и закончил, сунув руки в карманы:

— Значит, мы, ломая их планы, должны немедленно напасть на них в центре и овладеть Ага-Батырем, то есть двигаться не назад, как они ожидают, а вперед.

Кто-то попытался было сказать, что это весьма неосторожный маневр и что лучше, пользуясь разрешением начальства, отойти километров на сорок назад, чтобы собраться с силами, но Селиванов, нахмурившись, сухо оборвал говорившего:

— Это мой приказ, не подлежащий обсуждению. Прошу полковника Панина через два часа доложить мне оперативный план по овладению селением Ага-Батырь, а командиров прошу подготовиться к выполнению задачи...

Он еще раз прошелся по комнате, нервно потер руки и заговорил, смягчая голос:

— Поймите, как трудно сейчас отдать приказ об отступлении. Слишком долго ждали казаки: когда же мы наконец начнем наступать! Слишком долго ждал этого наш народ. И я глубоко убежден, что донцы не будут отступать...

Селиванов замолчал, медленно достал из портсигара папиросу, закурил и, сев на кровать, сказал устало:

— Вы свободны, товарищи. Прошу возвращаться к себе и сейчас же приступать к подготовке...

Когда все разошлись, Селиванов прилег на подушку и мгновенно уснул, не выпуская из рук дымящуюся папиросу, свесив худые ноги с острыми коленями, туго обтянутыми плотным сукном бриджей. В этой позе было столько детского и беспомощного, что румяный адъютант, наклонившись над кроватью, вынул из рук генерала папиросу, осторожно стащил сапоги, расстегнул ему китель, погасил свечу и, ступая на носках, вышел из комнаты.

Однако Селиванову так и не пришлось поспать этой ночью. Едва только его адъютант сел за стол в кухне и придвинул к лампе толстую книгу «Повивальное искусство», с которой почему-то не расставался на протяжении всего марша, как входная дверь с грохотом распахнулась и в кухню вошел высокий генерал в наброшенной на одно плечо бурке, небрежно волочившейся по полу.

Было в этом человеке нечто такое, что сразу заставило меня подняться со скамейки, на которую я прилег.

Худощавый, высокий, с рыжеватым чубом, выбившимся из-под серой папахи, генерал был сутуловат и как-то согнут в стане, отчего его длинные веснушчатые руки с большими широкими ладонями казались еще длиннее. На кителе генерала сверкали ордена, впереди болтался огромный маузер в потертой деревянной колодке.

Генерал вошел с грохотом, кинул на пол бурку, сбил на затылок папаху и закричал адъютанту:

— Где хозяин?

— Хозяин спит, товарищ генерал.

— Где?

— Тут, в комнате.

Не успел адъютант пошевелиться, как генерал вбежал в комнату, блеснул карманным фонариком и тронул Селиванова за плечо:

— Алексей Гордеевич!

Селиванов тотчас же проснулся, секунду смотрел на вошедшего и, улыбнувшись, протянул ему руку:

— Здравствуйте, Яков Сергеевич!

Услышав имя и отчество вошедшего генерала, я сразу понял, что это Шарабурко.

По всей коннице ходили о нем легенды. Участник гражданской войны, бывший шахтер, сохранивший на всю жизнь буйные шахтерские замашки, Шарабурко отличался совершенно безудержной смелостью, отвагой и каким-то вызывающим презрением к любой опасности. Его горячий, необузданный нрав, прямой и грубый характер, диковатые выходки и соленое шахтерское острословие служили темой для множества анекдотических рассказов. Шарабурко был страстным, доходящим до какого-то своеобразного ухарства конником. Он фанатически ревниво оберегал традиции конницы, презирал другие рода войск и уверял, что все великие люди были кавалеристами.

Уже будучи генералом и командиром дивизии, Шарабурко лично водил в атаку полки. Он буквально боготворил искусный, неотразимый, как молния, сабельный удар и сам был виртуозом-сабельником, у которого клинок, по выражению рубак-казаков, играл, как игрушка.

Этот человек, пренебрегавший опасностью, любил с ней шутки шутить. Так, руководя где-то на Кубани боем, он избрал себе открытый, простреливаемый со всех сторон холм и лег на его вершине, расстелив в грязи свою великолепную бурку. Место боя посетил один армейский генерал. Он сказал сердито:

— Товарищ Шарабурко! Прекратите это мальчишество. Через два часа я вернусь к вам, и, если у вас не будет отрыта щель, вы будете строго наказаны!

Генерал действительно вернулся через два часа и увидел такую картину: на вершине холма чернела неглубокая щель. Шарабурко сидел сверху, на бруствере, веселый, улыбающийся и возбужденный боем. Вокруг него посвистывали пули. Увидев генерала, он потускнел и демонстративно свесил ноги в щель.

— Все в порядке, товарищ генерал! — доложил Шарабурко. — Щель отрыли!

Вспоминая все эти рассказы о Шарабурко, я с интересом вслушивался в его разговор с Селивановым, который тем временем надел сапоги, приказал адъютанту подать ужин и, сунув руки в карманы, с усмешкой наблюдал за бегущим по комнате гостем.

— Я к вам не случайно заехал, Алексей Гордеевич, — возбужденно говорил Шарабурко. — У меня есть важное дело...

— Подождите, Яков Сергеевич, — покуривая, отвечал Селиванов, — сейчас подадут ужин, и я с удовольствием послушаю вас.

Адъютант расстелил на кровати газету, принес тарелку с вяленой бараниной, графин водки, нарезал хлеб, расставил стаканчики. Когда генералы сели ужинать, Шарабурко выпил водки и, не закусывая, повернулся к Селиванову.

— Вы кем командуете, скажите, пожалуйста? — спросил он внезапно.

— То есть как это?

Селиванов, конечно, знал, что последует за этими словами, но сделал вид, что вопрос гостя его удивил.

— Я спрашиваю: вы командуете кавалеристами или пехотинцами?

— Надеюсь, кавалеристами, — усмехнулся Селиванов.

— А кони ваши где?

— Есть и кони, куда ж им деться...

— Нет, я спрашиваю, Алексей Гордеевич, как у вас распределены кони?

— Распределены так, как я нашел нужным и удобным.

Шарабурко вспыхнул и чертыхнулся.

— Вы отдали лучших и самых здоровых коней артиллерии и пулеметчикам, а сабельные эскадроны у вас сидят на клячах. Я ездил по полкам и смотрел ваших горе-кавалеристов. Оболтусы, а не сабельники. Кони под ними на мышастых собак похожи — ни роста, ни стати. Казаки сидят на них так, что противно смотреть — ноги по земле волочатся. А в артиллерийских запряжках и в тачанках гарцуют чистокровные дончаки. Что же это такое? Хотел бы я посмотреть, как ваши сабельные эскадроны пойдут в атаку в конном строю!

Прищурившись, Селиванов посмотрел на своего собеседника и сказал вызывающе:

— Они сейчас не пойдут в атаку в конном строю. Может быть, это понадобится кинооператорам для съемки, так я их тогда временно пересажу на хороших коней. А сейчас, пока мы находимся в обороне и деремся в пешем строю, артиллеристам и пулеметчикам нужнее хорошие кони, так как мне каждую секунду

может потребоваться молниеносная переброска пушек и пулеметов на какой-либо опасный участок.

Шарабурко покраснел от гнева.

— Ерунда! — закричал он. — Против ураганного кавалерийского удара не устоит никакой противник. Вот ваш Стрепухов десять суток топчется под Ага-Батырем. Дайте мне полк сабельников на добрых конях, и я этот Ага-Батырь разгрохою так, что клочья с него полетят!

— У нас с вами разные взгляды на роль и значение конницы в современной войне, — сухо возразил Селиванов. — Вы забываете, Яков Сергеевич, о том, что времена романтических эпизодов ушли в прошлое безвозвратно.

— Знакомая песня! — воскликнул Шарабурко. — Сейчас вы мне скажете о том, что конница отжила свой век и что конь уступил место мотору. А рейды Доватора? А блестящие операции Белова? Ваша теория отмирания конницы — неправильная и вредная!

Селиванов тоже поднялся и сказал, покусывая губы:

— У меня нет такой глупой теории, и я ее не признаю. Но в современной войне операции конницы должны быть технически оснащены. Коннице нужны танки, артиллерия, авиация. Тогда она блестяще выполнит свои функции; молниеносный маневр и внезапный удар. Если же этого пока еще нет, надо по одежке протягивать ножки. Вместо маневра живой силой я сейчас маневрирую огнем. Вот почему я и отдал лучших коней артиллеристам...

Но Шарабурко плохо слушал то, что негромко и сдержанно говорил Селиванов. Он возбужденно бегал по комнате, размахивал руками и прерывал собеседника ядовито-ироническими репликами. Пламя свечи колебалось от его беготни, и по низкому потолку плясали темные тени.

— Ересь! Ересь! — кричал Шарабурко. — Чиновничья болтовня бездушных математиков, которые не знают казачьего сердца. Казак неотделим от коня, он без коня — нуль. Он сам будет подыхать с голоду, но коню отдаст последний сухарь. Мотор не обнимешь, не приласкаешь, у него нет живого сердца, он мертвец. А сердце коня бьется у тебя под коленями, живое и горячее сердце друга...

Он рывком повернулся к Селиванову и прокричал надтреснутым голосом:

— Вы понимаете, что коня нельзя менять, как портянку, или подсумок? К коню привыкаешь, как к родному брату, узнаешь все его привычки, и он, в свою очередь, знает тебя. Коня своего холишь, лелеешь и на смерть с ним идешь, как с другом. Именно

конь придает кавалеристу блеск, уверенность, силу и гордость. Зачем же вы лишили всего этого ваших казаков? Зачем вы отдали лучших казачьих коней пушкарям и распределили коней так бездушно, как интендант распределяет крупу или подштанники?

Селиванов ни одним жестом не обнаруживал своего волнения. Он стоял, засунув руки в карманы и широко расставив тонкие ноги в мягких сверкающих сапогах. С грустной усмешкой слушал он обидные слова Шарабурко, и в его холодноватых, серых с желтизной глазах даже поблескивал огонек какого-то внутреннего, невысказанного одобрения. Но он тотчас же гасил этот огонек и стоял, почти равнодушно глядя на своего собеседника. Только подрагивание ноги чуть-чуть выдавало его раздражение.

— Одну минутку, Яков Сергеевич! — перебил он, кашляя и прикладывая платок к губам. — Одну минуту. Я понимаю ваш поэтический экстаз и, если хотите, ценю его как сердечное человеческое чувство. Но я не верну коней сабельникам, потому что результат боевых действий для меня выше романтики традиций. И пока мы одиноко стоим в песках и отражаем огнем атаки противника, пока казаки дерутся в пешем строю, а пулеметчики и артиллеристы мотаются по песчаным бурунам с одного участка на другой, выполняя мой оперативный замысел, пока у меня очень незначительная поддержка танков и неравноценный конский состав, будет так, как я приказал.

— Ученый вы человек, Алексей Гордеевич! — безнадежно махнул рукой Шарабурко. — А ученых людей никогда не переспоришь, у них все на счетах прикинуто и сверено, как таблица умножения. Давайте лучше выпьем...

Они выпили водки, пожелали один другому удачи и расстались, так и не убедив друг друга.

Когда Селиванов остался один, он долго ходил из угла в угол, курил папиросу за папиросой, потом вздохнул, посмотрел на часы и сказал адъютанту:

— Вызовите полковника Панина и скажите, чтоб он взял с собой план...

Окруженное хуторами и совхозными фермами селение Ага-Батырь входило в систему главной линии обороны гитлеровцев между Моздоком и Ачикулаком. Прекрасно понимая опасность дальнейшего продвижения советской казачьей конницы на запад, Клейст приказал командиру африканского корпуса генералу Фельми держаться на этой линии и не допустить за ее границы ни одного казака. Командующий дал понять Фельми, что прорыв советской конницы на его участке немедленно повлечет за собой

необходимость оставления Моздока и общий отход всего левого крыла германской армии. Клейст приказал командующему 1-й танковой армией генералу Макензену выделить в распоряжение Фельми несколько батальонов тяжелых и средних танков для усиления оборонительной линии Ага-Батырь — Сунженский-Иргакли.

Селиванов знал о приказе Клейста и учитывал, что отход правого соседа окрылит фашистов и они обязательно полезут на правый фланг, чтобы ударить сбоку. И так же, как натренированный боксер делает почти произвольный жест защиты уязвимого места и одновременно наносит удар прямо в грудь не ожидающему в этот момент нападения противнику, Селиванов решил принять неизбежный удар Фельми быстрой перегруппировкой на правом фланге и в то же время ударить в грудь, то есть штурмовать Ага-Батырь и, если позволят обстоятельства, тотчас же ввести в прорыв все полки.

Это был чрезвычайно опасный и дерзкий замысел. Успех его был обеспечен, если бы гитлеровцы действительно сконцентрировали весь свой танковый кулак для удара по Горшкову и оголили таким образом оборону Ага-Батыря.

Но Селиванов хотел действовать наверняка. Талантливый тактик, человек с горячим сердцем и холодной головой, очень расчетливый, он любил оперативную точность. Поэтому он решил послать в район Ага-Батыря разведывательный отряд.

Разведчиков к этой операции готовил старший лейтенант Олег Жук, уссурийский казак. Бывший рыбак, слесарь, потом зоолог, монтер, матрос, Олег Жук переменял много профессий, но его давно тянуло в армию, и он попал наконец в полк пограничников, с которыми и начал службу. Перейдя затем в разведчики, Жук хорошо изучил все тонкости разведки и горячо полюбил это дело.

Старший лейтенант сам отобрал небольшую группу казаков-разведчиков и приказал им вечером собраться в овечьей кошаре, чтобы выслушать задачу. В девять часов вечера, как и было приказано, двенадцать казаков один за другим вошли в крытую камышом кошару.

Тускло светился поставленный на примятую солому фонарь. Старший лейтенант Жук, натянув на себя шинель и закутавшись буркой, трясся в лихорадочной дрожи — его мучил приступ малярии.

Группу разведчиков, которые должны были в эту ночь отправиться к Ага-Батырю, возглавлял старший лейтенант Сидельников, бывший заведующий райфо Егорлыкского райисполкома, уже не молодой, лысеющий человек, осторожный

и твердый по характеру, но такой застенчивый, что его называли Иосифом Прекрасным. Выбор Жука пал на Сидельникова потому, что Иосиф Прекрасный отличался незаурядной физической силой, хитростью и той чисто охотничьей сноровкой, которая так нужна разведчику.

Сидельников поздоровался с Жуком, нащупал ногой какой-то обрубок и сел, приготовившись слушать задачу. Как и все разведчики, он был одет в серую стеганку, ватные штаны и сапоги и ничем не отличался от рядового казака.

Жук внимательно осмотрел разведчиков и сказал:

— Дело предстоит очень важное. Пойдете в Ага-Батырь.

В последние дни слово «Ага-Батырь» навязло в зубах у казаков, но никто из разведчиков ничего не сказал. Все они понимали, что дело действительно предстоит важное и опасное.

— Самое основное, — продолжал Жук, — танки и пушки противника. Они должны стать главным объектом вашего наблюдения, ради них вы идете туда. Генерал хочет знать, не перебрасывают ли немцы свою технику к нам на правый фланг. Сведения об этом надо добыть во что бы то ни стало, потому что от них сейчас зависит судьба всего нашего соединения.

— Понятно, — отозвался из темноты Сидельников.

— Не отвлекайтесь в сторону мелочей, — стуча зубами, говорил Жук. — Особенно тщательно проверьте дорогу севернее Ага-Батыря и установите точно, наблюдается ли движение техники на север или нет. Генерал ждет исчерпывающего ответа, без всяких фокусов. Понятно?

— Понятно.

— Документы сдали?

— Сдали, — ответил Сидельников, — ведь не в первый раз.

— Ну вот, смотрите...

Пока Жук, водя по карте прыгающим в его дрожащих пальцах карандашом, объяснил разведчикам схему движения и основные объекты наблюдения, в кошару вошел старший лейтенант Коротченко, недавно прибывший из разведывательного отдела войск Северной группы.

— Вот и хорошо! — весело закричал Коротченко. — Все налицо. А я думал, что никого не застану...

Он присел рядом с Сидельниковым, дослушал задачу и сказал, обращаясь к Жуку:

— Слушай, Олег, я тоже пойду.

— Куда? — не понял Жук.

— В Ага-Батырь.

Жук поморщился. Он не любил, когда что-нибудь нарушало его расчеты и путалось в ногах. Правда, Коротченко в какой-то

мере был начальником. Он прибыл в соединение для изучения работы разведки и уже не раз говорил, что пойдет с разведчиками в дело, но то, что он захотел идти именно сегодня, не понравилось Жуку. Кроме того, Олег Жук, как и все страстные охотники, был чуть-чуть суеверным, и его покорило, что Коротченко будет в группе тринадцатым.

— Пойдешь в другой раз, — сказал Жук. — Понимаешь, сегодня очень важное дело. Если оно будет провалено, генерал мне голову оторвет.

Коротченко обиделся:

— Как это «провалено»? Что ж я, по-твоему, играть пойду? Чем важнее дело, тем лучше и тем полезнее я буду.

Жук посмотрел на Сидельникова:

— Ты как?

— Да пусть идет, — махнул рукой Сидельников. — Лишний человек тут не помешает. Все равно я разделю группу на две части...

Сомнение еще не оставило Жука, но он, подумав, тоже махнул рукой:

— Ладно, иди. Только сдай мне все свои воинские документы и оставь партийный билет, а то вляпаешься во что-нибудь... — Он еще немного подумал и счел нужным добавить: — И потом имей в виду, что группой командует Сидельников.

— Добре, добре...

Поднявшись с соломы и взяв фонарь, Жук еще раз осмотрел казаков, проверил их оружие, одежду и обувь, напомнил, что задание важное, и сказал:

— Ну, в добрый час! Смотрите же, завтра к вечеру я жду вас.

Казаки простились с Жуком и один за другим вышли из кошары. Жук постоял один, потом подошел к дощатой двери и, распахнув ее, стал смотреть в степь. В степи шумел холодный ветер. Черные клочья туч плыли по небу. Песчаные буруны неясно белели снежными пятнами. Цепочка казаков, огибая буруны, исчезала в темноте.

Весь следующий день старший лейтенант Жук провел в тревожном ожидании. С утра ему звонил адъютант Селиванова и спросил от имени генерала, отправлена ли разведка. Выслушав ответ, адъютант сказал, что генерал просит доложить ему о результатах сразу же по возвращении разведчиков.

Приняв сразу две таблетки акрихина, Жук повалился на солому и натянул на себя бурку, чтобы согреться, но лихорадка корежила его тело, и он стонал, ворочаясь с боку на бок и дыша, как загнанная лошадь.

Чем дальше шло время, тем больше нервничал Жук.

Адъютант позвонил еще раз после обеда и спросил, не вернулись ли разведчики. Жук просил передать генералу, что он ждет разведчиков к вечеру. Весь день в степи дул сумасшедший ветер, и среди бурунов метались снежные вихри. Судя по редкой пулеметной перестрелке, везде было тихо, и Жук подумал, что это хорошо для разведчиков, что им легче будет вести наблюдение. К вечеру ветер немного утих, зато снег пошел крупный, хлопьями, и сразу же буруны стали похожи на большие сугробы.

Жук почти не притронулся к невкусной, пахнувшей мышами ячменной каше, которую принес в котелке ординарец, бродил по кошаре, вслушивался в трескотню пулеметов и, ежась от холода, поглядывал на часы. Было уже девять часов вечера.

В половине десятого затрещал полевой телефон. Жук прилег рядом с телефоном и услышал в трубке хриловатый голос Селиванова:

— Говорит девятый. Не вернулись?

— Никак нет, товарищ девятый! Жду! — ответил Жук.

— Чего у вас так зубы стучат?

— Малярия треплет, товарищ девятый...

— Вызовите врача.

— Слушаюсь.

— Как только вернутся, немедленно сообщите.

— Слушаюсь...

Шатаясь от слабости, Жук подошел к дыре, проделанной в камышовой стене, и стал смотреть в степь — не покажутся ли разведчики. На темном фоне неба зелеными сполохами отсвечивались далекие вражеские ракеты — гитлеровцы освещали свой передний край.

У Жука мелькнула мысль: «Это плохо. Если бы они готовились к наступлению, как ожидает генерал, у них была бы полная темнота, чтобы скрыть передвижение войск».

Разведчики вернулись в третьем часу ночи и, как только вошли в кошару, Жук понял, что у них произошла стычка с противником: ни Сидельникова, ни Коротченко не было.

Не дожидаясь пока старший сержант Анисимов — он вошел в кошару первым — приступит к рапорту, Жук закричал тревожно:

— А где ваш командир?

— Командиры остались там, — смущенно ответил Анисимов.

— Где там?

— В Ага-Батыре...

Все одиннадцать казаков были налицо. Они стояли в кошаре мокрые, залепленные грязью и снегом, с черными от ветра лицами и едва на ногах держались от усталости. Анисимов

рассказал Жуку обо всем, что произошло в Ага-Батыре. Разведчики подобрались к самому селению, бесшумно сняли двух часовых (Анисимов сказал так: «Мы их сняли ножами») и залегли в одном из окраинных дворов между сараями. Двор этот примыкал к дороге Ага-Батырь — Сунженский, и дорога оттуда хорошо просматривалась. Трупы часовых они утащили с собой, внесли в один из сараев и присыпали навозом, чтобы гитлеровцы не знали о нападении и подумали, что часовые куда-то ушли. Целый день казаки, дрожа от холода, пролежали между сараями. По дороге действительно двигались на север немецкие танки и пушки, но очень мало: за день разведчики насчитали всего двадцать два танка и шесть самоходных пушек. Те танки, которые стояли на восточной окраине Ага-Батыря, не тронулись с места, у них только прогревали моторы — в течение дня слышно было, как водители заводили их минут на пять, потом заглушали и уходили в хату греться...

— Что же дальше? — нетерпеливо спросил Жук.

— Так мы пролежали до темноты, — продолжал Анисимов. — Оба старших лейтенанта были с нами. Когда стемнело, Сидельников и Коротченко решили пройти по улице и посмотреть, что делается в центре селения. Они оставили меня за старшего и приказали в случае чего сейчас же уходить к своим. «Мы вернемся к двадцати часам, — сказал мне старший лейтенант, — и, если до этого времени все будет спокойно, вы нас ждите, а если мы не вернемся, то вы после двадцати часов не дожидаетесь нас и уходите». Они ушли, а мы остались у сараев. До двадцати часов ничего не случилось. По дороге не было никакого движения, только по улице проходили легковые машины. Несмотря на приказ, мы прождали Сидельникова и Коротченко до двадцати трех часов.

Анисимов тяжело вздохнул.

— Ровно в двадцать три часа недалеко от того места, где мы лежали, раздались два винтовочных выстрела, потом выстрелы из пистолетов и автоматные очереди. Я понял, что враги обнаружили наших командиров, ввязался в перестрелку, отвлек фашистов на себя и стал отходить в буруны. Нам удалось уйти, но Сидельникова и Коротченко мы больше не видели...

Жук выслушал рассказ Анисимова, отпустил казаков и задумался. Как сказать Селиванову обо всем этом?

Отряхнув бурку от соломы, Жук пошел к хибарке Селиванова. Не смягчая и не утаивая ничего, он доложил о результатах разведки и рассказал об исчезновении Сидельникова и Коротченко.

Генерал исподлобья смотрел на высокого Жука, кусал губы и

постукивал носком сапога.

— Можете идти, товарищ Жук. Теперь уже ничто не изменит положение. Отступать нам поздно. Сегодня ночью мы будем штурмовать Ага-Батырь.

Целый день шел снег. Холодный ветер нес по степи тучи песку, заметая следы машин, телег и коней. Смешанный с песком снег желтоватыми сугробами ложился по склонам бурунов, россыпью пестрел в низинах, оседал на корявых ветках раkitника и на высохших кустах репейника.

Целый день в степи не прекращалось движение. Со стороны могло показаться, что среди бурунов разместился огромный лагерь кочевников, которые зачем-то скачут по степи, сгоняют в балочки табуны коней и, собравшись кучками, жгут костры, от которых поднимается к пасмурному небу клочковатый серый дым.

Между тем в движении казаков, не понятном для постороннего глаза, была своя скрытая закономерность, которую хорошо знали в хибарке на хуторе Чернышевой, там, где расположился штаб. Редкой цепочкой на рысях проходили, стягиваясь к Ага-Батырю, сабельные эскадроны. Добравшись до саманных построек бывшего племхоза, казаки спешились, приторочили клинки к седлам, а коноводы, соединив поводьями пять-шесть коней, уводили их в неглубокую балку. Казаки укладывались с подветренной стороны, вдоль низких стен разметанных бомбами пустых построек, курили или, подняв воротники шинелей, засыпали, прижавшись щекой к холодному, затвердевшему на морозе песку.

Приземистые, похожие на черепаху машины, сердито урча, тащили по пескам тяжелые пушки. На машинах и лафетах пушек, повернувшись спиной к ветру, сидели укутанные в башлыки, нахохлившиеся артиллеристы. Неторопливые казаки-обозники в брезентовых дождевиках, лениво покрикивая на худых коней, везли в тяжело нагруженных телегах патроны, снаряды и мины. Связисты, поворачиваясь боком к ветру и согнув колени, тянули среди бурунов телефонные провода. По всем направлениям сновали грузовые машины, на которых высились припорошенные снегом тюки прессованного сена.

Иногда по гребням бурунов пролетали ординарцы. Окутанные паром кони мгновенно исчезали в низинах, словно проваливались в пропасть. То здесь, то там мелькали серые, с открытыми крышками броневики, в которых в бурках и барашковых шапках стояли посиневшие от ветра офицеры.

В степи происходило то, что обычно происходит, когда

готовится серьезная боевая операция, и что связано с тяжелым трудом многих людей, которые, выполняя разработанный в штабе план, делают все, что нужно, то есть передвигаются туда, куда приказано, везут снаряды, тянут провода, роют землянки и устанавливают пушки.

Эти люди не знают, когда и куда будет направлен их удар, но они хорошо знают, что близится час боя, то есть самого серьезного испытания для каждого из них. И поэтому, выполняя все, что нужно, люди внутренне готовятся встретить надвигающуюся опасность, которая уже становится реальной и ощущается во всем.

До самого вечера казаки были в движении, а с наступлением темноты разожгли в низинах и оврагах костры и сели поужинать. Хлеба у казаков уже не было, но среди бурунов десятками бродили отставшие от своих отар овцы, и казаки ловили их или стреляли в них из автоматов, тут же свежевали и, порубив, закладывали в котлы с ячменной кашей.

К одному из таких бивачных костров я подошел погреться и поесть горячей каши. Вокруг костра сидели и лежали усталые казаки. Среди них были и молодые, всего полгода назад попавшие в армию, были и старики-добровольцы, бородатые, хмурые станичники, которые вместе с семьями ушли на фронт и теперь воевали так, словно здесь была их станица: спокойно, хозяйски делали они все, что от них требовалось...

Когда я подошел к костру, один из таких добровольцев-станичников, невысокий, худощавый старик с рыжеватой, чуть седеющей бородой и озорными глазами, размахивая деревянной ложкой, рассказывал о своей встрече с Ворошиловым в 1918 году.

— Аккурат в это время, — говорил рыжебородый казак, — мы для армии Ворошилова мост через Дон строили. Строили мы этот мост под огнем, даже бабы с детишками гать сооружали и мешками таскали нам землю. Жрать тогда, помню, было нечего. Ну, сидим это мы однажды в палатке, вечером уже, и любимся, как наш повар Куприян Наумов барашка свежует. А барашка этого Куприян у какого-то станичного богатея угнал. Порубил наш Куприян барашка, сложил в калмыцкий котел и варит. Уже пар из котла пошел и бараниной запахло. И тут, мы слышим, шагают люди. Прямо к нам, видимо, идут. «Вот черти, — говорит Куприян, — унюхали-таки барашка. Придется, говорит, делиться...» И в это время заходит в палатку такой себе средний по росту мужчина, только что кожанка на нем блестит да сапоги хромовые, а то казак и казак. «Здравствуйте, — говорит этот человек казакам, — я, говорит, командарм Клим Ворошилов». Ну, мы, конечно, вскочили, туда-сюда, рапорт отдали и заявили, что,

дескать, на вечернем отдыхе барашком угощаемся. Он ничего, усмехнулся, сел на седло и говорит: «Раз так, то и меня угощайте». Ну, конечно, и его угостили...

Казак хохочет, и рыжебородый старик вытаскивает из внутреннего кармана ватной стеганки массивные золотые часы и говорит, приглушая озорватое хвастовство:

— После Ворошилов мне за строительство моста дорогие часы подарил. «Это, говорит, тебе на память». Вот тут и написано даже: «Парамону Самсоновичу Куркину от командарма Клима Ворошилова».

— Так ты, Самсоныч, с маршалами даже знакомство имеешь! — смеется чернобородый казак. — Того и гляди, командиром полка тебя поставят...

— Какой из него командир полка! — хмуро отзывается лежащий на бурке сивоусый старик с изможденным лицом. — Теперь, брат, война не та. Тут с клинком на танк не полезешь.

— У нас уже и клинки, наверно, в ножнах поржавели. От самой Куцевки с лета не вынимали их из ножен. Все только обороняемся да по щелям отлеживаемся... А нам нужен бой горячий...

Чернобровый казак, сунув ложку за голенище, сердито бросает:

— Чего там клинки! Коней и то отобрали, а нас на каких-то ишаков посадили.

— Сам ты, парень, не лучше ишака! — ворчит сивоусый. — Запряги кляч в пушку, они и застрянут в песках, а ты тут как хочешь от фашиста отбивайся. Они в тебя из пушки палить будут, а ты перед ними на кровном жеребце красуйся...

В другой группе казаков, лежавших на песке поодаль, румяный и пухлый юноша, похожий на писаря, говорит негромко:

— Не иначе как Ага-Батырь брать будем. Я в штабе полка определенный разговор слышал. Так и сказали: генерал, говорят, Ага-Батырь взять хочет.

— Голой рукой его не возьмешь, — возражает кто-то из темноты. — Ты подбрось нам танков да самолетов штук десять, так мы его мигом возьмем.

— С танками и самолетами всякий дурак возьмет. А сейчас танки нужнее под Владикавказом. Слышали, небось, что там делается...

Поев горячей каши с мясом, я завернулся в бурку и прилег у потухающего костра.

Ветер выл и высвистывал, неся среди бурунов снег и песок, остывающий пепел костров и солому. Чуть слышно ржали лошади

и где-то в темноте рокотали моторы машин. Время от времени в темноте вспыхивали и гасли голубоватые пучки света — это какой-нибудь растерявшийся шофер включал на секунду автомобильные фары, чтобы найти еле видимые на песке следы и не сбиться с дороги.

Бой начался в три часа ночи, и степь сразу наполнилась грохотом пушечных залпов, беспорядочной трескотней пулеметов, ослепительными вспышками пламени, криками людей и конским ржанием, короткими, резкими и часто слитыми звуками, которые возникают только в бою.

Два спешенных полка Белошниченко должны были, пользуясь ночной темнотой, занять исходные рубежи, расположенные близ самого селения Ага-Батырь, и после десятиминутной артиллерийской подготовки ринуться на штурм.

Штурм был назначен на два часа ночи, но из-за того, что кто-то заблудился в бурунах и не привел вовремя свои спешенные эскадроны, пришлось дожидаться около сорока минут. Кроме того, оказалось, что обозники не сумели доставить к назначенному часу снаряды для дивизиона тяжелых пушек, и это ослабило силу огня.

В три часа расположенные за спиной наступающих батареи открыли огонь по Ага-Батырю. Гитлеровцы сперва молчали, но как только полки Белошниченко покинули исходные рубежи и пошли в атаку, то есть побежали по степи, еще не видя противника и стреляя наугад, из Ага-Батыря грохнули пушки и минометы. Над бурунами пополз тяжелый, пахнувший серой дым. Казаки короткими перебежками, падая в песок и вновь поднимаясь, приближались к Ага-Батырю.

Над окутанным огнем и дымом Ага-Батырем висели на парашютах красновато-желтые ракеты, освещая подступы к селению, из которого фашистские пулеметчики вели прицельный огонь. Откуда-то справа по ракетам ударили счетверенные зенитные пулеметы казаков. Светло-зеленые пункты трассирующих пуль скрестились вверху, и ракеты, истекая огненными каплями, гасли одна за другой.

— Так их, проклятых! — восторженно кричали в темноте.

— Бей последнюю, а то мешает идти!

— Левее, левее, идол!

В то самое мгновение, когда казаки-зенитчики расстреливали вражеские ракеты, чтобы погрузить степь в темноту и помочь наступающим сойтись с врагом в рукопашном бою, к старшему лейтенанту Жуку прибежал запыхавшийся ординарец и сообщил, что вернулись Сидельников и Коротченко. Оба они, покрытые ссадинами, исцарапанные, в грязных лохмотьях, были доставлены

к генералу Селиванову и доложили, что им удалось пробраться на чердак дома, где помещался штаб фашистской дивизии. Они целый день пролежали на чердаке и, наблюдая за штабом, поняли, что гитлеровцы ожидают штурма русских и готовятся к отражению атаки.

— У них, товарищ генерал, на каждой улице стоят танки, — заключил взволнованный Сидельников. — Кроме того, все те танки и пушки, которые днем уходили по дороге на Сунженский, ночью возвратились назад и были поставлены западнее Ага-Батыря...

— Идите! — махнул рукой Селиванов. — Мне все ясно!

Вскочив с табурета, он забегал по хибарке, нахохленный и сердитый, побледневший от гнева. Да, генерал Фельми перехитрил его. Он, как видно, понял привычки генерала Селиванова и догадался, что генерал Селиванов не станет отступать, а полезет на Ага-Батырь!

Приложив горячую ладонь к обледелому окошечку, Селиванов прислушался. Бой бушевал вовсю. Но это был проигранный бой, заранее обреченный на полную неудачу.

Сунув руки в карманы, Селиванов постоял у окна, докурив папиросу, швырнул в угол окурок и яростно завертел ручку телефона.

— Двадцать первого! — закричал он хрипло. — Двадцать первый? Это я, девятый. Вот что, Кузьма Родионович, кончайте! Сейчас же окопайтесь и приготовьтесь к немедленному отражению танковых атак противника. Сегодня наша карта бита.

Он рывком накинул на себя шинель, схватил стек и кинулся к выходу, чуть не сбив начальника артснабжения, медлительного подполковника с сонными глазами.

— В-вы! С-соня! — заикаясь от бешенства, прохрипел Селиванов. — Если вы еще раз подведете меня со снарядами, я вас расстреляю...

Вскочив в стоявший у порога «штейер», он кинул нажавшему на стартер водителю:

— К Белошниченко! Скорее!

Командир африканского корпуса генерал Фельми действительно предусмотрел возможность нападения казаков на Ага-Батырь. Лишь после того как был отражен ночной штурм Белошниченко, Фельми стал готовиться к наступлению на правый фланг донцов, будучи на этот раз уверенным, что Селиванов на Ага-Батырь теперь не полезет.

Однако для более точного определения планов Селиванова генерал Фельми послал в разведку крупный отряд на танках и

броневиках. В дневнике одного из участников этой разведывательной операции штурмшарфюрера так описывается продвижение отряда:

...«День клонится к вечеру. Вскоре должна наступить темнота. Вдруг показалась деревня — наша предельная цель. Дело может оказаться серьезным! Танки осторожно приближаются к деревне. За ними так же осторожно продвигаются бронемшины. Первые удары из орудий бронемашин потрясают воздух.

Бой продолжался недолго. Наше задание выполнено: мы наконец столкнулись с противником и знаем, какой силой он располагает. Вся деревня кишит казаками. Большевики прикрыли окраину деревни сильнейшими орудиями, и вскоре над нашими головами засвистело, застрочило: самый удобный момент, чтобы повернуть и исчезнуть. Ночь скрывает нас от противника. Теперь мы можем остановиться, чтобы подсчитать наши потери».

С этим штурмшарфюрером мне пришлось познакомиться несколько позже — и притом в обстановке, явно для него неблагоприятной. Стоя навытяжку у дверей овечьей кошары, он медленно рассказывал о дислокации корпуса и, закончив показания, протянул Олегу Жуку черную книжку-дневник...

По данным разведки, генерал Фельми понял, что казаки готовятся к круговой обороне и что, следовательно, теперь можно перейти к выполнению второй задачи, поставленной высшим командованием, то есть перебросить танки и пушки на свой левый фланг, обрушиться на правое крыло казаков и разгромить их.

Связавшись с Фельми по радио, командующий 8-м авиационным корпусом генерал Мартин Фибих дал слово, что в ближайшие три дня все железнодорожные пути подвоза в районе действий донских казаков будут уничтожены. Теперь Фельми не сомневался, что казаки, лишенные боеприпасов и хлеба, вынуждены будут сдаться.

С каждым днем положение донцов ухудшалось. Гитлеровцы обложили казаков с трех сторон, с утра до ночи беспокоили их артиллерийским огнем и по несколько раз в сутки бросались в танковые атаки. Они пускали при этом по десять-пятнадцать танков, за которыми обычно следовали группы автоматчиков.

В песках было трудно обороняться. Сыпучая почва не позволяла отрыть окопы, и казаки, разгребая песок, делали неглубокие ямы, напоминавшие кабаньи лежки. Под песком проступала влага, и надо было доставать камыш, солому или хворост, и стелить на землю, чтобы уберечь себя от простуды.

На самых опасных местах лежали бронебойщики с противотанковыми ружьями, зажигательными бутылками и связками гранат. Они первые принимали на себя удары вражеских танков и забрасывали их гранатами. Правда, одна особенность степи помогала бронебойщикам — бесконечные песчаные буруны. Танки шли по этим бурунам, точно тяжелые баржи на штормовых волнах, то с диким ревом взлетали на гребни, то, зарываясь носом в песок, ныряли в низины. И казаки наловчились бить их в то мгновение, когда они показывались на вершине буруна, задрив мелькающие траки и вздымая бурые тучи песку. Бронебойщики кидали под гусеницы гранаты, забрасывали танки бутылками и расстреливали врагов из ружей.

Это была изнурительная и опасная работа. Голодные люди по суткам не выползали из своих кабаньих лежек. Лица у них задубели от холода и копоты, губы распухли и потрескались, на зубах хрустел песок. Постоянный грохот и скрежет танков оглушали казаков, дым и пламя слепили глаза. Но ни один полк не отступил, и вражеским автоматчикам не удалось нигде прорвать оборону.

Однако самым тяжким было то, что фашистские пикирующие бомбардировщики разбомбили те станции, с которых шло снабжение казаков. Нужда ощущалась не только в патронах и хлебе, но и в фураже, и в обмундировании, и в горючем. Теперь все это приходилось везти на грузовиках, для которых не хватало бензина, и на телегах, которые часто застревали в песках.

И казаки с каким-то особым мужеством, которое свойственно твердым людям в дни опасности, переносили голод и делились кусочком застывшей на холоде ячменной каши.

Вдруг в один из метельных декабрьских дней пронесся слух, что из полка, стоявшего на правом фланге, дезертировал казак Николай Пышкин, который увел с собой грузовую машину и скрылся в неизвестном направлении. Поступок этот был для казаков особенно позорным и тяжким еще и потому, что почти все соединение состояло из казаков-добровольцев, которые по своему желанию покинули станицы и ушли на фронт.

Слух о дезертирстве Пышкина шепотом передавался из уст в уста, и донцы, отплевываясь, сурово говорили:

— Все равно поймают...

— Не миновать ему пули...

Пышкина поймали в двухстах километрах от хутора Чернышова. Рано утром его судил трибунал и приговорил к расстрелу перед строем. Казнь должна была совершиться в пятом часу вечера, неподалеку от овечьих кошар, в которых был

расположен штаб.

Весь день дул холодный ветер, а иногда срывался мелкий снежок. Мы с капитаном Васильевым возвращались в штаб и, увидев между бурунами ряды построенных казаков, вышли из машины и направились к ним.

Казаки стояли в пешем строю, тремя колоннами, образующими гигантскую букву «П». У многих были перевязаны бинтами руки и головы.

Посредине стоял на коленях Николай Пышкин, молодой парень с белесым чубом, вылезшим из-за шапки-ушанки, в серой стеганке и в ватных брюках. Я вначале не понял, почему Пышкин стоит на коленях, но, увидев его пожелтевшее лицо и дрожащие губы, догадался, что ноги уже не повинуются ему и что он находится в том состоянии ужаса, которое парализует волю человека и превращает его в животное.

Над желтоватой бурунной степью низко плыли угрюмые, темные тучи. Редкие снежинки кружились над песками, оседая на шинелях и на лицах молчавших людей.

Офицер дочитывал последние слова сурового приговора.

С острым, неприятным чувством брезгливости я смотрел на Пышкина. О чем он думает сейчас? Понял ли он, что его преступление — смертельная обида для тех, кто стоит в строю? И если понял, то почему не может взглянуть в лицо своей смерти так, как смотрит солдат? Нет, ничего он не понял и ничего не поймет. Жалким трусом он был и трусом остался. Тогда, три дня назад, он бежал и предал товарищей потому, что испугался смерти, и сейчас он стоит на коленях потому, что не в силах принять смерть стоя.

Один из офицеров крикнул Пышкину:

— Снять обмундирование!

Покорно, не поднимая глаз, Пышкин сел на песок и стал стягивать сапоги.

В это время невысокий смуглый сержант в забрызганной грязью измятой шинели — он стоял в группе конвоя — расстегнул потертую кобуру пистолета.

Когда Пышкин, чуть склонившись вперед и закинув руки за спину, стал стягивать через голову гимнастерку и на мгновение закрыл лицо, смуглый сержант сделал шаг вперед и выстрелил. Пышкин повалился на спину.

Уже надвинулись ранние зимние сумерки. Раздалась протяжная и звонкая команда:

— Разойди-ись!

— Фельми думает меня перехитрить, — язвительно говорит

Селиванов, — но смеется тот, кто смеется последний. Теперь он думает, что мы у него в кармане. Постараемся развеять его самообольщение...

Целыми днями Селиванов сидел над картой, обдумывая новую операцию. Он уже знал всю эту проклятую степь как свои пять пальцев и готов был даже во сне рассказать, где тут стояли пастушеские коши, хутора и редкие фермы, где были колодцы, а где встречались мутные соленые озера.

Точно шахматный игрок, Селиванов изучал все возможные комбинации противника. Он не навязывал воображаемому Фельми свои взгляды и не оглуплял его, как это делают опрометчивые офицеры, думая о враге.

— Я перешел к круговой обороне, — говорил Селиванов. — У меня уничтожены пути подвоза. Значит, он полезет сейчас на мой правый фланг, чтобы захлопнуть меня в мышеловке. Он не считает меня ограниченным человеком, — это видно по тому, что он понял тогда мой замысел и стал защищать Ага-Батырь. Сейчас он убежден, что я изберу самый лучший вариант: прикроюсь одной частью и отойду километров на сорок. Это действительно самый лучший вариант. Он знает, что мне без патронов и без хлеба нельзя идти вперед, потому что это равносильно смерти, и что я обязательно пойду назад и этим облегчу ему операцию по разгрому. Следовательно, мне надо идти вперед...

Обдумав все это, Селиванов вызвал полковника Панина и сказал:

— Приготовьте новый план овладения селением Ага-Батырь...

Кубанцы, против которых действовали большие силы гитлеровцев, все же сумели отбросить противника и продвинулись вперед, прикрывая правый фланг донцов. Это значительно облегчило донцам задачу по овладению Ага-Батырем. Кроме того, по приказу командующего фронтом казакам придали танковую группу и небольшой авиационный отряд. Снабжение тоже несколько улучшилось, потому что уничтоженные противником пути были восстановлены.

И снова в степи началась подготовка, которая обычно предшествует большой операции. Снова по всем направлениям устремились автомашины, сотни всадников, навьюченные сеном верблюды, артиллерийские упряжки.

Взятый в плен под хутором Чернышовом штурмшарфюрер, закончив показания о дислокации корпуса, сказал старшему лейтенанту Жуку:

— Я вижу, что вы готовитесь к наступлению, и думаю о том, как жестоко мы ошиблись, надеясь на казачество. Ведь мы все

рассчитывали на то, что казаки выступят против большевиков. Но теперь я вижу, что мы не поняли душу русского казака и не учли тех двадцати пяти лет, которые сформировали характер новых казаков...

Да, гитлеровцы просчитались. Против них сражались сейчас не те придуманные воображением белых эмигрантов казаки, которые по воле фантазирующих фашистских журналистов населяли мифическую страну «Казаксию», а новые, советские люди, воспитанные новым, советским строем и готовые защищать этот новый строй, не щадя своей жизни.

С особенной силой почувствовал я это, выслушав однажды историю казака-добровольца Парамона Куркина, того самого, который рассказывал о встрече с Ворошиловым. Жизнь Куркина, рассказанная им самим, наглядно раскрыла мне истинное существо того мужества, которым отличались казаки в дни суровых боевых испытаний в бурной степи.

О своей жизни Куркин рассказывал в огромной камышовой кошаре, куда были собраны казаки для вручения им орденов и медалей. После вручения наград полковой комиссар Даровский — он стоял у тачанки, заменявшей в кошаре стол, — обвел взглядом сидящих на соломе казаков и сказал:

— Тут среди награжденных много стариков-добровольцев. Вот я вижу Николая Рыжова из Усть-Медведицкой. Он привел в корпус свою станичную полусотню и сразу отличился в боях за Кагальник, под Ростовом. Дальше, кажется, сидит Недорубов, командир четвертого эскадрона. Он пришел к нам вместе с сыном и сейчас получил высокую боевую награду. Рядом с ним стоит старший сержант Козорезов из Урюпинской... Скоро мы пойдем в наступление, и мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь из старых казаков-добровольцев рассказал о своей жизни. Пусть послушают молодые, как жили раньше станичники и как завоевали себе свободу...

Даровский умолк, еще раз окинул взглядом казаков и спросил:

— Ну что, товарищи казаки, кто расскажет?

— Пусть Парамон Куркин расскажет, — закричали казаки...

— Да пусть хорошо рассказывает, время у нас есть, до утра далеко.

Парамон Куркин вышел из темноты, подошел к тачанке, на крыльях которой светились два керосиновых фонаря, снял серую мерлушковую шапку, погладил седеющую бороду и сказал тихо:

— Что ж, я расскажу. Перед боем это, бывает, пользу приносит. А то люди, случается, забывают, как мы жили и как добыли себе волю...

Он сел на козлы, положил шапку рядом с собой и стал рассказывать, негромко и неторопливо, но так, что его слышал каждый сидящий в кошаре казак.

— Я сам уроженец хутора Логовского, станицы Верхне-Чирской, Второго Донского округа, — так Парамон Куркин начал свой рассказ. — Рождения я семьдесят девятого года, так что мне сейчас шестьдесят три стукнуло. Батка мой жил бедно, было у него семеро детей, а хозяйства — кот наплакал: коровка да пара паршивых бычков. Вот и доводилось ему работать на постройке железной дороги и получать по полтиннику в день. В одна тысяча девятьсот втором году я был взят на действительную службу и направлен в город Ростов, во вторую отдельную казачью сотню...

Куркин погладил ладонью голенище и, усмехнувшись, посмотрел на казаков.

— Как мы служили, про то старики знают. Поднимали нас в казарме затемно, гоняли до одурения, а за любую провинность кнутами пороли. Осточертела мне такая каторжная жизнь, и задумал я избавиться от нее. Один мой станичник работал в нашей сапожной мастерской. Спросил я у офицера дозволения и пошел к нему работать. Два года он учил меня сапожному делу, и через него познакомился я с разным ремесленным людом — шорниками, сапожниками, столярами. Жили мы дружно, по воскресеньям сходились пиво пить и гутарить про всякие дела.

А в это время, в аккурат, проходили рабочие забастовки. В пятом году начались митинги, собрания по всему городу. Как-то выпивал я у знакомого сапожника, а он говорит мне: «Ничего ты, говорит, не знаешь, пойдем, говорит, на Темерник, в депо, там увидишь настоящих людей». Скинул я свою казацкую одежду, надел вольную и пошел с тем сапожником на Темерник. Там в депо оратор про большевиков рассказывал и про Ленина говорил, как он хочет всему народу трудовому свободную жизнь дать. Слушал я этого оратора, и глаза у меня на многое открылись. Когда шел в казарму по Садовой улице, патрули забрали меня, повели в четвертый полицейский участок, а оттуда к воинскому начальнику, полковнику Макееву. Он припаял мне двадцать суток гауптвахты и в сотню сообщил. Там сделали в моих вещах обыск, но ничего не нашли. Много рабочих в те дни повесили, а много в тюрьмы позабрали. Сотня наша стреляла из пушек по Темернику, и начальство хвалило наших дураков за усердие...

Шестого января в девятьсот шестом году заиграли старым казакам сбор к отходу, то есть, значит, стали домой отпускать. Выдали нам денег по четыре рубля двадцать пять копеек и

отправили по домам. Прибыли мы в окружную станицу Нижне-Чирскую, там нас всех построили на улице в конном строю. Подъехал к нам генерал Житков, поздравил с домами, а потом вдруг говорит: «Есть, говорит, среди вас казак Парамон Куркин, он, говорит, с ростовскими бунтовщиками путался». Сказал это генерал Житков и кричит: «Куркин, ко мне!» Ну, выехал я из строя, а он давай меня срамить: «Ты, говорит, такой-сякой, присягу царскую нарушил и сволочам другом стал, говорит, тебе не будет прощения...» После, когда казаков собирали на усмирение посылать, меня не взяли — ненадежный, говорят...

Ну вот, пришел я на свой хутор. Отец и мать у меня были староверы: как увидели, что я бороду сбрил, плевать стали. Мать миску после меня мыла и все попрекала — нечистый дух. Пришлось отпустить бороду...

Казаки засмеялись. Куркин тоже засмеялся, погладил свою роскошную седую бороду.

— В ту пору я и оженился, — продолжал он. — Взял себе хорошую девушку Прасковью Леонтьевну. Пожили мы немного, ребенок родился, трудно стало. И пошел я работать гуртовщиком к купцу Ерофицкому, так от весны до осени в степу жил.

В девятьсот десятом году назначен был передел станичной земли. Земля у нас давалась молодым с восемнадцати годов, а то атаманы порешили давать с пяти годов, а на девчонок ничего. А у нас был, скажем, казак Лаврен Попов, имел семь дочерей и сидел на одном земельном пайке. Иногородние тоже ничего не получали, с голоду пухли. Вот я и выступил на станичном сборе, хотя и был неграмотный. «Это, говорю, собаке под хвост такой передел! Землю надо делить подушно и иногородним дать хоть по клочку земли». Станичный атаман Золотов шумит на меня: «Видали, какой дурень? Каждому казаку сына надо на службу справлять, коня ему купить, а девчонке на черта помощь?» Озлился я и говорю: «Мы уже это видели! На хуторе нас присягало сто семнадцать человек, а коней привели только семнадцать. Сто человек замахляли своих коней». Золотов накричал на меня и оштрафовал за бунтарство. После взяли у меня самовар и сюртук новый, продали за двенадцать рублей. Так на этом сборе наше дело и не прошло. Вернулись мы из станицы и раскололи свой хутор надвое: одних подбили на то, чтобы землю по-божески делить, а другие за атаманов и богатеев тянули.

Нас троих — Михайлу Лагутина, Леона Рябухина и меня —

хуторяне выбрали доверенными лицами, чтоб, значит, идти до окружного атамана правды искать. Поехали мы до генерала Филенкова, вот добрались до его квартиры и просим денщиков, чтоб доложили атаману. Долго нам отказывали, потом взяли у нас пять целковых за труд и доложили. Выходит атаман на крыльцо, на нем штаны с широченным лампасом, а на ногах белые шерстяные чулки. Сам весь надутый, сердитый. «Чего вам?» — спрашивает. Стал я ему докладывать, что так, мол, и так, мы ходоки с хутора Логовского, насчет неправильного передела земли жалуемся. Взял генерал у меня из рук пакет, зажал его в кулак да как шарахнет меня кулаком по морде, аж искры из глаз посыпались...

— Хо-хо-хо! — захохотали казаки в кошаре.

— Знаем мы эти дела!

— На это они здоровы были!

Куркин переждал пока утихнет смех и заговорил задумчиво:

— Ну вот... Рассек он мне губу, потом еще раз вдарил и кричит: «Вон отсюда, мерзавцы! Приказываю явиться вечером, в семь часов!» Поклонились мы атаману и пошли по улицам, чтобы до вечера время скоротать. Зашли в аптеку, там мне бабочка угольком каким-то губу присыпала, перевязала меня и одежду от крови отмыла. Приходим мы вечером к атаманскому дому, и впускают нас в комнаты. А в комнатах офицеров полно — всякие там полковники, есаулы, сотники. Атаман сидит в кресле, как индюк надулся. Пристав Корнеев — он меня знал — обзывается до меня: «Что это у тебя, Куркин, голова перевязана?» Я говорю: «Больной, господин пристав». А тут в аккурат атаманша вышла, желтым вязаным петухом самовар накрыла и говорит приставу: «Это, говорит, казачок от его превосходительства подарок получил...»

Поглядел, значит, атаман на нас и говорит, в землю глядя: «Ступайте, мерзавцы, на свой хутор и бумагу мою до станичного атамана занесите, пускай делит землю, как все казаки согласны будут. На этот раз, говорит, я вам уважил, но ежели вы, говорит, еще тут появитесь, так я вас, как собак, постреляю...» Поехали мы на хутор и радуемся, что землю народ получит. Михайла мне говорит: «Ничего, дескать, Парамоша, что морда у тебя пострадала, зато люди спасибо скажут...» Пришли мы на хутор, а нам говорят, что багатеи, пока мы ходили, землю успели засеять и никого к ней не допускают. Там потом такая свалка из-за этого пошла, что и не расскажешь...

— Ты про царскую войну Расскажи людям, пускай послушают, — мрачно перебил Куркина здоровенный казак Рыжов, который лежал неподалеку от тачанки. — Им интереснее

про войну послушать, как мы тогда воевали...

— Я и про войну сейчас расскажу, — согласился Куркин. — На войну меня забрали в августе четырнадцатого года. Когда с хутора провожали, вой стоял по всем хатам. Попы коней наших святой водой покропили. Смотрят бабы, как поп Иван жеребцов да кобыл наших освещает, и одна, жинка Александра Козлова, голосит: «Ой, боже ты мой! Кто теперь пятерых пупят кормить будет?» Тут сбоку стояла матушка Полина Карповна, она ласково обзывается до бабы: «Ничего, Химушка, на том свете золотой венец получишь». А Химка Козлова повернулась до нее и отвечает: «Иди ты, матушка, знаешь куда...»

— Хо-хо! Вот это правильно! — засмеялись казаки.

— По-настоящему отбирила!

— Ну, отправили нашу сотню в Одессу, и там есаул Гудков стал нас грузить на пароходы, Дарданеллы брать. Все нутро у пароходов выломали, конюшни для наших коней делали. Погрузились мы, покатали нас по морю туда-сюда, а потом выгрузили и послали на австрийский фронт под городок Луцк. Там мы и остановились, и в Карпатах потом были. Среди офицеров у нас было много трусов и собак таких, что ни во что не ставили людей.

В конную атаку посылали на проволочное заграждение, червивым мясом кормили, а сами в карты резались в тылу да спирт пили...

В семнадцатом году, при Временном правительстве, перебросили нас на румынский фронт, — там я уже был выбран в полковой комитет и стал офицерский состав чистить. Всех паразитов, которые на фураже наживались, выбросили к чертям, они от нас в Новочеркасск убежали.

Потом прибыли мы с фронта в Ростов, а оттуда я со станичниками домой поехал. Заваруха только начиналась, и порешили мы биться вместе с большевиками, чтобы люди могли по-людски жить и сами свою судьбу строить.

Стали у нас на хуторе собираться фронтовики. Много их было из четвертого полка, который сразу за рабочих и крестьян пошел, эти все имели хорошую закваску. Офицеры, которые прятались по станицам, агитировали казаков и говорили, что вас, дескать, большевики с Дона селят и что вы царя за калоши променяли и красным продались. Но мы все ж таки сформировали краснопартизанский отряд. Меня выбрали за командира. К февралю восемнадцатого года нас уже стало много, а дрались мы с беляками, аж дым столбом стоял, а у себя на хуторе целую

крепость сделали. У нас там два попа были, так один из них, отец Иван, за белых все молился, а другой, отец Петр, сразу стал нашим партизанским попом и за нашу победу молебны служил. Генерал Мамонтов не раз к нам лазутчиков засылал, чтоб мы к нему перекинулись, но дураков на это не оказалось, потому что мы уже все понимали, что Советская власть несет народу волю и землю...

Куркин опустил сивую голову и замолчал, должно быть, вспоминая что-то тяжелое. Фонари на тачанке тускло освещали его фигуру, и казаки, дымя сигарками, смотрели на него выжидающе.

— Потом мамонтовцы захватили наши семьи, — глухо сказал Куркин. — Жену мою и дочь Зину тринадцати лет расстреляли, а курень сожгли и золу по ветру развеяли... В ту пору поставили наш отряд оборонять донской мост возле станицы Чирской. Были мы в окружении у белых, а нам помогали Ворошилов и Щаденко, который организовал тогда Громыславский полк. И доводилось мне не раз встречаться с товарищем Ворошиловым и говорить с ним про всякие боевые дела. После героического восстановления донского моста мы, как отряд особого назначения, перешли в десятую армию Ворошилова и воевали под Царицыном, за что товарищ Сталин благодарил красных казаков и одобрение свое высказывал... Я видел товарища Сталина в штабе десятой армии и разговор с ним имел...

Когда закончилась гражданская война, вернулся я к себе домой и вскорости организовал колхоз «Красный Дон». Четыре года был я председателем этого колхоза, высокий урожай получал, людей учил. Семью я себе новую, значит, создал, сынов своих трех воспитал так, что не стыдно за них старику: один ученый агроном, другой артиллерист, а третий летчик!

Сам я в тридцать первом году вступил в партию и работал в районе. А когда пришла война, созвал стариков и говорю им: «Что ж, односумы, пора идти на помощь нашей власти и нашему народу». И пошли мы все в военкомат — Ярохин Николай, ему седьмой десяток стукнул, Степан Сухарев, Никулин Павел Иванович, у него три сына на фронте были, два брата Котовские, Усачев, Прокопенко и еще много других стариков. Пришли мы в военкомат, а военком бубнит нам, что, дескать, на войне трудностей много и старикам лучше дома сидеть. Стукнул я кулаком по столу и военкома того обматюкал. Дали нам колхозных коней, пошили седла, и пошли мы воевать...

Куркин поднялся на тачанке, обвел глазами притихших казаков и закончил:

— Вот и все. Как эти старики воевали, вы знаете. Николай

Павлович Ярохин героически погиб на высоте. Усачев орденом награжден. Я тоже награжден и думаю, казаки, что перед смертью не стыдно будет за то, как я прожил свою жизнь и как вам про нее рассказал. И рассказывал я не для того, чтобы учить вас, а для того, чтобы помнили все, как мы власть в свои руки взяли и как стали править государством. И если враги теперь хотят подмять нас под себя и власть Советскую уничтожить, так я скажу вам, что это напрасно, потому что у них все равно ничего не получится...

В темную декабрьскую ночь донские и кубанские казаки прорвали основную оборонительную линию гитлеровцев, захватили Ага-Батырь, Сунженский, Иргакли и, расширяя прорыв, устремились к реке Кума.

Над песчаными бурунами, исхлестанными гусеницами танков и колесами телег и машин, черным облаком плыл дым пожарищ, и хлопья пепла падали на снег.

Все степные хутора, очищенные от врага, были разрушены, искромсаны, сожжены фашистами. На дорогах валялись трупы вражеских солдат, припорошенные серым от пепла снегом. Одинокие степные колодцы были так завалены падалью, что нигде было поить коней. Из хуторских и станичных развалин выползали истощенные, чудом уцелевшие жители. Они плакали от радости, встречая казаков, и долго глядели им вслед, и долго кланялись, благодаря за спасение.

Третьего января тысяча девятьсот сорок третьего года войска Северной группы Советской Армии штурмом взяли Моздок.

Левое крыло Клейста, сбитое с основных оборонительных рубежей, дрогнуло. Один за другим покидали вражеские полки свои насиженные зимние позиции и бежали на запад, к Минеральным Водам.

— На Дон! — кричали казаки, преследуя противника. — На Кубань!

Неотразимой лавиной, кроша лед и разбрызгивая воду, неслась многотысячная казачья конница через реку Куму. Теперь под казаками были добротные кони. В лохматых черных бурках, с развевающимися по ветру башлыками мчались казаки вперед, рубя клинками гитлеровских гренадеров, а наши тяжелые танки, следуя за конниками, давили фашистские блиндажи, вминали их в мерзлую землю, разворачивали вражеские окопы...

Рано утром на берегу Кумы генерал Селиванов пропускал несущиеся вскачь гвардейские полки. Он стоял на подножке покрытого инеем и грязью «штейера», широко расставив ноги, маленький, сухой, в расстегнутой шинели, с неизменным стеком

в руке. Казаки выхватывали клинки и салютовали своему генералу, крича что-то в радостном возбуждении, а он, прикладывая к губам платок, на котором виднелись красные пятна, махал им затянутой в перчатке рукой, и в его холодноватых, всегда таких спокойных глазах блестели слезы...

Позади, на востоке, исчезала в облаках дыма и пыли бурунная степь. Она лежала засыпанная снегом, истоптанная копытами, и над ней медленно плыли изжелта-бурые метельные тучи.

Впереди, на западе, в грохоте пушечных залпов, в грозových раскатах бомбовых разрывов ожидали освобождения чуть тронутые голубоватой морозной дымкой свои, родные, советские края.

•

ДОРОГА НА БЕРЛИН



От Терека до Днепра

Дорога в горах

Мы едем знаменитой дорогой. Уже осталась позади Кайшаурская долина с багряно-желтыми виноградниками, уже исчезали в туманной дали воды Белой и Черной Арагвы. Уже миновали мы Гударский подъем и поклонились старому памятнику на вершине Крестового перевала.

Военно-Грузинская дорога. Тут воздвигал крепости Давид Строитель, тут, среди зеленых гор, жила царица Тамара. Почтовый дилижанс возил здесь великого Пушкина. Все вокруг полно величественного очарования: прячутся в облачной дымке лесистые вершины скал, молочной кипенью сверкает внизу дикий Терек, высоко, как орлиные гнезда, чернеют в горах амбразур дотов.

Автомобиль мчится вниз. Слева и справа мелькают полосатые будки регулировщиков. Вокруг будок зелено-серебристые ели, белая вязь лозунгов, любовно выложенных из камней.

Дорога в горах. Девять раз пересекал я эту дорогу в дни кавказских боев. И мне кажется, что придет время, когда о Военно-Грузинской дороге, о ее героях будут писать большие книги. Тут тоже проходила линия фронта — с борьбой, с кровью, с победой.

Было время — кружились над дорогой косые тени немецких бомбардировщиков и горное эхо тысячекратно повторяло грохот бомбовых взрывов. С горных вершин ползли на дорогу страшные лавины снегов, грозя засыпать колонны фронтовых машин. Скалы низвергали вниз тяжелые каменные обломки.

Дорогу спасали люди. Люди-бойцы. Люди-герои. Темные от ветра, запорошенные снегом, молчаливые, с черными очками на лицах, в широких красных и синих штанах, с лопатами, кирками, топорами, они денно и ночно работали на своем посту: очищали дорогу от камней и снега, чинили мосты, прокладывали путь фронтовым колоннам. И машины — с людьми, боеприпасами, горючим, фуражом, провиантом — безостановочно шли на фронт...

Боев ветер в темном Дарьяльском ущелье. Недвижно высятся над ущельем розово-серые скалы. Неумолчно шумит бурливый Терек. В скалах, над самой пропастью, — каменный домик. Над низкой дверью высеченная на камне дата «1869». Из железной трубы вьется дым.

В домике живут девушки-регулировщицы. Нас встречает одна. Двое других на посту. В очаге пылает огонь. Девушка готовит завтрак. Потом садится читать. Уже убрано все, вокруг чистота. К ночи девушка пойдет на дежурство. Так изо дня в день.

О них тоже скажут в свое время, об этих девушках, труженицах войны. Здоровые, крепкие, они стойко переносят жизнь в горной глухомани. Днем и ночью стоят на посту и, вытянув желтый флажок, приветливо козыряя затянутой в перчатку рукой, пропускают машины...



Прямая, как стрела, отшлифованная тысячами колес вырывается из ущелья асфальтовая дорога. Пронесется назад домики, деревья, верстовые столбы. И вдруг сразу между двумя громадами снежных гор встает перед нами знаменитый Владикавказ.

Долиной больших боев

Гизель, Ардон, Алагир, Старый Лескен, Эльхотово, Урух... Я помню эти места. Помню рыжую россыпь взорванных кирпичей, глубокие воронки от снарядов и бомб, поваленные телеграфные столбы, трупы в кюветах разбитых дорог. Я помню холодные зимние ветры и страду большого сражения — тяжкий орудийный грохот, злой скрежет танков.

Святые места терского рубежа! Уже заросли бурьяном воронки. Уже белеют на солнце новые телеграфные столбы. Уже говорливые женщины мирно везут на тачках огненно-красные горы сочных помидоров — последний дар осени.

В селениях хлопочут люди. Степенные старики в лохматых папах подносят на носилках к эльхотовской школе известь и

цемент. Смуглые девушки чинят шоссе и поют протяжные песни. Окруженная детворой седовласая старуха, усевшись на крыльце, вяжет чулок. Молчаливый пастух в войлочной шляпе, опершись на палку, стережет стадо овец за мостом. Серые ишаки, встряхивая пестрые ковровые мешки, лениво бредут к лесканской мельнице. У мельницы вкусно пахнет свежей кукурузной мукой. Жизнь идет своим чередом.

Люди залечивают раны. Днем хлопочут на работе, отстраивая разрушенные дома, собирая урожай с полей и огородов, а по вечерам вспоминают погибших сородичей, читают письма фронтовиков, говорят о завтрашнем дне.

Над дорогой, в кустах дубняка и акации, темнеют остовы немецких машин. Стрекохут над ними сине-белые сороки, вьется мошка. И стоят эти ржавеющие машины как напоминание о черном нашествии фашистских злодеев, как памятник недавних боев.

Дорога вьется в широкой долине, а слева, в призрачной голубизне, как волшебная декорация, белеет острая гряда гор. Серебряным облаком сияет исполинский Эльбрус.

Я вспоминаю о том, как в прошлом году немцы отправили на Эльбрус отряд альпинистов дивизии «Эдельвейс». Отряд шел с кинооператорами, фотографами, корреспондентами. Командир отряда капитан Грот величественно позировал перед кинооператорами, тирольские стрелки проделывали перед ними головокружительные трюки. Немцы печатали фотографии этого «горного похода» во всех журналах. А потом советские лыжники взойшли на Эльбрус и водрузили на его вершине красное знамя...

Вот и Нальчик. Вырублены его парки, испоганены ровные улицы. Но город приводят в порядок: убирают кирпичи, ремонтируют дома, подвозят в машинах молодые деревья для парков.

Мы проезжаем ипподром. Тут немцы расстреливали жителей Нальчика, тут пытали стариков и женщин. Это тихое место, окруженное каменным забором и тонкими деревьями, было местом, где царствовала смерть.

Но дальше, дальше! Солнце опускается к снежной цепи гор, и долина залита волшебным озарением заката. Автомобиль несется на северо-запад, туда, к долинам прославленной Малки, к селениям Пятигорья...

Вечер. Старый кабардинец с красной бородой зовет нас на отдых. Тишина. В доме пахнет сушеными яблоками, молоком и овечьей шерстью. У порога лежат лохматые собаки. Мы долго плещемся, умываясь у колодца. Черноглазая девочка, кланяясь, подает нам чистое полотенце.

Старый Срух выносит из дома шуршащую циновку, расстилает ее на земле, становится на колени и молится, протянув сухие ладони туда, где сияет золотая вечерняя звезда.

Пятигорье

Вот и Пятигорск. Девять месяцев прошло с того дня, как наши войска освободили город, а до сих пор в памяти еще живы картины холодного январского дня: черная копоть на стенах сожженных домов, сотни трупов на кирпичном заводе, хрустящие под ногами стекла разбитых вывесок и витрин, истерзанные деревья вокруг лермонтовского обелиска на Машуке.

Немцы бесновались в курортных городах Пятигорья: днем офицеры веселились в кабаках «Палас», «Варьете», «Фемина», ночью расстреливали жителей на Машуке, на кирпичном заводе, у Кольца-горы. Заправила немецких грабителей кригсфервальтунграт Клайкнехт, собрав вокруг себя спекулянтов, наживался на продаже спирта. Длинноносый зондерфюрер пастор Бертрамс публично благословлял массовые расстрелы евреев, а всякие гауптманы, обер-лейтенанты, фельдфебели рыскали по домам, секли людей розгами, стреляли из автоматов в санаторные зеркала, топтали клумбы в цветниках.

В дни своего бегства немцы изуродовали Пятигорск. Их руками были сожжены и взорваны гостиница «Бристоль», холодильник, вокзал, водопровод, почта, электростанция, санатории, лучшие школы, мосты.

Да, мы все помним январский день: тогда мела метель, и люди, запорошенные снегом, встречали наших бойцов со слезами радости и падали, рыдая над трупами убитых гитлеровцами близких, и с ужасом смотрели на испоганенный, исковерканный город...

Прошло девять месяцев. И вот мы снова в Пятигорске. Светит теплое осеннее солнце. Деревья на Советском проспекте роняют желтые листья. По улицам, как всегда, идут оживленные толпы людей. Свежей краской блестят новые киоски. Еще много, очень много развалин и пепелищ — восстановить город не так легко, — но уже в самом разгаре горячий период возрождения: квартиры освещены электричеством, санатории на Машуке приняли больных и раненых, в пригородных хозяйствах, на фабриках, железной дороге работают тысячи энтузиастов.

Пятигорские школы образцово встретили учебный год. Мне представилась возможность осмотреть почти все школьные здания города, и всюду, куда бы я ни заходил, я видел

ослепительно чистые стены, окрашенные парты, застекленные окна, любовно приготовленные учебники, тетради, ручки.

Об одной из школ мне хочется сказать особо — это спецшкола связи для девочек, типа суворовского училища. При мне стали прибывать туда девочки-сироты, родители которых погибли во время войны. Робкие, застенчивые, не по летам задумчивые, пережившие потерю близких, они, появившись в школе, не поднимали глаз, жались друг к другу, односложно и неохотно отвечали на вопросы учителей.

Но надо было видеть, как в течение нескольких дней перерождались эти дети! Зеркально-чистые полы в интернате, постели, покрытые теплыми одеялами, вкусная пища, интересные книги, красивая новая форма, участливое, родительское отношение учителей, сила молодого коллектива — все это чудесно перерождало забитых, молчаливых детей. Девочки вновь обретали свое детство: глазенки их сверкали, они оживленно говорили друг с другом, обнявшись, ходили по коридорам, звонкими голосами пели песни.

И я, глядя на их белокурые, русые, черные косички, на их аккуратные платица, слушая их веселые песни, думал: «Родина! Это ты, великая, призрела сирот; это ты открыла для них большую дорогу, обогрела их материнской заботой и лаской».

Когда видишь все это, неизбежной становится в тебе глубокая вера в могучий народ, в непобедимую силу Коммунистической партии, и ты знаешь — твои боевые товарищи не напрасно пролили кровь на полях великих боев, не напрасно сражались за светлое будущее своих детей, за свободу своей земли...

Над Кубанью и Доном

Невинномысская, Армавир, Кропоткин, Тихорецкая, Кущевская, Батайск. Места знаменитых боев, о которых уже сложены песни! Память наша сохранит для потомства обидные дни летнего отступления и жаркую радость наступательных январских боев. Мы не забудем фашистских зверств на Кубани и Дону, не простим злодейских разрушений!

Сегодня я вспомнил одну из своих встреч в феврале 1943 года. Это было на Кубани. Наши войска только что освободили пылающий Армавир. Над армавирским вокзалом висела черная туча едкого дыма. Бойцы еще тушили горящие дома. Был мороз. Зимнее солнце освещало страшную картину разрушения. Под ногами скрипел темный, посыпанный пеплом снег.

Проходя по окраине города, я зашел в маленькую хатенку

погреться. Там я увидел древнюю старуху-казачку. Седая, морщинистая, сутулая, она сидела у плитки, сунув в духовку ноги в шерстяных чулках. На плитке лежал тощий серый кот. Увидев меня, старуха пожевала губами и молча пододвинула табурет. Я сел рядом с ней. Старуха долго молчала, потом кивнула на свернувшегося в клубок кота.

— Кот, хвала богу, мороз чувствует...

Я удивился:

— А зачем вам, бабушка, мороз?

— Ну как же это зачем? — строго сказала старуха. — Нашим хлопцам холод нипочем, а немец морозу не уважает. Немец квелый насчет морозу. Вот нехай теперь поскачет в степу. Я б их, паскудных, всех разнагишала и гнала бы голяком по морозу, нехай бы попробовали, будь они трижды прокляты...

И была в словах древней казачки такая ненависть к врагу, что я подумал: сколько же зла нужно было причинить людям, сколько принести горя, чтобы вызвать такие проклятия немощной старой женщины!

Фашисты, как черный смерч, прошли по кубанским городам и станицам: жгли хаты и колхозные конюшни, кинотеатры и больницы, взрывали железные дороги и мосты, угоняли людей и скот...

Наш автомобиль летит по широкому грейдеру. Мы любим картины золотой кубанской осени: над дорогой высятся горы янтарных кукурузных початков, в ярочках белеют стада колхозных гусей — за лето люди успели вырастить птицу; на исполинских оранжево-розовых тыквах серебрится утренняя роса; в станицах пахнет свежими стружками, слышен стук топоров — всюду идет стройка, всюду залечивают нанесенные врагом раны: в Гулькевичах уже работает МТС, в Павловской отстроены школы, в Тихорецкой закончил осенний сев зерносовхоз, в Уманской отремонтированы молочные фермы, в Батайске уже принимает паровозы многострадальное депо, которое немцы бомбили, взрывали, жгли, разрушали с остервенением варваров.

По знакомой асфальтированной дамбе едем мы из Батайска в Ростов. На шоссе белые пятна свежих заплат, справа и слева аккуратно сложенные камни. И вот как-то сразу, неожиданно скоро заголубел широкий Дон, выплывая навстречу из низины.

Ростов. На реке неуклюжие баржи, лодки, катера. Многого не узнать. Исчез рыбацкий поселок на правом берегу. Нет светлого, похожего на большой пароход, здания речного вокзала.

В городе есть мертвые участки. Два часа бродил я среди развалин между вокзалом и Буденновским, на придонском склоне. Дмитревская, Книжная, Морская, Старопочтовая — в этом

районе опустошены пожаром. Под сводами кирпичных руин чернеют груды обломков, скрученные огнем железные балки, изуродованные перекрытия. В пустых глазницах вышибленных окон синее чистое осеннее небо.

Но ростовчане живут новой, напряженной, как на фронте, жизнью. Мало-помалу очищается город от хлама и мусора. На центральных улицах окна и двери сожженных домов забиты фанерой, на которой пестреют красочные плакаты. По утрам, как в мирное время, дворники поливают тротуары и тщательно подметают мостовые. На людных перекрестках девочки-цветочницы продают пышные хризантемы.

Недавно пошел в Ростове трамвай. Это было трогательное зрелище; ростовчане приветствовали вагоны взмахами рук, а вездесущие мальчишки почетным эскортом провожали трамвай через весь город.

В Ростове работают пекарни, магазины, кинотеатры, школы. Ежедневно выходит любимая горожанами газета «Молот», страницы которой заполнены призывами к восстановлению города и многочисленными сводками о том, что уже сделано. В Ростов возвращаются драматический театр имени Горького, различные учреждения, возвращаются тысячи людей, которые, засучив рукава, берутся за восстановление заводов и фабрик...

В вечерних сумерках Садовая улица освещена аллой зарей заката. По улице идут пешеходы, проносятся автомобили. Вот девушка-милиционер регулирует на перекрестке движение. Вот группа солдат подвигает на запад гигантский аэростат воздушного заграждения. Серебристый аэростат плывет между домами, как странное допотопное чудовище, и исчезает за поворотом...

Город позади. Офицер контрольно-пропускного пункта при свете карманного фонаря проверяет наши документы. Автомобиль круто разворачивается влево и, миновав развалины авиагородка, мчится по широкому шоссе Ростов — Таганрог.

На Самбекских высотах

Мы подъезжаем к Самбеку. На протяжении многих месяцев название этого дотоле неизвестного села мелькало на страницах мировой печати. Это был крайний правый фланг немецких войск на советско-германском фронте. Тут, на Самбекских высотах, немцы держали оборону подступов к Таганрогу, тут начиналась разрекламированная фашистской пропагандой линия Миус-фронта. Тут, у Самбека, долго шли упорные, жестокие бои. Тут

бойцы прославленного впоследствии генерала Бориса Аршинцева месяцами рыли ходы сообщения и подбирались к укреплениям врага.

Если бы вдохновенный художник вздумал писать большое полотно о войне, ему обязательно нужно было бы посетить Самбек. Тут нет ни одной пяди, ни одного клочка уцелевшей земли — все изрыто снарядами, бомбами, минами, покрыто сизым пеплом, изуродовано обломками орудий, машин, телег.

По узкому шаткому мостику переезжаем мы речку Самбек. И сейчас еще берега этой неглубокой, поросшей камышом речушки, огорожены колючей проволокой — на дне Самбека множество невыловленных мин. На западном берегу реки, на высотах, стоит нечто, когда-то называвшееся селом Самбек.

Это страшное зрелище, какая-то мертвая пустыня. Ни одного целого деревца — все срезано, посечено, искрошено минами и пулями. Ни одной, буквально ни одной хаты — все повалено, сожжено, искромсано. Почти под каждым фундаментом хаты — немецкие доты и дзоты.

И надо сказать, гитлеровские генералы действительно выбрали здесь чрезвычайно удобную позицию: оплетенная проволочными заграждениями речка, минированные поля перед ней, многоярусная система огневых точек на высотах, с которых отлично просматриваются все окрестности. По убеждению немецких генералов, это была неприступная крепость, о которую должны были разбиться любые атаки советских солдат.

События довольно долго подтверждали это их убеждение. Несмотря на непрерывные атаки, Самбек держался. Его брали штурмом в лоб, пытались взять охватом, думали прорвать немецкую оборону на отдельных участках — и все безрезультатно. И однако Самбек пал. Прорвав середину Миус-фронта довольно далеко от Самбека, наши танки и конница вышли в тыл самбекской группировки немцев. Пехота ринулась на штурм, и 30 августа «самбекская твердыня» была взята. Вслед за Самбеком наши войска освободили Таганрог.

И вот, объехав зарастающие бурьяном самбекские укрепления, миновав капризную изломанную линию окопов и гигантских ходов сообщения (по этим ходам сообщения немцы на грузовиках подвозили боеприпасы), мы медленно поднимаемся в гору и, добравшись до широкого грейдера, мчимся к Таганрогу. По обе стороны дороги валяется много немецких грузовиков, тягачей, пушек, телег. Все это брошено фашистами во время бегства из Самбека.

Вечереет. Мы въезжаем в Таганрог. Город пострадал меньше, чем можно было думать. Поспешное отступление из Таганрога

лишило немцев возможности со свойственной им педантичностью и тевтонским хладнокровием уничтожить дома. Во всяком случае, Таганрог выглядит несравненно лучше, чем Пятигорск, Армавир или Ростов. Правда, и здесь взорваны большие дома, и здесь сожжено много школ и разрушены заводы, но все-таки город в основном уцелел.

Темнота. По Ленинской улице шагает ночной патруль. В старом парке шумят деревья. Ветер несет крепкий, соленый запах близкого моря.

У моря

Дорога из Таганрога в Мариуполь вьется вдоль моря, и оно, темно-свинцовое от осенних туч на горизонте, горит под крутым берегом, отражая золотые лучи холодного солнца. В море уже вышли рыбацьи баркасы, и, хотя здесь еще много рассыпанных врагом мин, рыбаки, опустив с баркасов якоря, днем ловят рыбу.

Все побережье опутано проволочными заграждениями — фашисты боялись морских десантов, — взрыто окопами и круглыми пулеметными гнездами. Особенно много окопов в тех местах, где высокий берег полого спускается к морю.

Это все исторические места. Тут, в Поляковке, в 1918 году немецкий генерал от кавалерии фон Кнерцер расстреливал участников ейского десанта; тут грабил рыбаков и крестьян генерал фон Арним, один из сподручных палачей фельдмаршала Эйхгорна. Прошло четверть века. Уже сгнили в земле останки фон Кнерцера, и фон Арним, недавно плененный англичанами в Африке, бесславно закончил свой путь. И снова бежали немцы с берегов Азовского моря, а старые русские станицы, опаленные пожарами, разбитые, по-прежнему стоят на высоком морском берегу, неколебимые, как Россия.

В станицах хлопочут люди. Колхозники уже посеяли озимые хлеба, и огромные поля зеленеют, как бархатный ковер. Рыбаки носят в плетеных корзинах трепещущую, отливающую серебром сельдь. Седобородые станичные плотники чинят хаты, скотные дворы, овчарни. Женщины поправляют силосные ямы, босоногие девушки в пестрых платках ровняют дорогу.

Дорога петляет по буграм, по оврагам, по новым мостам через тенистые речки, а когда взбегает на высокий холм, перед нами в синеватой дымке открывается заводской Мариуполь. Но, увы! Трубы мариупольских заводов стоят, как черные стволы сожженного леса, и только из нескольких труб вьется беловатый дым.

Гитлеровцы организованно, планомерно, с дьявольским хладнокровием превосходно натренированных бандитов разрушали индустриальный город. Тысячи факельщиков, распределив город по участкам, в течение нескольких дней жгли несчастный Мариуполь. Некоторые из этих мерзавцев-факельщиков не успели уйти и, судимые грозным и правым судом, были повешены в том самом городе, который они хотели стереть с лица земли.

Далеко за Мариуполем, в мангушских степях, мы увидели рыхие камышовые курени. У входа в крайний курень сидел старик с деревянной ногой. Он колотил молотком по зубилу, насекая глубокие линии на железном диске от грузовика.

Здесь, в этих куренях, жили убежавшие от немцев мариупольские портовые грузчики. Они посеяли в глухой степи кукурузу, посадили баштаны и жили как Робинзоны, прячась от немецких жандармов.

Старик с деревянной ногой рассказал нам о том, как с приходом врага замерла жизнь в порту, как дюжие немецкие моряки с канонерских лодок избивали детей, бросали в море женщин.

— Потом мы ушли, — хмуро закончил старик, — разбрелись по степи. Так и жили, вроде зверей.

— А что это вы делаете с диском? — спросил я.

— Думаю ручную мельничку соорудить, — ответил старик, — намелю на дорогу кукурузы да буду возвращаться в город. Небось эти ироды уже далеко...

Хмурясь, зло сплевывая, хромой старик рассказывает, как гитлеровцы, отступая, гнали людей на запад. Люди шли тысячами, голодные, подгоняемые ударами плетей и палок, и, дождавшись ночи, разбегались в разные стороны, хоронились в кукурузе, в оврагах, в развалинах сожженных деревень.

— А потом, как пришли наши, народ стал сходиться. Иной нашел свою хату, а иной уже и хаты не нашел...

Старик поднялся, походил по баштану, выбрал десяток последышей — мелких арбузов и дынь, — нарвал помидоров и принес все это к нашей машине.

— Угощайтесь, хлопцы, — сказал он, — да передавайте там, чтоб кончали немца быстрее...

Простившись со стариком, мы поехали дальше, и каждый километр приближал нас к фронту. Уже в воздухе стали показываться немецкие самолеты-разведчики. Они трусливо летали за облаками и, противно завывая, просматривали прифронтовые дороги. Уже в садиках и рощицах замелькали санитарные телеги и на дороге чаще стали попадаться машины.

Фронтовые дороги

Тут все охвачено стремительной силой движения: окутанные облаками пыли, бесконечным потоком несутся на запад тяжело нагруженные «зисы», «студебеккеры», «доджи»; их обгоняют покрытые маскировочными сетками легковые автомашины, за стеклами которых мелькают офицерские погоны; смуглые, обветренные, в кожаных шлемах, в черных очках, мчатся связные-мотоциклисты; шпоря вспотевших коней, скачут ординарцы; на рысях проносятся обозы; оглушительно рыча, ползут неуклюжие тягачи; на пыльных проселках сверкают гусеницы танков.

И вся эта многотысячная масса людей, лошадей, машин, телег, достигнув перекрестков, точно повинувшись мановению волшебного жезла, растекается влево, вправо, движется по шоссе, по грейдерам, по степным дорогам. Радость охватывает тебя, когда ты смотришь на все это и знаешь, что исполинская сила миллионов обрушится на голову врага!

Тут, на фронтовых дорогах, все кричит об Украине, о Днепре. Здесь мы видели изумительный по красоте и размаху опыт наглядной агитации. Слева и справа от дорог высятся высокие прямые шести с двусторонними плакатами. Армейские живописцы изобразили здесь то, что каждую секунду вопиет о мщении: закованные в кандалы украинские женщины; охваченные пламенем вишневые сады Приднепровья; девушки с бело-синими ярлыками немецких рабынь; осиротевшие дети и старики; расстрелы украинских колхозников, мрачные виселицы на майданах, опозоренные святыни — все это встает перед идущими на фронт бойцами как яростный призыв к беспощадному истреблению фашистских разбойников.

На каждом верстовом и телеграфном столбе пестреют агитлистки.

На белых стенах украинских хат — гигантские красные, синие, зеленые, желтые, голубые слова: «На Днепр!», «На Киев!», «На Криворожье!» Тут гневные лозунги, тут яростные призывы, тут бессмертные стихи завещания украинского кобзаря:

...Вставайте!

Кайдани порвите

И вражою злою кровью

Волю окропите!

На больших разветвлениях дорог, там, где расположены контрольно-пропускные пункты, каждый проезжающий офицер, каждый боец может подойти к витрине и прочитать оперативную сводку Информбюро; тут десятки широких белых стрел с указателями дорог; тут высокие, любовно сделанные из фанеры открытые семафоры с коротким, как выстрел, словом: «Днепр!»

Тут сразу чувствуешь жаркое дыхание боев: впереди гроыхает орудийная канонада, ночью тут вспыхивают зарева ракет, а над дорогами еще курятся пепелища сожженных немцами деревень.

Тысячи бойцов идут на фронт. Веселые, молчаливые, урюмые, высокие, низкие; русские, калмыки, азербайджанцы — они идут неторопливым шагом, заткнув за пояс полы шинели, крепкие солдаты Красной Армии, и каждый из них знает: впереди нелегко, впереди много труда, борьбы и крови, но там, впереди, — победа, то, во имя чего страдает и борется исполинский советский народ.

Ночной бой

Вечером мы прибыли к казакам, а в 21.00 казачий гвардейский полк получил приказ выйти в направлении на северо-запад, выбить немцев из днепровских плавней и выйти к берегам Днепра. Казаки собираются недолго. Полк выступил точно в назначенное время.

Погода пасмурная. Холодно. Моросит мелкий осенний дождь. Под ногами коней хлупает жидкая грязь. Бурки пахнут конским потом. Ночь такая темная, что всадники не видят соседей. Головной эскадрон ушел вперед, и командир полка чутко вслушивается: не завяжется ли там перепалка.

Пока все тихо. Только слева гроыхают пушки да изредка татакает одинокий пулемет. Но вот впереди мелькнули ракеты — одна, вторая, третья. И сразу захлопали выстрелы. Головной эскадрон завязал бой. Командир разворачивает полк. Казаки на рысях подвигаются к плавням.

Командный пункт — в стогах сена на займище. Невидимые связисты уже тянут оттуда телефонный провод. В ночной темноте сверкают огоньки выстрелов, слышатся крики и взрывы гранат.

Накрывшись плащ-палатками, командир полка становится на колени, включает карманный фонарик и раскладывает испещренную разноцветными пометками карту. С командирской каракулевой шапки на карту текут струйки воды. Бесперерывно стрекочет зуммер. Командир сиплым басом гудит в трубку:

— Давай, сынки, давай! Вы его там мордой в воду! Нехай покуштует, какая на вкус днепровская вода!

Потом командир оставляет трубку и озабоченно вслушивается в хаос звуков: сквозь выстрелы и взрывы гранат, в тяжком хлюпанье воды, в треске сухих камышей, в конском топоте и лязге железа он на расстоянии видит, как идет бой, и время от времени отрывисто бросает:

— Кундрюченко пошел. Там у немцев плоты. Обойти б их надо. А он полез прямо. Чего-то у Сапунова тихо. Нет. Пошел Сапунов. Ого! Молодчага!

Один за другим к стогам подлетают связные и, резко осадив храпящих коней, передают командиру донесения из эскадронов. Командир доволен.

— Молодчаги, — говорит он, — добре работают. Только пора кончать. Впереди — трудная дорога.

Боль человеческая

Взойти бы на вершину самой высокой горы, стать лицом к солнцу и закричать. Так закричать, чтоб ветры понесли над землей гневный и жалобный крик боли, чтоб слышали его все люди. И увидели бы вдруг все: сколько горя принесла земле рожденная врагом Смерть.

И познали бы: давит душу тяжкая боль человеческая, та боль, которую нельзя разделить на «свою» и «чужую», которая жжет землю, как чудовищная, нестерпимая рана.

Боль человеческая — это земная боль, это моя боль. Я видел очень много страданий. Мне больно. Я хочу кричать.

Я бродил по окопам и блиндажам, по полям кровавых боев.

Я бродил по рыжей степи, приютившей сирот.

Я видел пустынные берега страшного мертвого моря, над синей гладью которого не белели паруса, страшного моря, над которым распростерлась первозданная тишина.

Я стоял в разрушенных городских переулках, где к асфальту примерзли трупы детей и женщин.

Я бродил по фронту и писал документы. Писал, чтоб сберечь в себе и в товарищах тяжкую боль, чтоб выносить эту земную боль, как крепкое вино, и, хмелея от гнева, в бою убить рожденную фашизмом Смерть.

Ласточки

Под карнизом большого четырехэтажного дома жили ласточки. Они облепили весь карниз круглыми гнездами, в которых пищали птенцы. Люди так привыкли к темным пятнам гнезд, что эти гнезда казались им орнаментом, украшающим дом.

По утрам ласточки будили своим щебетанием белокурого мальчика. Потягиваясь, мальчик выходил на балкон и, подняв голову, смотрел вверх. Там, вверху, сияло лазурное небо, светило большое южное солнце. В небе, как черные стрелы, мелькали ласточки. Их было много. Прилетев к дому, они усаживались на карнизе, охорашивались, хлопотливо порхали над гнездами, кормили птенцов и улетали. Над домом стоял неумолчный птичий гомон.

Перед закатом стены и крыши домов горели золотом. Деревья под балконом замирали в предвечернем безветрии. Дворники поливали тротуары. По улице проходили веселые цветочницы, их корзины пахли розами и левкоями.

Вместе с белокурым мальчиком на балкон выходили его отец и мать. Обняв сына, они смотрели, как, сверкая синевой оперения, бело-розовыми грудками и острыми хвостами, ласточки слетаются на ночлег.

— В деревне, где я вырос, — говорил отец, — жил дед Лука. Он запрещал нам обижать ласточек и уверял, что ласточки приносят дому счастье...

...Потом орудийные залпы и разрывы снарядов сотрясали город. Гудела земля. Летели вниз камни, листы железа, стекла, птичьи гнезда. Испуганные люди давили на тротуаре упавших птенцов.

Исчезли ласточки. На каменных стенах пустого дома светлели следы гнезд. Ветер раскачивал поломанные оконные рамы, завывал в трубах, стучал ржавым железом.

По городу шли гитлеровцы.

По городу гуляла смерть.



Белокурого мальчика я встретил через три месяца на лесном перевале, в предгорьях Кавказа. Худой, черный, в порванных штанишках, он пробирался к поляне, держа в руках пустую консервную банку, перевязанную шпагатом. Лицо и грязные руки мальчика посинели от холода. Шел осенний дождь, мальчик ежился и по-старчески сутулил острые плечи. По ущельям грохотала канонада, огненно-серые клубы разрывов вспыхивали на склонах перевала. Укрывшись под деревом, я ждал конца налета.

— Что ты здесь делаешь? — крикнул я, увидев мальчика.

— Воду ищу, — тихо ответил он.

Я подошел к нему.

— А где твой папа?

Он нахмурился и вытер ладонью мокрый лоб.

— Не знаю.

— А мама?

— И где мама, не знаю.

Подумав, он скользнул взглядом по моей амуниции и с какой-то безнадежной, недетской тоской спросил:

— Дядя, может, у вас есть сухарик?

— Куда ты идешь?

— От фашистов ухожу, — объяснил мальчик. — Я был в детском доме, в станице. Наши не успели уйти. А мы убежали. Я и Славик. Потом Славик потерялся.

— Пойдем со мной, — сказал я.

Мальчик не спросил — куда. Только, когда я взял его на руки, он вдруг уронил свое ведрышко, обнял меня и заплакал.

Руки лейтенанта Бугрова

У лейтенанта Бугрова были удивительные руки. Казалось, на кончиках его пальцев живет невидимый дух творчества. Мы все видели, какие чудеса делали руки Бугрова.

Недаром вырос лейтенант на берегу Волхова, в семье резчика. Прадед, дед и отец Бугрова кормились резьбой по дереву. Они вырезали из березы и дуба, из ореха и липы блюда, украшенные разными рисунками, мастерили ложки с головами орлов и медведей, делали шкатулки с тончайшим орнаментом. Говорили, что много веков назад Иван Бугров — пращур волховских Бугровых — тридцать лет вырезал новгородскому патриарху Василию кресло, которое было поставлено потом в Софийский собор.

Лейтенант Бугров мечтал о том, как станет гравером. Каждую свободную минуту он был занят резьбой. Мы приносили в его палатку кусочки меди — благо пустых гильз было сколько угодно, — и под его вдохновенными руками оживала медь: он вырезал наши профили, рисовал пейзажи и яростные батальные сцены. Под пальцами лейтенанта рождались на медной пластинке грозные танки, стремительные, как ураган, полные движения и мощи.

На своем КВ Бугров вырезал портреты погибших товарищей-танкистов. Как живые, сияли их лица на башне и на боках тяжелого танка. А Бугров перед выходом на операцию долго смотрел на портреты убитых друзей, потом усаживался на место и резкими рывками уводил машину в бой.

Иногда он говорил о своих будущих гравюрах, говорил мечтательно, вполголоса, как о самом сокровенном:

— Понимаешь, это будет называться «Любовь». Я представляю это так: тихие сумерки, промежок в высокой пшенице, первые звезды, они — он и она — я уже вижу их утомленные дневным трудом счастливые лица — идут по меже обнявшись. Кажется, они поют какую-то песню без слов. А может быть, молчат — не знаю. Но это должно быть по-человечески радостно и красиво...

Так мечтал по вечерам голубоглазый Бугров, и я, глядя на его удивительные руки, верил, что он создаст все это.

Но однажды Бугров и его экипаж не вернулись. Мы долго ждали возвращения Бугрова, курили папиросу за папиросой и молчали.

Утром наши конные разведчики привезли завернутых в плащ-палатки людей и сказали, что нашли их рядом с полусожженным танком, вокруг которого лежали трупы немцев.

Когда санитары развернули пожухлые от крови плащ-палатки, мы вздрогнули. В черных окровавленных людях с опаленными волосами и слепыми лицами, на которых страшно белели лоскутья отвалившейся кожи, мы не могли узнать, кто Бугров, кто Дементьев, кто Сивоплясов. Их отправили в полевой эвакоприемник. Перед рассветом старый врач сказал нам, что Дементьев и Сивоплясов умерли, а Бугрову пришлось ампутировать руки...

В степи

По степным дорогам движутся люди. Уходят от немцев старики, женщины, дети. Люди идут с серыми от пыли лицами. Те, у которых разбиты башмаки, обмотали ноги тряпками.

Носятся над дорогой злые слепни. Мотают головами усталые кони. Скрипят арбы. Арбы накрыты ржавым листовым железом, они ползут вереницей, покачиваясь, как во времена скифских кочевий.

Под железом душно. Плачет в арбах запыленные дети:

— Мма-ам... Воды... Воды, мам...

У одиноких степных колодцев давка. Люди с чайниками, ведрами, кружками, бутылками стоят за глотком воды, стоят с каменными, серыми от пыли лицами, с красными неплачущими глазами. Нудно повизгивает деревянный колодезный вал. Хромой старик, расплескивая дрожащими руками мутную воду, наливает из ведра в бутылку.

— Скорее, папаша, — тоскливо говорит женщина с кнутом, — дите помирает без воды...

Когда сквозь тысячи людей и лошадей тащут от колодца чайник с водой, лошади облизывают губы и жалобно ржут. Их поить нечем, воды не хватает, до дна вычерпаны скудные степные колодцы.

В одной арбе — я видел — лежала маленькая девочка, а рядом с ней пестрый теленок со связанными ногами. Голова теленка была запрокинута на спину, он лежал так часами, тихонько кряхтя, но повернуть головы не мог — не было места. На второй день теленок издох, придавив девочке ноги. Девочка молчала, смотрела на розовые пузыри в ноздрях теленка, на его помутневшие глаза, потом обняла его и уснула.

На четвертый день девочка умерла от кровавого поноса. Ей было шесть лет. Придерживая на животе грязное платишко, она застенчиво искала место, где сесть, и плакала, если замечала, что ее кто-нибудь видит. Умерла она под телегой, как раз в полдень. Люди закопали ее в конопле и пошли дальше.

И снова палило солнце. И снова стояли над степью тучи пыли. И спотыкались в пыли взмыленные, усталые кони.

На пчельнике

Пчельник стоял в старинном фруктовом саду над полувысохшей речушкой, окруженной зарослями камыша. Поставленные в десять рядов ульи сверкали ослепительной белизной. Над ульями тихо жужжали пчелы. В саду было благостное безмолвие. Изредка с глухим стуком падало на землю ало-желтое яблоко или бронзовая груша. Травы и листья деревьев уже тронул августовский румянец, а над речушкой по утрам дышал осенний холодок.

На пчельнике их было двое, два старика, до смешного одинаковые — чистые, седые, неторопливые, с темными морщинистыми лицами, с большими загорелыми руками. Оба они были тихие и мудрые, как небо над степью донской, как земля и звезды. Старики жили в просторной землянке на краю сада. В землянке пахло воском, яблоками и сухими травами.

Поселились они тут лет шестьдесят назад — у пана когда-то служили, а потом стали колхозными пчеловодами. Так и жили в землянке, — вековые бобыли, труженики, умиротворенные спокойной старостью.

Они все знали: по солнечному закату угадывали, быть ветру или нет, по утренней росе ясные дни предвещали, знали птичьи повадки и разные земные приметы.

Пчелы их не боялись. Выйдут старики на пчельник, чистые, в

белых халатах, с ножичками в руках. Станут среди ульев и работают. Пчелы вокруг них выются, в седых волосах жужжат, по рукам ползают, а они поднимут рамку, вощинку подкладывают, трутней срезают и ласково, тихонько уговаривают пчел:

— Ну-ну, дурашки, потерпите, милые.

Когда пришли бойцы, старики постелили на траве холстину, налили в расписные деревянные миски янтарный мед и яблоки рассыпчатые на холсте разложили. А сами уселись на бревне. Сидят и приговаривают:

— Кушайте, сыночки, кушайте. Был в старину праздник такой, Спасом прозывался. Так народ, бывало, всегда на Спаса мед с яблоками кушал...

Однажды вечером в сад пришли немцы. Чахоточный офицер, у которого правая рука была забинтована, осмотрел пчельник, постоял над речкой и опасно спросил:

— Тоже партизан?

— Зачем? — не поняли старики. — Мы пасечники.

— Угу, — промычал офицер. — Мед есть?

Старики вынесли офицеру миску с медом. Он лениво ел мед, вытирал губы грязным бинтом и, скосив глаза, поглядывал на сидящих на траве солдат. Потом, не вставая с табурета, кинул:

— Данке! Спасибо!

Старики взяли миску и хлеб и пошли к землянке. Офицер, морщась, достал пистолет и выстрелил им в спину. Солдаты разбили улья, а сад сожгли...

Так и лежали старики на пчельнике — у одного разбитая глиняная миска в руках, а у другого кусок хлеба в пальцах зажат.

И не было уже ни сада, ни камыша над речкой — выгорело все. Только дым курился в степи да летали вокруг одинокие бездомные пчелы.

Двое живых

Бушевали снега. Среди ледяных разливов шумели желтые камыши. Взорванные мосты угрожающе вскидывали к хмурому небу уродливые ребра перил и креплений. Метельная степь казалась мертвой.

Шел бой. Где-то сверху скрещивались невидимые пути снарядов. Зловеще выли мины — слева и справа вздымались фонтаны воды и льда.

Человек полз по льду к переднему краю, туда, где среди темных стогов лежали в окопах бойцы.

Человек был один и думал о том, что его могут убить и

товарищи не узнают, как он умрет. Было холодно и тоскливо. Хотелось лечь в камышах, укрыться шинелью и уснуть. Но думать об этом нельзя, надо ползти туда, где его ждали.

В низине, между двумя взорванными мостами, он вдруг увидел живую лошадь. Она стояла, опустив голову, точно остоленела. Ветер ерошил ее бурую шерсть, трепал гриву, осыпал снегом, но она не шевелилась.

Человек подполз ближе и замер. Прямо перед ним лежали мертвые люди и мертвые лошади. Их было много — мертвых людей и лошадей. Смерть переплела трупы, соединила их в какую-то дикую мешанину гнедых и рыжих конских голов, босых человеческих ног, синих рук, тусклых остекленелых глаз, оскаленных зубов, ключьев одежды, шерсти и мяса, крови, льда и снега.

Это было невиданное, яростное в своей окаменелости, страшное в своей холодной неподвижности торжество смерти.

Тяжелое свинцово-багряное небо низко нависло над мертвыми. Не было вокруг никого — шумел степной ветер, проносились снега, грохотали орудийные громы, взметывались вверх смертельно-белые гейзеры взорванного минами льда. Со всех сторон неотвратимо ползла чадная туча пожарищ, и вместе со снегом летели хлопья пепла — черный снег войны.

Лошадь чудом спаслась от ночного расстрела. А когда ушли те, кто расстреливал, она не ушла. Худая, поджарая, крепкая лошадь тысячеверстных военных дорог. Она не искала тишины, не вздрагивала при разрывах, не пила и не ела. Без узды и седла она стояла над мертвыми и ждала человека.

Человеку стало больно и стыдно. Он уже не думал о том, как и где он умрет. Ярость душила его и гнев, неповторимый в жизни гнев.

Поднявшись на колени, он протянул руку, позвал лошадь. Она повернула голову и тихонько заржала. Захватив левой рукой заиндевшую гриву, человек отчаянно рванулся вверх.

Она несла его степью, вытянув голову, зло прижав уши, расстилаясь в бешеном беге, перепрыгивая через трупы и поваленные деревья, через рвы и спутанные телеграфные провода — несла вперед, к стогам, где темнели окопы. Справа мелькали черные пробоины разрушенной дамбы, сожженные машины, брошенные врагами при отступлении пушки.

Над ними с грохотом лопались огненно-бурые молнии шрапнельных снарядов, свистели пули, подвывая, проносились мины. Но человек чувствовал под коленями живую теплоту конских боков, биение живого сердца, влекущую, неудержимую силу движения.

Вечером началась большая атака. Ни смертельная гладь ледяной реки, ни шипящая пулями злоба врага не удержали порыва. Батальоны шли вперед.

Человек, который видел рожденную врагами Смерть, шел убить ее во имя Жизни.

И вот я думаю: будет день, большой сияющий день. Самой дорогой ценой — жизнью и кровью собратьев — люди добудут Победу.

И у всех на устах будет одно слово — Мир!

И тогда воссядет суд праведный и будет судить зачинателей Смерти, которые бесправно присвоили себе человеческие имена, немецкие имена, но не были людьми.

И придет на суд живых память мертвых.

Встанут над миром павшие в боях воины, расстрелянные женщины, удушенные дети. Сбегутся звери, слетятся птицы, поднимутся деревья и встанет море, и застонут камни и потоптанные нивы, и реками стечется пролитая кровь.

И скажет суду оскверненная, изуродованная убийцами Земля:
— Смерть зачинателям Смерти!

И не найдется на земле ни одного живого или мертвого, кто бы сказал — «пощади их», или утер им холодный предсмертный пот, или подал глоток воды перед подлой кончиной.

Сгинут убийцы. Сгинут!

А люди, а вечная наша Земля — будут жить, смертью смерть поправ.

Лесной рейд

Февраль 1944 года. Глубоким снегом засыпаны леса белорусского Полесья. Тянутся эти снежные леса без конца и края, и низко висит над лесами хмурое зимнее небо, и скован голубоватым льдом старый Днепр.

За Днепром немцы. Они сидят в Рогачеве, в Бобруйске, на берегах Березины. Они укрепляют обледенелые Пинские болота, минируют Свислочь, опоясывают колючей проволокой лесные села, станции, разъезды. Ощетинился немецкими дотами правый берег Днепра, чернеют на нем вражеские траншеи, блиндажи, ходы сообщения. Немцы крепко вцепились в удобные позиции и им кажется, что тут, за Днепром, их никто не возьмет.

Против немцев, на левом берегу, войска Рокоссовского. Дивизии знаменитого генерала ведут непрерывные бои. Сотни тысяч людей сидят в окопах, ходят в разведку, стреляют, то есть делают то, что должны делать солдаты, но никто из них еще не знает, что цветной карандаш командующего фронтом сегодня прочертил на карте красную стрелу, пронзил этой стрелой Рогачев, второй стрелой перерезал Быховское шоссе, третьей, совсем маленькой, окружил незаметную станцию Тошица, лежащую на могилевской дороге, в тылу противника. Стрелы эти пестрели на большой карте, обозначая путь дивизий, полков, батальонов, и за каждой стрелой, даже за самой маленькой, пронзившей Тошицу, вдруг вставали живые герои, те, кому надлежало привести в исполнение замысел командующего.

Командир лыжного батальона капитан Борис Коваленко тоже не знал о замысле командующего. Он тренировал людей, учил их лыжной премудрости — подъему «лесенкой» и «елочкой», захождению по дуге, объяснял, что такое «телемарк полуплугом» и какой поворот называется «христианией». Он любовался зимними пейзажами, слушал пушечную канонаду, читал газеты.



Бойцы и офицеры дивизии очень любили капитана Коваленко, потому что это был идеальный советский офицер. Высокий, мускулистый, стройный — настоящий спортсмен, Борис Коваленко закончил два института, школу снайпинга и парашютного спорта. Он уже дрался под Ленинградом и Брянском, был хладнокровен, отважен и дерзок...

16 февраля командир 5-й Орловской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова стрелковой дивизии Герой Советского Союза полковник Михалицын вызвал к себе командира лыжного батальона капитана Бориса Коваленко. Полковник спросил капитана о здоровье, внимательно выслушал доклад о состоянии лыжного батальона и скупой обронил:

— Надо, чтоб все было в порядке, батальон пойдет в рейд.

— Батальон готов к выполнению любой задачи, — твердо ответил капитан.

Потом полковник и капитан ездили на берег Днепра. Замаскировав машину, они долго стояли с биноклями на опушке леса, вслушиваясь в трескотню пулеметов, прикидывали на глаз ширину реки.

Днепр холодно блестел в крутом изгибе, на правом берегу взметывалась встревоженная взрывами земля, чуть виднелась полоска шоссе, а дальше темнели густые леса. Полковник смотрел на все это, поглядывал на раскрытый планшет, на почтительно молчавшего капитана, потом сказал:

— Через несколько дней я тут начну бой одним полком. Ваш лыжный батальон пойдет за спиной полка, скрытно перейдет Днепр и углубится в леса. Вы пройдете по тылам противника, взорвете в двух местах железнодорожную линию Рогачев — Могилев, овладеете станцией Тощица и отрежете рогачевской группировке противника пути отхода. Станцию Тощица вы будете

держать до прихода частей дивизии.

Полковник помолчал, еще раз взглянул на капитана, задержал взгляд на его юношески румяных щеках и сказал:

— Имейте в виду: это приказ генерала Рокоссовского. Ваш лесной рейд станет частью большой операции под Рогачевом. Подготовьте батальон и доложите свой план.

Коваленко приложил затянутую перчаткой руку к шапке и коротко ответил полковнику:

— Есть. Лыжный батальон выполнит приказ командующего.

Вечерами капитан Коваленко сидел над картой, набрасывая различные варианты маршрута, а днем отбирал людей. Он отобрал четыреста сорок человек, и это были самые отважные, умелые, ловкие люди, с которыми можно было идти куда угодно.

Когда люди были отобраны, заместитель командира батальона по политчасти капитан Барабаш стал проводить с ними беседы, объясняя важность задачи и ее значение для успешного проведения большой операции. Коваленко занялся подбором оружия. Он решил не брать станковых пулеметов, считая их громоздкими, зато отобрал тридцать два самых лучших ручных пулемета, шесть 82-миллиметровых минометов и триста шестьдесят пять автоматов. Выбрав удобное место на лесной поляне, капитан проверил оружие боем и выдал людям по два комплекта боеприпасов.

Потом он осмотрел белые маскхалаты, лыжи, узкие сани, на которых были установлены минометы, приказал отобрать две тысячи гранат, консервы, галеты, водку, вместе с радистом проверил походную рацию, компасы, взрывчатку и целый вечер подсчитывал, сколько груза придется нести каждому лыжнику. У него получилась огромная цифра — восемьдесят килограммов, почти пять пудов, и он начал сокращать список продовольствия.

Ввиду того что местность, на которой предстояло действовать, была в руках врага, Коваленко собрал офицеров и на карте разыграл с ними все движение и все возможные варианты боя за станцию Тощица. Кроме того, беседуя с местными жителями, он выбрал двух хороших проводников, связанных с партизанскими отрядами Полесья.

Каждую свободную минуту он проводил с бойцами. Он рассказывал им о сигнализации жестами, еще раз проверил их марши на лыжах, объяснил, как вести себя в том или ином случае; он подготовил их к любой внезапности и натренировал так, что по первому его сигналу четыреста сорок человек на ходу валились в снег, замирали, ползали по-пластунски, совершали невидимые сложные перестроения.

Наконец, когда все было обдумано, взвешено, рассчитано,

приготовлено, когда батальон повиновался ему, как послушный инструмент, он поехал к полковнику Михалицыну и доложил, что лыжный батальон готов к немедленному выполнению задания.

— Хорошо, — ответил полковник, — через два дня мы начнем операцию.

Операция началась в ночь на 21 февраля. Батальон Коваленко вышел на исходные позиции и замаскировался в лесу. Сюда, на лесную поляну, подвезли походные кухни, и бойцы, которым предстояло довольствоваться скудным сухим пайком, в последний раз отведали вкусного горячего борща.

Полк, который действовал впереди, перед рассветом начал штурм вражеских опорных узлов, по льду форсировал Днепр, маскируя скрытный бросок лыжного батальона, развернулся уступом вправо и стал теснить немцев на запад. Наши пушки били по правому берегу прямой наводкой, все кругом гремело, сверкало, отсвечивало яростными вспышками пламени.

Капитан Коваленко выслал в разведку лейтенанта Жукова, и тот через полчаса доложил, что правее нашего атакующего полка путь свободен. Капитан подвинул батальон правее и приказал форсировать реку, одним броском пересечь неширокое шоссе и немедленно углубиться в лесную чащу.

— Смотрите, — предупредил капитан, — ни одного выстрела, все делать бесшумно!

В шесть сорок батальон лыжников двинулся через реку. Немцы били по льду термитными снарядами, вокруг плясали голубоватые искры, и звонкие осколки разлетающегося льда тоже были похожи на пляшущие огни.

Ловко обходя торчащие из-под снега пни на вырубленной за шоссе просеке, люди Коваленко незаметно пересекли опасную просеку, миновали невысокий кустарник и скрылись в лесу.

В лесу движение замедлилось. На предрассветном небе мерцали неясные звезды, очевидно, день должен был быть солнечным. Слева и сзади грохотали пушки, но чем дальше шел батальон, тем тише становилась канонада и более резко шуршали четыреста сорок пар лыж.

Через полтора часа Коваленко остановил батальон. Уже совсем рассвело. Вверху розовели пышно убранные снегом кроны дубов и сосен. Над усталыми людьми вились облака пара. Где-то сзади глухо погромыхивали пушки, и от этого сильнее ощущалась благословенная тишина зимнего леса.

Батальон был в тылу врага.

Батальон — не песчинка. Ему трудно укрыться от вражеских наблюдателей, трудно пройти незамеченным, особенно в прифронтовой полосе, где нервы противника обострены до

крайности и где немцам чудится нападение со всех сторон. Капитан Борис Коваленко это хорошо знает и ведет свой батальон по лесам, соблюдая все меры предосторожности.

Лыжники идут молча. Изредка мелькнет комок снега — это кто-то шевельнул ветви ели. День солнечный, ясный, морозный. Вперемежку с голубоватыми тенями деревьев на снегу искрятся золотистые пятна, звонко потрескивают обледенелые стволы старых дубов.

Батальон идет в полном боевом порядке: впереди на расстоянии видимости движутся три парных дозора, вслед за ними — взвод разведчиков лейтенанта Жукова, слева и справа, держа связь с разведчиками, — два отделения лыжников с ручными пулеметами, такие же два отделения — в арьергарде. В середине — главные силы батальона во главе с капитаном Коваленко, который идет с группой связных. За капитаном идут четыре взвода автоматчиков, за ними — штаб батальона, радисты, саперный взвод, минометная рота, взвод ПТР, взвод резерва. Мелькают в лесу белые халаты лыжников, шуршат в снежных сугробах лыжи, где-то сзади, совсем глухо, словно дальний гром, звучит канонада.

Капитан Коваленко идет размашисто и ровно, как на прогулке. Он легко и незаметно перемещает вес тела на выдвинутую вперед лыжу, легко заносит палку, дышит свободно. Щеки его разрумянились, на белой ушанке серебрится иней. Капитан поглядывает по сторонам, на ходу осматривает людей: вот рядом с ним, запыхавшись, идет юный москвич Толя Горшенков, его бессменный ординарец, дальше, чуть ссутулясь и сердито посапывая, движется лейтенант Соловьев, еще дальше — маленькая санитарка, ее все зовут «ефрейтор Маруся»; справа — высокий пулеметчик сержант Луцинин, рядом с ним — лейтенант Лавреньев.

«Люди устали, — думает капитан, — надо отдохнуть. Кажется, впереди белеет поляна. Пересечем эту поляну и отдохнем».

Действительно стволы деревьев редеют, лес как будто раздвигается перед лыжниками, и уже хорошо видна широкая, покрытая волнистыми сугробами лесная поляна. Но что это? Сигнал дозорного! Четыреста сорок лыжников в одно мгновение ложатся в снег и замирают. Их почти не отличишь от снежных сугробов. Сразу наступает тишина.

Капитан Коваленко лежит на левом боку, сжимая маузер. Не шевелясь, он поднимает глаза и смотрит вперед. Впереди фыркает лошадь. На поляну выезжает всадник в немецкой шинели, голова окутана синей шалью, на шее болтается автомат.

Потом на поляне показываются четыре телеги. В телегах какие-то мешки. Сзади идут восемь солдат. Они курят, кашляют, бормочут что-то.

«Черт! — думает капитан. — Оказывается, по поляне проходит дорога; на карте она не обозначена, а разведчики из-за снега не разглядели ее...»

Пока капитан думает это, одна из телег застревает в сугробе, кони останавливаются, солдаты, кряхтя, толкают телегу. Эх, резануть бы их одной очередью! Нет, ни в коем случае, поднимется суматоха...

Капитан не спускает с дороги глаз. Вот из-за деревьев показывается легковая автомашина. Шофер сигналист, но телега загородила дорогу, кони скользят, падают. Дверца машины открывается. На секунду мелькает лакированный козырек увитой шнуром фуражки и слышится повелительный окрик. Наконец телеги двигаются дальше, за ними идет машина. На дороге пусто. Выслав вправо и влево дозоры, капитан приказывает продолжать путь.

Батальон бегом пересекает дорогу, втягивается в полосу мелколесья, обходит скованное льдом болото и снова исчезает в лесу. Уже второй час дня. На протяжении семи часов лыжники идут по глубокому снегу — надо, пожалуй, сделать привал. По знаку капитана люди останавливаются, садятся на снег, закуривают. Кто-то достает галеты, открывает банки с консервами. Все это делается в полном молчании. Ни звука.

Капитан Коваленко доволен: среди лыжников ни одного отстающего, люди бодрые, веселые; они знают свои силы, верят своему командиру и готовы выполнить все, что нужно, — это видно по их лицам, по тому, как быстро, ловко и охотно они подчиняются каждому сигналу.

Пока люди обедали, Коваленко приказал радисту сообщить в дивизию местонахождение батальона. Вскоре радист принял ответ: полковник Михалицын благодарит капитана и всех лыжников за умелое продвижение и предупреждает, что командующий фронтом лично следит за батальоном и приказывает овладеть намеченным пунктом во что бы то ни стало.

После часового привала батальон двинулся дальше. На пятом километре лыжники обогнули лесную деревню, в которой, как установили разведчики, был расположен немецкий полевой госпиталь. Тяжелые машины беспрерывно подвозили туда раненых, их укладывали на носилки и уносили в избы.

Когда лыжники огибали деревню, канонада стала гораздо громче, и Коваленко понял, что наши начали ту большую

операцию, о которой говорил полковник. Он понял и то, что внезапный захват Тощицы, лежащей на пути отхода немцев, сразу деморализует противника и посеет в его частях панику. Сознание важности всего происходящего радостно встревожило Коваленко и наполнило его сердце гордой уверенностью, что он и его люди выполняют приказ и захватят станцию Тощицу, чего бы это им ни стоило...

Солнце близилось к закату, и чем ниже опускалось оно к горизонту, тем более крепчал мороз. Тут произошло то, чего боялся Коваленко, хотя он и предвидел это: при движении батальона очень усилился шум. Чуть оттаявший за день снег подмерз тонкой коркой, лыжи с треском проламывали его, одеревеневшие от мороза полы маскхалатов громко шуршали.

К вечеру лыжники подошли к большому Быховскому шоссе и залегли на опушке леса. Боясь партизанских налетов, немцы вырубили лес по обе стороны дороги. Таким образом, батальону предстояло пройти совершенно открытое место в двести метров шириной, причем буквально на виду у немцев: по дороге беспрерывно пробегали вражеские грузовики, шли обозы, сердито урчащие тягачи тащили за собой дальнобойные орудия.

Пока лыжники, притаившись, отсиживались в лесной чаще, разведчики лейтенанта Жукова установили, что неподалеку дорога делает крутой поворот, образуя этим поворотом большую петлю, и что лес в этом месте подходит ближе к шоссе. Коваленко подвинул батальон правее.

Когда стемнело, лыжники стали пересекать дорогу небольшими группами. Переход шоссе почти заканчивался и, казалось, никаких неприятностей не будет. Коваленко подошел к шоссе одним из последних. Вместе с ним шел радист, волочивший за собой сани с походной рацией. Переход прикрывало отделение пулеметчиков.

В то мгновение, когда Коваленко и радист вышли на дорогу, раздался шум мотора и на шоссе вылетел немецкий мотоцикл. Он приближался с бешеной скоростью, освещая дорогу ослепительно ярким пучком прыгающего света. Коваленко и радист легли в кювет. На секунду осветив их и обдав бензиновым перегаром, мотоцикл пронесся дальше, немец так и не заметил лыжников, лежавших у самой дороги.

После того как шоссе осталось сзади, люди прошли еще около километра, но дальше идти на лыжах было невозможно: люди натыкались в темноте на кусты, цеплялись лыжами за высокие, засыпанные снегом болотные кочки, падали. Коваленко остановил батальон и приказал снять лыжи. Лыжи были сняты, бойцы привязали их за спиной и двинулись дальше.

Капитан Коваленко вел батальон по азимуту. Теперь он шагал впереди, вместе с разведчиками, стараясь не сбиться с дороги. Он шел не очень быстро, в ровном, хорошем темпе, часто поглядывал на светящиеся стрелки компаса, вслушивался в оружейные залпы, в ночные звуки, по которым можно было определить направление: вот послышался далекий гудок паровоза, где-то правее залаяли собаки, потом один за другим раздались два выстрела, очевидно, стрелял какой-то перетрусивший немец-часовой.

Шли до одиннадцати часов ночи. Люди устали. Они двигались гораздо медленнее, тяжело дышали, иногда опускались на четвереньки, разгребали сугробы и, мучаясь от жажды, ели снег. Был шестнадцатый час их пути. Плечи ныли от груза, ноги горели, колени подгибались от усталости и напряжения. На коротком привале Коваленко разрешил бойцам выпить водки.

Пока бойцы отдыхали, вернулись разведчики. Лейтенант Жуков, сбив шапку на затылок и вытирая варежкой пот на лбу, доложил:

— Впереди железная дорога. Она расположена на болоте: там высокая насыпь. Перед насыпью лес вырублен полосой в двести метров. Спиленные деревья уложены рядом, ветвями в сторону леса. Перед засекой фанерные щиты с надписью о запретной зоне.

— Какая охрана? — спросил капитан.

— На насыпи канониры, менаду канонирами туго натянута проволока со звонками. Часовые ходят по полотну на расстоянии трехсот метров один от другого.

— За время, пока вы наблюдали, часовые никуда не отлучались?

— Один раз они сошлись вместе и заскочили в землянку погреться.

— Надолго?

— Минут на десять...

Капитан поднимает батальон и ведет его к дороге. Вот впереди белеет покрытая снегом насыпь. Саперы беззвучно режут проволоку со звонками. Люди по-пластунски ползут по просеке. Выбрав место подальше от часового, капитан приказывает переходить насыпь. Люди ползут группами по два-три человека, принося к снегу.

Наибольшая возня с минометными установками: впрягшись в ляжки, минометчики ложатся на снег и тащат сани по крутому склону насыпи. Только бы наверху не заметили! Нет, Коваленко может гордиться своими бойцами: четыреста сорок человек в абсолютном безмолвии, как белые призраки, пересекают насыпь под самым носом у немецких часовых.

Миновав железную дорогу, батальон переползает вторую просеку и углубляется в лес. Тут капитан приказывает оставить лыжи, они только мешают, болтаясь за плечами. Бойцы разгребают снег, четырьмя ровными рядами укладывают лыжи и палки и засыпают их снегом.

— Станция Тощица в полутора километрах, — докладывает лейтенант Жуков. — Сейчас я посылаю людей в разведку.

«Он, этот Жуков, отличный малый, — думает капитан, — и разведчики его работают хорошо...»

Пока Жуков со своими людьми вел разведку, Коваленко приказал радисту связаться с дивизией и сообщить полковнику координаты батальона. Близился рассвет. Гул канонады становился слышнее, слева доносилось шипение паровозов.

Через полчаса радист передал ответ полковника Михалицына: «Командующий фронтом генерал армии Рокоссовский и командующий армией генерал-лейтенант Горбатов объявляют всему личному составу лыжного батальона благодарность и предлагают командиру дивизии представить участников рейда к наградам. Командующий фронтом приказывает: временно занять оборону в указанных координатах, вести неослабное наблюдение за станцией Тощица, взорвать железнодорожное полотно севернее и южнее станции, заминировать дорогу Тощица — Дедово и ждать дальнейших распоряжений».

От себя полковник прибавлял, что один из полков его дивизии сейчас наступает на Осиповку и вместе с другим полком будет пробиваться к Тощице. Полковник просил хорошо подготовиться к внезапному захвату Тощицы, о чем сегодня же будет передан по радио особый приказ...

Батальон Коваленко притаился в лесной чаще. Разведчики доложили капитану, что на станции Тощица имеется около полка вражеской пехоты, артиллерия и танки и что, кроме этого, через станцию проходят эшелоны с войсками и снаряжением. У станционного депо стоит бронепоезд, который время от времени курсирует в северную и южную стороны.

Выслушав все это, Коваленко отобрал три группы бойцов и отправил их с приказом взорвать полотно по обе стороны Тощицы и заминировать дорогу Тощица — Дедово. Потом он выбрал позиции минометчикам, долго лежал в кустах, осматривая в бинокль станцию, и, затаив дыхание, слушал, когда раздадутся звуки двух больших взрывов. Через два с половиной часа взрыв большой силы потряс воздух, и капитан с облегчением подумал: «Южная группа». Он терпеливо ждал второго взрыва, но его почему-то не было: очевидно, подрывники напоролись на

немецкий патруль или не смогли выйти к полотну...

Время тянулось очень медленно. Сквозь ветви дубов, сосен и елей белело похожее на снег зимнее небо. Бойцы молча сидели и лежали на снегу или переговаривались приглушенным шепотом. Шли вторые сутки скрытного пребывания батальона в тылу врага, нужно было хранить гробовое молчание, это напрягало нервы до крайности. Некоторые бойцы, не выдерживая напряжения, валились в сугробы и сейчас же засыпали. Им давали поспать четверть часа и будили по приказу капитана.

Пушечная канонада приближалась. Во второй половине дня радист принял приказ полковника, где говорилось: «336-й полк овладел Осиповкой и находится в восьми километрах от станции Тощица; командующий фронтом приказывает батальону захватить Тощицу к трем часам ночи и удерживать ее до подхода 336-го полка».

Потом вернулись подрывники. Первая группа доложила, что полотно южнее станции взорвано, а второй группе не удалось пробраться к насыпи, так как напуганные взрывом немцы выслали на линию усиленные патрули. Разведчики сообщили, что на станцию прибыл огромный эшелон с боеприпасами. Капитан по радио передал об этом в дивизию. Через сорок минут над станцией появились четыре наших бомбардировщика. Они сбросили бомбы, зажгли эшелон и обстреляли станцию из пулеметов.

Капитан собрал офицеров, указал им на местности исходные рубежи для атаки и сказал:

— Захват Тощицы начинаем в час ночи. Сигнал — очередь транссирующих пуль в направлении станции. Действовать смело и решительно. Меньше бесцельной стрельбы и больше дерзости.

Роты автоматчиков заняли исходные рубежи, когда совсем стемнело. Люди подобрались почти к самой станции. Там догорал эшелон, слышались свистки, крики, ругань. Небо озарялось вспышками близких оружейных залпов.

Ровно в час ночи капитан Коваленко, который лежал в кустарнике близ семафора, поднял автомат и нажал спусковой крючок. Захлопали частые выстрелы, зелеными точками сверкнули транссирующие пули. И сразу со всех сторон загремело, затрещало. Ночную темень прорвали вспышки огня. С воем понеслись мины.

Люди бежали к станции с трех сторон. Между рельсами суетливо забегали немцы. Автоматчики расстреливали их в упор. Со звоном полетели стекла в окнах вокзала. Загорелся какой-то киоск. Капитан Коваленко бежал вместе с другими; он стрелял, смотрел, как, нелепо взмахивая руками, падают гитлеровцы, что-

то кричал. И вот уже бой перекатывался куда-то за водокачку, гремел в станционном саду, бушевал вокруг отдельных домов. Ошеломленные внезапно, фашисты панически бежали, бросив пушки, несколько танков, обозы и склады. В три часа ночи капитан Коваленко передал по радио сообщение, что станция Тошица согласно приказу командующего захвачена батальоном, а утром лыжники Коваленко встретили первых разведчиков 336-го полка.

Гитлеровцы пытались вновь овладеть Тошицей, но безуспешно. Днем подошел 190-й полк с артиллерией, и все атаки немцев были отбиты. Пути отхода рогачевской группировки противника были перехвачены и отрезаны.

Все участники лесного рейда были награждены. Отважный капитан Борис Евгеньевич Коваленко получил звание майора и был удостоен самой высокой награды — звания Героя Советского Союза. Так закончился смелый рейд лыжников в засыпанных снегом лесах белорусского Полесья.

•

ВЕЛИКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ



Слово о коммунисте

Века пройдут, и лучше и чище станут люди, и шар земной будет жить по-иному — радостно и светло. Никто не услышит тяжких стонов земли, не обогрит золотые нивы человеческой кровью. И дальние наши потомки преклонят головы перед памятью людей-героев, людей особого склада, жизнь свою посвятивших тому, чтоб добыть человечеству счастье.

Коммунистическая партия большевиков! Ты, рожденная на нашей земле, одухотворенная гением Ленина, в суровых боях вырастила коммунистов, людей-героев, ты озарила светом истины их ум, ты вложила в их грудь пылающее сердце борца за человеческую правду, за право человека на счастье и радость.

Право на счастье надо добыть, завоевать надо это право. В невиданно грозных боях, сквозь зарева пожаров, в громах и бурях большой войны, боец-коммунист сражается с черным фашистским вороньем. Верный великому знамени партии, ведет коммунист за собой тысячи тысяч бойцов. Как герой, коммунист, побеждает, и умереть может так, как умирает только герой. Тяжела и позорна для воина рана в спину, почетна и благородна рана в груди, — грудью идет коммунист на врага и, если встречается свой смертный час, — падает головой вперед...

Может, в Калуге еще не знают о том, как на Мертвом Донце умирал политрук Кистенев, кромсая гранатами злобную фашистскую сволочь.

Может, в Херсоне еще не знают, как в Донецких степях умирал коммунист Спиридон Потарский, как жаркая кровь его пробитого сердца обогрила партийный билет... Узнают о них и в Калуге, и в Херсоне и по всей советской земле.

Во веки веков прославит наша земля их имена. Вечно будут дивиться их подвигам наши потомки.

Слава им, — жизнью своей, кровью своей, победой своей добывающим человечеству счастье!

«Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков).

Партийный билет № 1763124.

Фамилия — Левченко.

Имя и отчество — Гавриил Семенович.

Год рождения — 1902.

Время вступления в партию — 1926 год»...

— Нет... ни за что... лучше погибну, но останусь коммунистом...

Морщась от боли в руке, батальонный комиссар Левченко

положил партбилет в левый карман запыленной, окровавленной гимнастерки и аккуратно застегнул пуговицу. Можно идти. Но куда идти? Куда вести одиннадцать оставшихся в живых командиров и бойцов? Кругом враги. Вечерело. Степь еще дымилась. То здесь, то там в сухом, пожелтевшем бурьяне вспыхивали языки пламени. Грохотала удаляющаяся на восток канонада. На черном бруствере развороченного вражескими танками окопа, запрокинувшись навзничь, лежал мертвый красноармеец. Из правого уголка его полуоткрытых губ медленно стекала по щеке струйка крови.

Левченко оглядел сидевших рядом с ним товарищей.

— Пошли.

Молоденький политрук с безжизненно откинутыми ногами — ноги попали под гусеницу танка — открыл глаза:

— Куда пошли?



— На восток, — угрюмо ответил Левченко, — сейчас вражеские бронемашины и мотоциклисты будут прочесывать место боя. Надо идти.

— Но ведь мы окружены.

— Да, окружены. Будем пробиваться. Как у нас с оружием?

Подсчитали. На одиннадцать человек — тяжело раненный политрук не мог помочь, он часто терял сознание — оказалось двадцать гранат, шесть винтовок и четыре пистолета.

Подняв раненого политрука, пошли направо, туда, где на фоне чистого осеннего неба темнели скирды соломы. Под скирдами сидел сивоусый, сгорбленный старик. Левченко тихо спросил:

— Наших видел, папаша?

Старик, кряхтя, поднялся и долго — снизу вверх — смотрел на высокого, широкоплечего Левченко, потом махнул рукой:

— Наши апосля бою на Подгороднее подалися.

— Так... — Левченко подумал. — Папаша, а нельзя ли у вас тут одного раненого спрятать? Ноги у него перебиты. Только, чтоб уберегли его от немцев и полечили.

— Это можно, сынок, — вздохнул старик, — ведь вы, чать, возвратитесь скоро?

— Вернемся, папаша, — Левченко обнял старика. — Скоро вернемся. Обязательно вернемся...

Они брели степью в полной форме, даже не снимая знаков различия. Они ползли по выжженным кукурузным полям. Пробирались через курганы и плавни. Прятались в глубоких воронках, в копнах, в канавах. Переплывали реки. И все шли на восток, туда, где всходит солнце. К своим.

Они — десять коммунистов и один беспартийный — пробирались с боями. Лежали в засадах. Перерезали провода вражеских телефонов. Забрасывали врагов гранатами, в упор расстреливали из винтовок и пистолетов, душили часовых слабеющими от голода руками.

Да, они голодали. На их фуражках алели красные звезды, на воротниках гимнастеров алели петлицы советских командиров. Они не могли заходить в хутора и села, занятые врагами. Над ними светило негреющее осеннее солнце...

Однажды утром они набрали на покинутый огород, окруженный зарослями терновника. На кочанах капусты серебрился иней. Ягоды терна привяли — на них блестели золотистые капельки клея и трепетала тонкая паутина. Над кустами кружилась одинокая пчела.

Они легли в кустах и стали есть капусту и терн. Не унывающий, веселый красноармеец Григорьев, раздвигая пожелтевшую, с красными прожилками лебеду, нашел проклеванный воронами арбуз. Съели и арбуз.

Левченко, лежа на боку, перевязывал раненую руку. К нему подошел ефрейтор — маленький, сухощавый брюнет. Ефрейтор долго следил за неловким движением левой руки Левченко, потом опустился на колени и, перевязывая Левченко руку, сказал:

— Товарищ комиссар. Может, мы закопаем здесь свои партбилеты и... пойдем в село? Не могу я больше. Ведь мы подохнем с голоду.

Левченко дернул из рук ефрейтора бинт. По грязному бинту расплылось багровое пятно крови.

— Сволочь ты, а не коммунист, — тихо, преодолевая боль, сказал Левченко, — падаль ты.

И, затянув зубами конец бинта, встал:

— Пошли, товарищи!

Немцы охотились за ними днем и ночью. Десятки раз окружали их, засыпали сотнями пуль — они все шли. На пятые сутки немцы убили лейтенанта, потом двух красноармейцев, потом еще троих. Осталось пятеро. Эти пятеро шли вперед. На восток.

На девятые сутки у Левченко пошла горлом кровь. Он закрыл рот забинтованной рукой, и искоса поглядывая на товарищей, боясь, чтоб они не заметили, ускорил шаг. «Неужели не выдержу? — с тоскливой злобой подумал он. — Неужели не выведу их?..» Голова у него кружилась, вместе с кровью изо рта текла густая, противная слюна. Ему показалось, что он идет сквозь узкий строй врагов и его избивают палками.

Он пробился и вывел товарищей — трех коммунистов и одного беспартийного, который, впрочем, в пути подал заявление о приеме в партию. Выйдя к нашим, Левченко горделиво, приложил руку к фуражке:

— Да, да, свои. Я батальонный комиссар...

Морской сокол

В старом роду Нихаминых никто не видел моря: прадед Давид торговал бубликами на витебском базаре, дед Гирш — его знал весь сурожский тракт — был искусным печником, отец Ефим шил сапоги. Только маленький Давид, правнук Давида Нихамина, решил во что бы то ни стало стать моряком, и не просто моряком, а летчиком морской авиации.

Шли годы. Давид Нихамин перепробовал много профессий: был слесарем на водокачке, токарем, инструментальщиком, переменил четыре места службы и везде мечтал о вольных полетах над морем. Широкоплечий, коренастый, с крепкими ногами, с огромными кулачищами, он свободно выжимал четыре пуда, ломал ключом любые винты и был застенчив, как девушка.

«Хочу быть морским летчиком», — упрямо твердил он товарищам. Товарищи вышучивали его мечту, старые заводские мастера урезонивали пылкого мечтателя, но Давид был тверд.

Мечта его стала осуществляться в 1933 году. В сентябре того года двадцатилетний комсомолец Давид Нихамин был направлен в школу морских летчиков. Первый полет оставил в его памяти неизгладимый след: покрытая сыпучим снегом белая степь внизу, темные домики, узкая ленточка дороги — все это было похоже на давнюю отроческую мечту. Не было только моря. Но и море он увидел.

Это было в Евпатории, куда его назначили. Он стоял на берегу синего моря, подняв голову, смотрел вверх, а вверху, между морем и солнцем, вился голубой истребитель с белыми молниями на крыльях. Голубой истребитель, казалось, купался в воздухе, сверкал в каскаде великолепных иммельманов, петель, штопоров, бочек.

— Кто это? — восхищенно спросил Нихамин.

— Командир эскадрильи Иван Васильевич Шарапов, — ответили летчики.

Проходили дни, недели, месяцы, и уже сам Нихамин стал летать не хуже виртуоза Шарапова: неумной, безграничной и горячей любовью полюбил он Черное море с его голубыми просторами, с его золотым сиянием по утрам, с его крепким запахом.

Первый день войны застал Давида Нихамина в Севастополе. Прослушав по радио речь Молотова, молодой летчик твердо зашагал к своему самолету, взял снежно-белую краску и собственноручно написал на борту: «За Родину! За Сталина!».

Особая группа генерала авиации Ермаченкова, куда попал

Давид Нихамин, действовала на морских коммуникациях и прикрывала корабли по линии Севастополь — Одесса. Черноморским летчикам-истребителям пришлось летать и на штурмовку и даже на бомбежку. Второго сентября 1941 года Давид сбил первого «мессера». Приземлившись на аэродроме, он сел в машину и поехал к месту гибели вражеского самолета. «Мессер» еще дымился. Неподалеку, раскинув руки, лежал немец-пилот. «Я сильнее его, — подумал Нихамин, — и я еще встречусь с ними...»

Встречаться с немцами ему довелось не раз. Наступили горячие дни обороны черноморских портов — Одессы, Севастополя, Новороссийска. Точно гордые демоны бури носились над родным морем летчики-истребители, и среди них — один из самых славных — капитан морской авиации Давид Нихамин. В течение жаркого лета, первого лета большой войны, Нихамин сбил шесть немецких самолетов. Орден Ленина и орден Красного Знамени сверкали на синем кителе летчика, а он оставался таким же молчаливым, застенчивым, скромным.



Дымом и порохом пахли ночи над Севастополем. Давид спал на земле, рядом с верной машиной, и по тревоге за полторы минуты поднимался в воздух. Уже козырек его самолета был пробит немецкими пулями, но зато на фюзеляже красовались шесть алых звезд — число сбитых вражеских машин.

Седьмую звезду Нихамин нарисовал у Бильбека. Там он прошил немца длинной очередью. Восьмая звезда заалела на фюзеляже после того, как Нихамин поджег немецкий самолет над Николаевским бастионом, а девятая — после боя над Балаклавой...

Когда немцы зажгли машину Давида над открытым морем, храбрый летчик долго маневрировал в глубоком скольжении, а потом в горящей одежде выбросился с парашютом. Там, на морских волнах, его подобрал быстроходный катер. С этого дня на щеки и лоб Нихамина легли бронзовые шрамы ожогов, только вокруг глаз белел чистый овал, — спасли очки! — точно светлая карнавальная маска, которая никогда не снималась.

Профессор Адамов спас жизнь Нихамина и вскоре майор снова взлетел над Черным морем. В первом же после госпиталя бою он сбил очередной вражеский самолет.

— Что ж, — сказал Давид, — жизнь идет, война продолжается. Открываю счет второй десятки. Мы люди, как говорится, нескупые. У фрицев нет никаких оснований жаловаться на меня...

Дорогой к Ростову

Я иду степью. Иду туда, где синее мой любимый город. Я смотрю на крыши далеких домов, на тонкие линии уходящих вверх знакомых улиц, и тяжелая злость сжимает сердце. Там, в моем городе — враг.

Степь кажется мертвой. Шумят осыпанные инеем камыши. Остро блестят ледяные круги озер. Оборванные телеграфные провода тоскливо гудят. Степь молчит. Но я знаю, что в этом молчании — великий гнев и тревога близкого боя.

Кривая тропинка вдоль насыпи шоссейной дороги изрыта воронками немецких бомб и усеяна трупами коней. Они, эти мертвые кони, — рыжие, гнедые, вороные, — валяются с откинутыми ногами, с оскаленными зубами и тусклыми, белыми, как иней, глазами.

Степь кажется мертвой. Но над степью несутся оглушительные громы. Где-то вверху грозно гудят снаряды. Это наша тяжелая артиллерия громит врага.

Я смотрю на Ростов. Над городом расплзаются черные столбы дыма; зловещие, тяжелые, они стелются по лощинам и покрывают дома темной пеленой.

Наши войска начали наступление. Они подвигаются к родному городу, охватывая его со всех сторон, зажимая немцев в клещи, неуклонно идя на сближение с хищным врагом. И я знаю, что я в степи не один, и сердце радостно бьется — мы идем в город! Скорее, товарищи, скорее!



Резко жужжат немецкие мины. Надо ложиться. Опускаюсь на

бок и ползу по овражку, поросшему сухим камышом. Под коленями потрескивает сторник. Справа, у моста, звонко стучат о лед мерзлые комья развороченной минами земли. Ползу дальше и слышу негромкий окрик:

— Стой, кто идет?

Со всех сторон ко мне ползут люди. Румяные от мороза, оживленные, крепкие, они окружают меня, словно встают из-под земли. Всматриваюсь. Люди сжимают автоматические винтовки, за поясом у них гранаты.

— Кто вы? — спрашивает меня человек с пистолетом в руке.

Коротко отвечаю, предъявляю документы. Спрашиваю, как мне пройти к переднему краю части полковника Чувашева. Человек с пистолетом спокойно объясняет, прощается со мной и внезапно исчезает вместе со своими людьми.

В воздухе урчат вражеские истребители. Вот они мчатся через фронт к селениям Б. и К., разыскивая расположение нашей артиллерии. Ухают зенитные пушки. Откуда-то из-за облаков вырываются наши ястребки. Сухо стучит пулемет. Объятый пламенем «мессершмитт», прочертив в воздухе огненную линию, летит вниз. Второй заметался, ринулся было назад, но, зажатый ястребками, сдался в плен.

Вот и передний край нашего участка. Отсюда видны, как на ладони, темные, разбитые дома на правом берегу, обнаженные деревья, редкие фигуры пробегающих вдоль заборов немцев.

Земля дрожит от орудийных залпов. Над рекой взметываются столбы дыма. Пригибаясь на пригорке, вхожу в узкий окоп. Вот они, наши бойцы, молчаливые, суровые люди, одетые в походные шинели. Они стоят, зорко всматриваясь вперед. Рядом со мной невысокий коренастый крепыш в ушанке.

— Откуда вы, товарищ? — интересуюсь я.

— Ставропольский.

— Ну как, вышибем немцев?

Крепыш в ушанке усмехнулся.

— Ждем приказа. Нам лишь бы подобраться к немцу поближе, тут ему и амбей настанет.

— А подберемся?

— Подберемся, — уверенно говорит крепыш.

Вхожу в блиндаж. Он сооружен на славу: стены выложены толстыми бревнами и диким камнем; в углу раскаленная печурка; по бокам нары со свежим сеном; на стенах портреты маршалов, плакаты. Темновато. Узкие смотровые щели, прикрытые стеклами, отбрасывают скупые полосы света. На нарах сидят и лежат отдыхающие бойцы и командиры.

Тихо. Почти никто не разговаривает. Все вслушиваются и

понимающе переглядываются друг с другом. Слева и справа уже идет бой. Соседние соединения форсировали реку и бросились в атаку. Приглушенно поет телефон. Худощавый связист в расстегнутой шинели быстро и четко произносит зашифрованные позывные и движением руки подзывает высокого командира.

— Да, да, — говорит командир, — хорошо. Готовимся, — и, повесив трубку, сообщает: — Станица Аксайская взята нами. Немцы бегут. Приказываю готовиться.

И все, кто сидит в блиндаже, поднимаются, словно каждый уже сейчас, сию минуту готов идти в атаку. И я понимаю, что все они, эти простые, мужественные люди действительно готовы задушить врага.

Пригнувшись в низкой дверце, в блиндаж входит комиссар Рубежанский с карабином и свертком бумаг. Кидает бумаги на шаткий деревянный столик, сердито говорит:

— Не дали дописать, черти. Шарахнули миной, половину стены вырвали. Придется дописывать здесь.

— Значит, хорошо бьют?

— Наши лучше, — уверенно говорит комиссар, и, присев на нары, спрашивает: — Помните деревянные киоски на Буденновском проспекте, у пристани?

— Конечно!

— Ну, так вот: заметил я, что из этих киосков дымок идет. «Ага, — думаю, — значит, забрались туда, голубчики». А рядом, вижу, соорудили накат из камней. Понаблюдал. Ясно — оттуда лупят минами. И решил я показать, кто лучше бьет. Позвонил минометчикам, объяснил, в чем дело, и сижу, на киоски поглядываю, жду. Стукнули минометчики, за один раз — вдребезги. И киоск, и накат полетели в воздух.

Темнеет. Выхожу из блиндажа и, прижавшись к стене, смотрю на Ростов. Город светится в багровом зареве пожаров. Ветер несет к западу густой дым. Сверху падают хлопья пепла, и кажется, будто идет черный снег. Пахнет гарью. Слева и справа неумолимо стучат пулеметы. Наступление началось. Я знаю: сейчас через реку кинутся наши полки. Сердце сильно бьется — никогда в жизни мне не приходилось испытывать такого захлестывающего, такого жаркого чувства мести.

В багровом небе нежно светятся робкие звезды. Внизу длинной ледяной полосой поблескивает Дон — боевая дорога на Ростов. Над городом взвиваются вражеские ракеты; они долго висят на парашютах, освещая дома, реку и степь. Враг боится ночи, боится моих товарищей в походных шинелях, людей, которые сейчас встанут и понесут немцам смерть.

Зеленый остров. Старые деревья с размытыми корневищами. Редкие кусты терновника и свербиуса. Просмоленные днища баркасов. Белые и синие киоски на пляжном песке. Каменистый шлях с телеграфными столбами. И Дон — прославленная в песнях река.

Ранней весной, когда пахнет влажной землей и корнями, сюда приходят мужчины и женщины с лопатами, мотыгами, вилами. Протянув между двумя колышками туго натянутый шпагат, они старательно выравнивают линии будущих грядок и начинают работать: и вскоре прибитая буйными дождями земля покрывается черными квадратами огородов.

Весенними зорями сидят заядлые рыболовы с тростниковыми удилищами. А когда горячее степное солнце прогреет желтые донские пески, сюда устремляются шумные ватаги ребятишек; загорелые, горластые, озорные, они носятся по берегу, плещутся в воде, поют...

Никто из ростовчан не мог предполагать, что в ноябре 1941 года здесь, на Зеленом острове, разыграются события, которые во многом будут решать судьбу Ростова.

Как известно, в первых числах ноября семь немецких дивизий, в составе которых были три танковых и одна эсэсовская, прорвали фронт и ринулись на Ростов с севера и с запада. Долго держались наши полки, отражая атаки фашистов, но силы врага прибывали.

Пасмурным холодным вечером полки Красной Армии получили приказ отойти на левый берег Дона. И тогда перед командованием встал вопрос о Зеленом острове. Это место нужно было защищать во что бы то ни стало. Захватив остров, немцы получили бы возможность фланкировать огнем все важнейшие переправы через Дон в зоне Ростова и подготовить отсюда бросок на Батайск. Кроме того, Зеленый остров был самым удобным местом, наиболее близким к правому берегу: отсюда можно было начать наступление на занятый немцами Ростов.

И когда немцы приблизились к городским предместьям, командование армии решило отстоять Зеленый остров. Сюда нужно было направить одну из самых крепких и выдержанных частей. Выбор командования пал на полк войск НКВД.

Этот полк вырос в Ростове. Двадцать два года назад, когда

молодая Советская Республика боролась с врагами, в Ростове была создана небольшая команда верных революции воинов, вооруженных берданками, старыми винтовками, револьверами. Эта команда положила начало истории славного чекистского полка. С тех пор прошло много времени. В борьбе с махновцами, с террористами-кулаками и разной бандитской нечистью окрепла и закалилась часть, позже превращенная в полк войск НКВД.

Вот этому-то полку, воспитанному в суровых боевых традициях, и суждено было защищать Зеленый остров, прикрыть отход наших частей и обеспечить плацдарм для наступления на Ростов.



Двадцать первого ноября после боевых операций у аэродрома (в поселке Фрунзе) и у завода «Красный Аксай» полк получил приказ отойти на Зеленый остров и занять оборону по левому берегу Дона.

Наступил вечер. Спустившись по Двадцать девятой линии, полк начал переправляться на Зеленый остров. Люди шли медленно, молчаливые, нахмуренные. Вверху, за спиной, оставался родной Ростов.

У переправы, там, где высился элеватор и темнели корпуса мельницы, стояла небольшая группа: командир полка подполковник Демин, комиссар полка батальонный комиссар Школьников, начальник штаба капитан Исаев и несколько адъютантов. Шумел ветер. Слева виднелись мрачные громады домов, внизу светлой полосой тянулся Дон. По узкому, деревянному настилу проходили бойцы — один за другим.

Вдруг совсем близко, где-то между кирпичными стенами мельничных корпусов, взвилась ослепительно яркая белая ракета, сразу выхватив из темноты вереницу телег, лошадей, серые

шипели бойцов, группу командиров у элеватора. И вслед за этим загремели выстрелы и засверкал огненный дождь трассирующих пуль.

— Ускорить переправу, — приказал командир полка.

Застучали конские копыта, заскрипели телеги. Люди пошли торопливым шагом, по-прежнему молчаливые, хмурые. Одна из рот залегла у проходящей вдоль берега железнодорожной линии и стала отстреливаться.

Вот уже проходят последние отделения. Полк на Зеленом острове. Ростов оставлен. И у каждого в сердце: «Ненадолго!»

2

Переправа закончена. Остается взорвать мост. Откуда-то из темноты выходят саперы. Но неожиданно в трескотню автоматов и частую дробь пулеметов врывается оглушительный грохот танков. По крутому спуску Двадцать девятой линии прямо к переправе несутся немецкие танки. Громяхают пушки, скрежещут по торцам гусеницы, высекая из камней снопы искр.

Подполковник Демин и комиссар Школьников, миновав рощу и пропустив бойцов, останавливаются.

— Неужели саперы опоздают? — сквозь зубы говорит подполковник.

— Черт его знает, — пожимает плечами комиссар, — надо следить.

Стоя плечо к плечу, они вглядываются в темноту и прислушиваются — не раздастся ли взрыв? Но гремят выстрелы пушек, трещат автоматы, трассирующие пули вычерчивают тонкие светящиеся линии, а взрыва нет. Грохотание танков слышится внизу, у самой переправы.

Подполковник нетерпеливо подергивает наплечный ремень.

— Если через минуту саперы не взорвут переправу, на остров ворвутся танки.

— Да.

И хотя темнота полна шума и грохота, кажется, что стоит гробовая тишина. Взрыва нет. По деревянному настилу моста, глухо урча, ползут танки. Саперы не успели взорвать переправу.

Подполковник резко поворачивается к связному:

— Передайте по батальонам: немедленно залечь в окопах.

В роще шумит ветер. Тяжело охает земля. Полк залегает в окопах.

Двенадцать немецких танков врываются на Зеленый остров.

Появление немецких танков на острове поставило полк в

тяжелое положение. Контролируя уцелевшую переправу, вражеские танкисты обеспечивали подход своей пехоты, что неизбежно вело к падению острова. В полку не было ни артиллерии, ни противотанковых ружей, ни бутылок с горючим. Оставалась последняя надежда на гранаты. Но и гранат было очень мало.

Подполковник Демин и комиссар Школьников решили отвести часть полка на левый берег Дона, а часть оставить на острове для наблюдения за переправой.

— Если у переправы появятся автоматчики — уничтожить их, — приказал подполковник, — одни танки еще не беда.

— Связаться бы с артиллерией, — сказал комиссар.

Однако с артиллерией связаться было очень трудно. Так как происходил отход из Ростова, наши батареи меняли позиции и снимались с места. Исход борьбы с танками решался теперь хладнокровием и бесстрашием бойцов, засевших на острове. Нужно продержаться до утра — к рассвету артиллерия обнаружит вражеских танкистов и начнет их расстреливать.

Между тем, пока часть полка отходила на левый берег, а часть залегла в подготовленные уже окопы, вражеские танки рыскали по острову, стреляя из пулеметов и пушек. Темная ночь мешала немцам. Танки подвигались медленно. Слышно было, как под их гусеницами ломались деревья и трещал неокрепший лед. По движению танков можно было понять, что немцы на ходу щупают расположение окопов, чтоб развернуться вдоль и расстрелять бойцов.

Комиссар Школьников, спокойный, хладнокровный человек, продвигаясь на ощупь, спустился в один из блиндажей, где сидели красноармейцы. В блиндаже темно. Неподалеку, у дороги, остановился один из танков. Сейчас он ринется на блиндаж — очевидно, обнаружил.

— Гранаты есть? — кинул комиссар в темноту.

— Есть, товарищ комиссар.

— Сколько?

— Девять.

— Вот возьмите еще, сделайте две связки.

Передавая гранаты, комиссар оставил одну и сунул ее за борт шинели.

Танк, стоящий у дороги, не пошел к блиндажу. По скрежету его гусениц бойцы поняли, что он двинулся к переправе. К блиндажу подполз связной.

— Товарищ комиссар, на правом берегу, в элеваторе, засели немецкие автоматчики. И внизу собираются. Как видно, думают пробираться на остров.

Передайте пулеметчикам, чтоб обстреляли элеватор и подступы к переправе.

— Есть, — коротко ответил связной и исчез так же бесшумно, как и появился.

Застрекотали пулеметы — один, другой. На правом берегу тихо. Идут томительные минуты. Слышно, как стреляют танки. Скорее бы наша артиллерия обнаружила их. Подполковник послал людей разыскать штаб дивизии и сообщить о танках.

На рассвете наши батареи начали обстрел Зеленого острова. После первых же выстрелов вражеские танки ринулись к переправе и, оставив остров, ушли в город. На остров прибыло подразделение с противотанковыми ружьями. Теперь надо было разместить командный пункт полка. Подполковник и комиссар, оглядев в предрассветной мгле неясные очертания местности, остановили выбор на домах в южной окраине острова.

Это был маленький заводик скобяных и металлических изделий — единственное более или менее крепкое сооружение. Когда-то раньше завод вырабатывал несгораемые кассы. Тяжелые, неуклюжие, они попадались здесь на каждом шагу.

— Ого, — засмеялся подполковник, — да мы этими кассами можем забронироваться вовсе.

— Правильно, — поддержал комиссар.

Красноармейцы втащили несколько несгораемых касс на второй этаж и ловко забаррикадировали ими одно из окон, оставив длинные смотровые щели. Отсюда, из этого бронированного гнезда, весь правый берег виден, как на ладони. Здесь командир полка устроил свой наблюдательный пункт.

В течение короткого времени бойцы принесли в контору солому, втащили железные койки (тоже продукция завода), установили маленькую железную печь. В небольшом помещении пожарного депо, стоящем посреди заводского двора, подготовили санитарный пункт для приема раненых. Правда, с полком не оказалось врачей, но нашлись люди, которые охотно стали оказывать раненым первую помощь. Это были две женщины. Одна из них — Лидия Николаевна Кушнарева — раньше работала на этом же заводе; вторая — Александра Филипповна Крюкова, муж и сын которой были в армии, решила не покидать бойцов Зеленого острова.

К утру командир первого батальона старший лейтенант Галушко занял со своими людьми передний край обороны острова, расположившись в окопах, вырытых в роще. На комбата Галушко можно было положиться. Этот кубанский казак, бесстрашный и крепкий, всегда дорожил честью полка. Люди шли за ним в огонь и в воду.

Итак, Зеленый остров после бегства немецких танков был в руках чекистского полка. Утром подполковник Демин вызвал к себе младшего лейтенанта Денисенко.

— Приказываю вашему взводу к ночи переправиться в город и разведать, где расположены огневые точки немцев.

Маленький белокурый Денисенко четко ответил:

— Слушаю, товарищ подполковник.

Стали ждать вечера. На острове рвались мины. Срезанные минометным огнем, падали вниз ветви деревьев. Батальон старшего лейтенанта Галушко вел стрельбу по правому берегу. По извилистым ходам сообщения выносили раненых. А когда стемнело, Денисенко повел свой взвод к берегу, туда где чуть светлели столбы проволочного заграждения.

Взводу предстояло под огнем пробраться в тыл к немцам.

3

Ровно в полночь взвод младшего лейтенанта Денисенко миновал линию проволочных заграждений и приблизился к берегу. Денисенко хорошо знал своих людей и был спокоен; все они — и младший сержант комсомолец Михаил Евдокимов, и ефрейтор комсомолец Александр Сазонов, и Федор Полиенко, и Рагозянский, Король, Кузнецов, Чевычелов, Кнопкин и многие другие — отличались смелостью и молодой удалей.

Взвод разделили на три группы. Первая группа Евдокимова бесшумно перешла Дон и залегла на вражеском берегу, заняв оборону и готовясь, в случае необходимости, прикрыть переправу товарищей.

Через четверть часа Денисенко начал переправу второй группы. На этот раз неокрепший лед стал трещать. Немцы заметили движение и открыли пулеметный и автоматный огонь.

— Ложись! — передал по цепи Денисенко. — По-пластунски, за мной!

Бойцы поползли вперед. Следом за ними двинулась и третья группа. Скоро весь взвод перешел на правый берег. Перед бойцами лежал огромный город, занятый врагами. Стрельба стала реже, но из одного дома непрерывно бил автомат.

— На втором этаже, — шепотом доложил один из бойцов.

— Снять! — коротко ответил Денисенко.

Автоматчика «сняли» и двинулись вперед. На темные нахичеванские улицы вышли незаметно, оставляя по углам секреты из двух человек. Разделились на две цепочки и, сжимая автоматы, пошли по тротуару вдоль заборов — одна цепочка

справа, другая слева,

— Чтоб была тишина, — приказал Денисенко.

Но тишины не получилось. Тротуары были засыпаны битым стеклом, кусками железа. Стекло скрипело под ногами, железо гроыхало, — немцы заметили разведчиков. На одном из темных углов выросли фигуры немецких солдат. Взвод залег под заборами. Началась перестрелка. Немцы стреляли до тех пор, пока Евдокимов не подполз к ним. Размахнувшись, он метнул гранату. Раздался взрыв и потом сразу наступила тишина.

— Скапустились, — засмеялись бойцы.

Разведав расположение вражеских огневых точек, Денисенко отправил бойца Антипова посыльным на левый берег — узнать: не будет ли переправляться батальон старшего лейтенанта Галушко.

— Если не будет, пусть там свиснет кто-нибудь по-казацки. Мы тогда вернемся.

— Есть.

Антипов под огнем немцев стал пробираться на Зеленый остров. Взвод ждал. Было темно и холодно. Город как будто вымер.

— Свистят, — доложил боец.

— Да. Будем возвращаться.

Взвод возвратился на Зеленый остров без потерь. Утром в конторе заводика, у железной печки подполковник Демин, батальонный комиссар Школьников и капитан Исаев набрасывали новый план. Вызвав Денисенко, подполковник приказал:

— Ночью проберитесь со взводом в город, разведайте глубину переднего края противника и подготовьте переправу первого батальона.

— Есть! — как обычно ответил Денисенко.

Днем падал мелкий снежок. Сквозь бурые лохмотья туч кое-где просвечивала ясная голубизна зимнего неба. По острову гулял ветер. Бойцы первого батальона сидели в окопах, вырытых в роще. Немцы открыли по ним минометный огонь. Мины ложились впереди, между стоящими на берегу недостроенными баржами, скашивали ветви деревьев, осыпали бойцов землей и снегом.

Комбат старший лейтенант Мефодий Васильевич Галушко, широкоплечий, крепкий, хмурая густые темные брови, сидел в блиндаже, наблюдая за огневыми точками противника. Изредка он подносил к глазам бинокль, смотрел, затем брался за телефон:

— «Енисей»! Это «Кама». Правее элеватора, в трехэтажном белом доме, минометная батарея. Передайте «Волге».

Он опускал трубку и, полулежа на сене, ждал. Гремели

пушечные залпы. Снаряды ложились левее белого дома, вздымая клубы дыма. Комбат досадливо дергал телефонную трубку:

— «Енисей»! «Кама»! «Волга»! Чуток правее. — Еще взрывы. Еще! Над белым домом взметывается огромное черное облако, потом видны частые вспышки огня. Когда рассеивается дым, комбат Галушко усмехается — вместо дома, где расположились немецкие минометчики, темнеет груда развалин. И снова он берет трубку.

— «Волга». «Кама». В точку.

В трубке слышится знакомый голос. «Енисей» — подполковник Демин. Он напоминает о Денисенко.

— Мы готовы, — говорит Галушко...

Ночью Денисенко, разделив взвод на три группы, переправился через Дон. Отдохнув на берегу, разведчики осторожно пошли по Двадцать девятой линии, стараясь соблюдать полную тишину. Два квартала они прошли тихо. Но вот на углу длинный приземистый дом, похожий на казарму. Слышатся звуки немецкой песни. Денисенко снова, как и в прошлый раз, разделяет взвод на две группы и приказывает двигаться вдоль заборов цепью.

И вдруг — собака. Обычная дворняга. Черт ее дернул бежать за ворота и поднять лай. Следом за собакой выскочил немец-часовой. Вскинув автомат, он закричал в темноту:

— Хальт!

Денисенко выстрелил из пистолета. Из дома выбежала группа немцев. Не видя Денисенко и его бойцов, фашисты стали стрелять как попало. Евдокимов, Рагозянский и Полиенко шарахнули в немцев три гранаты — только дым столбом пошел. Из окон захлопали выстрелы. Бойцы залегли. По частоте выстрелов можно было понять, что в доме много солдат.

— Забросать их, паразитов, гранатами, — приказал Денисенко.

Во все окна полетели гранаты. Штук сорок. Зазвенели стекла. Дрогнула земля. В доме заголосили, заорали. Слышно было, как оставшиеся в живых немцы убегают, прыгая через заборы. Выждав несколько минут, Денисенко приказал взводу спускаться к переправе.

Когда подошли к Зеленому острову, Евдокимов схватился за пустую кабуру:

— Товарищ взводный, пистолет оставил.

Денисенко нахмурился.

— Как же это ты? Ступай за пистолетом.

Евдокимов отобрал из красноармейцев четырех охотников, проверил гранаты и исчез в темноте... Через три часа он вернулся

на Зеленый остров, усталый, оборванный, но сияющий. Пистолет был при нем.

4

Командование полка, выполняя приказ по армии, забрасывало в Ростов все бóльшие и бóльшие подразделения. Героически сражалась на улицах города рота лейтенанта Свиридова, смело действовала разведка, возглавляемая лейтенантом Левкиным. Словом, полк не давал немцам покоя.

А немцы бесчинствовали в Ростове. С Зеленого острова видно было, как горят дома; иногда ночами слышны были крики людей — это пьяные эсэсовцы расстреливали мирных жителей Нахичевани.

Генерал фон Клейст был явно озабочен тем, что под самым его носом, на ледяной равнине Дона, засел полк, который выдержал натиск танков и, несмотря на ураганный огонь, не покинул острова. По приказу генерала, немецкие «юнкерсы» много раз бомбили Зеленый остров, покрыв этот небольшой кусочек земли глубокими воронками. Одна из бомб попала в заводское пожарное депо, где лежали раненые. Почти всех их спасли. Полк выдержал и эту бомбежку.

Узнав об общем наступлении, подполковник Демин решил перебросить в Ростов первый батальон.

Старшему лейтенанту Галушко было приказано: форсировав Дон, захватить юго-восточную часть Нахичевани, организовать упорную оборону внутри города и тем самым создать плацдарм для общего наступления частей 56-й армии на Ростов. Это было 26 ноября.

5

В течение трех суток героический батальон старшего лейтенанта Галушко вел неравный бой с немцами на улицах Нахичевани. Немцы окружили этот батальон со всех сторон: они стреляли из танковых пушек, пулеметов, автоматов; они зажали батальон в кольцо, стремясь испепелить его ураганом огня; они поливали его ливнем пуль, — батальон не сдавался.

Когда-нибудь об этом батальоне будет написана волнующая книга. Голодные, без пополнения боевых припасов, окруженные десятикратно превосходящими силами врага, бойцы старшего

лейтенанта Галушко, воодушевленные любовью к Родине и спаянные железной волей своего командира, честно выполнили приказ: яростно уничтожая немцев, они продержались до подхода подкреплений и обеспечили на этом участке плацдарм для наступления на Ростов.

Когда наша армия, слолив сопротивление немцев, вступила в Ростов, батальон Галушко продолжал преследование бегущего врага через Красный Крым и Султан-Салы. И еще одна героическая страница была вписана батальоном в эпопею борьбы на Дону — это беспримерный по смелости бой за деревню Екатериновку, под Самбеком.

Это была тяжелая ночь. Сквозь черные тучи просвечивал холодный краешек луны. Батальон шел к Екатериновке. И когда подошли близко — зарево страшного заградительного огня встало перед бойцами. Это был убийственный по силе огонь: немцы, обороняя Екатериновку, били из пушек, минометов, пулеметов, автоматов; казалось из-за темных екатериновских изб встал крошечный ад.

— Брешь, сволочь, — яростно закричал комбат, — ты у меня не устоишь!

Вскочив на тачанку, Галушко развернул батальон и ринулся в атаку. Это была великолепная по ожесточению атака. Бойцы бежали молча, стиснув винтовки. И впереди, на тачанке, мчался комбат. Падают люди. Вот вражеская мина скосила коней. Падает тачанка. Загрязненный, окровавленный Галушко, вскочив, бросается прямо в огненный хаос и, подняв руку, кричит:

— За Родину! Бей фашистских паразитов!

И батальон, как один человек, кидается за любимым командиром. Преодолев минированное поле, победив смертельный огонь, бойцы врываются в Екатериновку.

Так закончилась восьмидневная эпопея славного чекистского полка на Зеленом острове. Воспитанные большевистской партией, бойцы, командиры и политработники этого полка покрыли свое боевое знамя неувядаемой славой. Много немцев истребили они, много взяли трофеев, честно защищая родной Ростов.

Девять персон

Вторую неделю мотается по немецким тылам казачий отряд лейтенанта Полуныя. Изголодались казаки, подбились казацкие кони, пора бы уже к своим, но пробраться трудно — линия фронта продвинулась влево, как раз туда, где думал проскочить Полунян.

Миновав на рассвете каштановое урочище, увидели казаки лежащую в яру станицу Уманскую, занятую немцами. Курился над станичными хатами сизый дымок, улицы были пусты.

Отвел Полунян бинокль от глаз и кубанку сбил на затылок.

— А что, хлопцы, — озорно сказал Полунян, — не пообедать ли нам в Уманской?

— Хо-хо! — ухмыльнулись казаки. — Это доброе дело было бы.

Полунян приказал ефрейтору Величко пробраться в станицу, разведать силы немцев и договориться с казачками насчет обеда. Пока казаки, лежа на бурках, пасли в урочище коней, ловкий Величко, скрываясь в бурьянах, сбегал в Уманскую.

— Так что все в порядке, товарищ лейтенант, — лукаво доложил он, — обед будет знатный. Староста с вечера заказал казачке Нестерихе сготовить обед на девять персон. В полдень пожалуют в Уманскую немецкий полковник с офицерами. Заколол староста кабана, смачных колбас нажарила Нестериха.

— А сколько немцев в Уманской? — спросил Полунян.

— Небольшой гарнизон, с полсотни будет.

— Ага, — засмеялся лейтенант, — заявимся, значит, к обеду. Девять персон нас — точка в точку. Только обедать будем по одному.

Рассказал Полунян казакам, что делать. Отвели казаки коней подальше, стреножили их железными путами, седла схоронили и поползли к станице, подвязав к поясам седельные кобурчата. А охочий до вкусного обеда Величко даже переметную суму прихватил. Залегли казаки на огороде, притаились и стали ждать.

Ровно в полдень подкатили к нестерихиному двору три серых «бьюика». Вышел из передней машины тощий полковник с двумя адъютантами, а за ним еще пятеро офицеров. Машины ушли, а у ворот остался часовой-автоматчик.

Только скрылись офицеры в хате, может, минут десять прошло, выскочила Нестериха и рукой махнула казакам — готово, дескать.

Мигнуть не успел часовой, как Величко, подкравшись, развалил его клинком надвое. Пробежав вдоль стены, на которой

не было окон, Полуныя вошел в хату, распахнул дверь и стал на пороге. Так и застыли немцы над тарелками. Глядят на дверь, а в дверях казачина в лохматой бурке, бритоголовый, широкоплечий — автомат у него в правой руке, граната в левой.

— Здорово, господа офицеры! — гаркнул Полуныя. — Ну-ка, оружие на стол, а сами на печь, — и руками показал, что надо делать, — да не вздумайте баловать, а то вон, глядите...

Оглянулись офицеры и видят за окнами маячат казаки в бурках. Ну, делать нечего. Выложили немцы свои пистолеты и на печь полезли. Полковник закричал — адъютанты его подсадили. Уселись смиренхонько и помалкивают.

Сел Полуныя за стол, выпил кружку бургундского и стал колбасу есть. Ест, не торопясь, ухмыляется и на полковника искоса поглядывает. Наелся, набрал в кобурчата печений разных в дорогу — и в окно постучал. Пришел на смену Ермолин, а Полуныя к казакам вышел.

Все бы окончилось хорошо, да черт дернул коменданта заявиться. Подскочил машиной, видит — нет часового. Смекнул, должно быть, что неладно тут, и назад. Через четверть часа катят немецкие автоматчики на мотоциклах, человек сорок. Подлетели к нестерихиному двору, а Полуныя скомандовал казакам:

— Огонь!

Полосанули казаки из автоматов — половины немцев как не бывало. Остальные залегли и открыли по казакам огонь. А казаки отстреливаются и по одному заходят в хату обедать. Пообедают казак — и во двор, огневой рубеж занимать.

Последним вошел Величко. Расселся за столом барином, пригнулся немножко, чтоб пуля не задела, подвинул к себе холодец с хреном и только было приготовился есть, как вдруг остроносый офицер — хлоп с печки из вальтера (не доглядели казаки, остался у него пистолет в заднем кармане). Пробила пуля казачью шапку и в стенку впилась. Разъярился Величко, крикнул и говорит полковнику:

— Ты, старичок, слезай с печки. Вот так. У нас пообедаешь. А вам, персоны, выписываю персональную пенсию.

И разрядил по немцам весь диск.



К ночи добрались казаки к своим. Долго смеялись в эскадронах, слушая рассказ о том, как ефрейтор Величко выписывал немцам пенсию. А отряд казаков-разведчиков Полунына так с тех пор и прозвали — «девять персон».

О чести знамени

По пыльным дорогам, по степям и морям, через леса и горы, в жаркие летние дни и в зимнюю стужу — всюду, где проходит полк, с ним следует его боевое Знамя.

Пробьет час — уходит из полка ветеран-боец: то ли ранят его на поле боя, то ли переведут в другую часть, то ли сложит он смелую голову в борьбе за отчизну; приходят в полк новые молодые бойцы. Приходят и уходят люди, а Знамя полка остается; опаленное солнцем, потемневшее от ветров и порохового дыма, пулями пробитое, живет оно в полку. Днем и ночью охраняют его часовые, берегут его, любят его. Почему? Потому что Знамя — это не просто кусок материи, прикрепленный к дереву. Потому что боевое Знамя — это воплощение воинской чести, символ мужества, той большой человеческой правды, за которую сражается полк. Потому что Знамя, врученное полку народом, несет в себе силу и надежды, славу и чаяния народа. Потому что на Знамени написаны строки той правды, за которую борется, страдает, сражается весь народ.

Когда прославленный защитник Севастополя адмирал Нахимов был убит на пятом бастионе, телу героя оказали высшую честь — оно было накрыто Знаменем корабля, который Нахимов много раз водил в бой за Родину.

Когда знаменитый русский полководец Кутузов умер, у гробницы фельдмаршала водрузили знамена его легендарных полков и знамена, отбитые у врага. И перед всем народом открылся в этих знаменах великолепный путь полководца-воина.

Из века в век русские знамена венчала чудесная слава побед, и гордились внуки делами прадедов.

Но что может быть ближе сердцу нашему, чем красное боевое Знамя? Его славу завоевали наши отцы и братья, и высоко поднимали невиданную славу товарищи боевые, участники Великой Отечественной войны. Кровью и жизнью своей отстояли они честь родных знамен.

Нельзя не любить Знамя своего полка, своей дивизии, — огнем горит в нем кровь боевых друзей, и победой, и смертью начертан боевой путь.

Помню, в один из весенних дней на переднем крае полка я встретил комиссара Цыпленкова. Небритый, хмурый Цыпленков сидел в темной землянке в окружении командиров. Шел бой. Над высоткой, где стояла землянка, вспыхивали огненные разрывы шрапнельных снарядов и совсем рядом тяжело стонала земля.

Комиссар Цыпленков, кинув колушек на нары, сердито

выговаривал кому-то по телефону. Его разговор прервал маленький, белобрысый связной. Связной протянул комиссару два нагрудных знака — большой овальный знак танкиста германской армии и потемневший медный знак «трудовых лагерей».

— Вот, товарищ комиссар, ребята подбили немецкий танк. Вам передали эти штуки...

— Добре, давай...

Комиссар повертел значки и, глядя в мигающее пламя копилки, задумчиво сказал:

— Окончится война, выберем мы в хорошем городе светлый, чистый дом и разместим там все, чем памятен путь полка — Знамя наше с орденом, портреты живых и мертвых героев... Пусть смотрят молодые, как мы воевали...



Через месяц комиссару Цыпленкову дали повышение. Никак не хотел он уезжать, но приказ есть приказ. Попрощался комиссар-орденоносец с орденоносным полком. А когда уезжал, оделся, стал у окна, долго смотрел — плечистый, угрюмый — куда-то в степь, и, не оборачиваясь, кинул, скупно роняя слова:

— Одно прошу: пишите мне, как полк... Как ребята... не опозорят ли молодые Знамя наше...

И вскоре прислал письмо издалека, короткое, написанное химическим карандашом, фронтовое письмо в треугольном конверте. И снова знакомые вопросы: как полк? как Знамя наше?

Мы напишем Цыпленкову: «Иван Семенович! После Вашего отъезда мы многое испытали. И те позиции, которые Вы защищали, оставлены. Отступили полки. Тяжелое и горькое было отступление это, — в непрерывных боях, в пыли, под палящим солнцем уходили полки на юг. Многое увидели мы за этот месяц,

многих не досчитались.

Но, Иван Семенович, — напишем мы, — полк ваш не опозорил свое боевое знамя, не изменил воинскому обычаю, не нарушил присяги. Ощерившись штыками, отстреливаясь, сражался героический полк до конца. И путь свой усеял вражескими танками и машинами, и трупами врагов. Крепко поддержал полк честь орденоносного Знамени, и не можете вы упрекнуть своих боевых друзей ни в чем...»

Соблюсти честь своего Знамени — это значит до конца выполнить боевой приказ, до последней капли крови защищать рубеж, бесстрашно разить врага.

Честь боевого Знамени защищает не один человек, не один взвод, а вся часть — от командира и комиссара до бойца. Честь Знамени защищает штабист-оперативник, разрабатывая план операции, боец, идущий в атаку, разведчик, связист, минометчик, санитар — все они, самоотверженно делая свое дело, защищают честь Знамени.

Перед Знаменем, как перед присягой, все равны, независимо от звания, должности, возраста. Знаменем своим должен гордиться каждый, и отстаивать его, преумножать его славу надо, не жалея жизни.

Мы переживаем сейчас особенно трудные дни. Враг уже заграбастал много земли на Дону и Кубани, уже подошел к предгорьям Кавказа, и, несмотря на огромные потери, рвется все глубже и глубже. В эти грозные дни особенно дороги и нужны народу люди-воины, нестигаемые, храбрые.

Твердо сражайтесь, друзья! Берегите, лелейте, умножайте честь своего Знамени. Тяжкие дороги боев прошло это красное Знамя. Вместе с вами испытало оно славу наступления и горечь отхода, холод и жару, снега и пыль.

Верьте, товарищи: наше великолепное, в боях опаленное, славой увитое Знамя приведет нас к победе. Через горы и реки, через леса и степи пронесем мы Знамя свое — великое знамя освобождения — туда, где нас ждут угнетенные сограждане наши. Ничто в мире не уронит кровью и жизнью скрепленную боевую честь красного Знамени.

— И как вы есть бойцы, запомните накрепко, казаки: чтоб была тишина. Хоть помирать доведется — молчи, а то через одного весь отряд сгинет. Круто будет — прокричи трижды пугачом-птицей, но голосу человеческого не подавай.

Посмотрел эскадронный на казаков, покрутил ус и рукой по столу рубанул:

— Понятно?

— Чего там непонятно. — Сидят казаки один в одного — здоровые, коренастые, чубатые. «Как двенадцать братьев родных». И даже не переглянулись, отвечая:

— Понятно.

— Тогда все. Седлай. Темнеть стало.

Мигом оседлали казаки поджарых коней, амуницию приладили так, что не звякнет, не стукнет нигде. Надели кожушки, автоматы за плечи закинули, клинки осмотрели. Можно ехать.

Вышел на крыльцо эскадронный — залюбуешься — как картина: кожушок белее снега, папаха каракулевая, на груди бинокль, справа пистолет, слева клинок. Посмотрел, рукавицу натянул.

— По коня-аам!

Ночь холодная, темная, не видать ни зги. С моря дует ветер. Едет казак Иван Чумаков седьмым, — шесть впереди, шесть сзади. Всего тринадцать. Чертова дюжина. Не любит Иван Чумаков это число. Издавна старики в станице стращали: невеселое число, беду возвещает.

«Ну и ляд с ним, — сплюнул сердито Иван. — Двум смертям не бывать». И стал думать о том, как проберутся разведчики через залив прямо в немецкий штаб, как офицеров захватят. Не сдобровать немцам сегодня. Молод и крепок Иван Чумаков, не терпится ему — скорей бы добраться.

Вот и море. Не видать его в темноте, но ветер тут иной, сразу понять можно — море близко. И конь чует, ногами ступает осторожно, словно не верит себе, дорогу пробует.

Сошел с коня Иван Чумаков, поставил его за ветром, сигнала ждет. А темень такая, хоть глаз выколи, ушей конских не видно. Слушает Иван, голову набок склонил, ноги расставил, словно в землю врос. Знает, что казаки неподалеку где-то. Эскадронный знак должен подать через залив переправляться. Ждет Иван Чумаков, пока пугач прокричит два раза.

Холодно. Пощупал Иван горячий конский пах — вспотел

конь, умаялся, будто верст пять наметом шел, — трудным шляхом ехать пришлось. Скинул бурку казак и коня накрыл, а сам прислонился к коню — так теплее — и вспомнил станицу, чернобровую Катерину, вечерние проводы, расставание в степи.

— Пу-гу! Пу-гу!

Кричит пугач — птица ночная. Несется в темноте протяжный крик над плавнями, над ледяным заливом. Знает Иван — не пугач кричит — знак подает эскадронный, а казаки подхватывают один за другим: пора, дескать, переправляться.

Надел Иван Чумаков бурку, взял повод и коня за собой повел. Сошел с крутого берега на лед и тихонько зашагал по заливу. Темно. Ни огня кругом, ни звезды на небе. Проклятый ветер дует в лицо, валит с ног. Конь спокоен, доверяет хозяину. Станут разъезжаться на льду конские ноги, поддернет уздечку Иван, остановится и снова дальше.

Идет Иван Чумаков и чует — вроде вода под ногами захлопала. С чего бы это? Прорубь тут близко, что ли? И конь боится, назад пятится, всхрапывает пугливо. Идет Иван, левую руку вытянул, как слепой, ощупью шагает. Нет, не видать проруби. Но только лед отчего-то потрескивать стал.

И вдруг провалился Иван. Лед под ним треснул и стал ломаться. Огнем обдало казака. Рванулся вперед — вода. Налево — вода. Конь, слышно, храпит рядом, передними ногами бьет. Ухватился Иван за конскую гриву и закричал трижды пугачом-птицей:

— Пу-гу! Пу-гу! Пу-гу!

Но нет ответа. Отстал, видно, Чумаков от своих, не слышат казаки. Закричать бы хлопцам, чтоб спасали товарища, но знает Иван, что немцы под боком, и помнит слова эскадронного: «Хоть помирать доведется — молчи, а то через одного весь отряд гибнет».

Намокла казацкая бурка, тяжелее камня стала. Бьет Иван ногами по воде, за лед руками хватается, а вода уже до груди достает. Стонет справа конь, стучит зубами, храпит. Нет спасенья. Выхватил Иван нож из-за пояса, на бурке крючки перерезал, под себя ее подминает. Собрал еще силы, и:

— Пу-гу! Пу-гу! Пу-гу!

Не слышат казаки. Далеко ушли. Эх, закричать надо, чтоб от смерти спасли. В мыслях Ивана стоят жаркие, как огонь слова: «Братцы, спасите, погибаю». Но молчит казак Иван Чумаков. Захлебывается сбоку конь, нет уже сил у коня.

Рвет Иван Чумаков пальцы до крови, ногти ломает о лед, но тянет вниз тяжелое снаряжение, ломается лед под руками. Скользят в темноте окровавленные локти. Кипятком обжигает

ледяная вода. И в мозгу огнем: «Братцы, спасите, братцы!»
«Молчи, казак! Молчи, а то через одного весь отряд сгинет!»



Молчит Иван Чумаков. Рывками выбрасывает из воды могучее тело, ломает лед, и снова проваливается в бездну, и, сплевывая воду, кричит пугачом:

— Пу-гу! Пу-гу! Пу-гу!

Нет ответа. Не слышат казаки. Смерть пришла. Не увидишь ты, Иван Чумаков, свою станицу, чернобровую Катерину, тихую вечернюю степь. Скрежещет лед, хлюпает страшная вода, бьется в предсмертных судорогах конь.

Так и не закричишь, Иван? Так и будешь молчать? Неужто сила твоя сильнее смерти?

Молчит казак. И долго еще рассекают ледяную воду могучие казацкие руки, и долго трещит в темноте лед и хлюпает вода. Но реже и реже слышатся всплески. Куда-то исчезает, проваливается конь. И сразу наступает тишина.

Так и погиб казак Иван Чумаков. Пересилила тяжелая казацкая сила великий страх смерти. Так и не крикнул Иван Чумаков, так и не выдал товарищей...

На заре возвращались с ночного набега одиннадцать казаков и эскадронный. Везли казаки пленных немцев, а в переметах кипы важных немецких бумаг.

И когда миновали казаки линию фронта и съехались в овражек, остановил эскадронный свой отряд, поднял бинокль и посмотрел на залив. Розовый лед сверкал на солнце. Камыши были покрыты пушистым инеем. Далеко, на ледяной глади залива, петляла темная полоса воды.

И опустил голову эскадронный, и исподлобья взглянул на казаков:

— Погиб?

— Погиб, — хмуро ответили казаки.

— Молчал?

— Молчал, — ответили казаки.

Покрутил эскадронный ус и рукой рубанул воздух.

— Понятно?

Чего там непонятно. Слушают казаки, здоровые, коренастые, чубатые. Как одиннадцать братьев родных, похожи друг на друга.

— Понятно.

Случай у реки Урух

Это произошло у реки Урух 26 октября 1942 года, когда немцы прорвали нашу оборону, взяли Нальчик и, обходя Эльхотовские ворота, ринулись к Владикавказу.

Гвардейский минометный дивизион вышел навстречу немецкой колонне, дал по ней залп, зажег много грузовиков и повернул обратно, в направлении на хутор Озрек, где находился зарядный пункт. В нескольких километрах от Озрека, который, оказывается, уже был занят немцами, дивизион был внезапно обстрелян вражескими танками. В грохоте рвущихся снарядов, в дыму и пламени никто не заметил, что одна из машин подбита и остановилась у самой реки.

В той машине находились два человека: командир установки гвардии сержант Дмитрий Жеребко и водитель боевой машины гвардии красноармеец Петр Красненков. Оглушенный взрывом, Красненков выскочил из кабины, быстро осмотрел ходовую часть и доложил Жеребко:

— Разбиты два ската, рессора, труба карданного вала и тормозная трубка. Машина двигаться не может. Что будем делать?

Уже смеркалось. На речной отмели дымились клочья бурьяна. Слева синели горы Скалистого хребта. Холодные волны хлюпали под самым радиатором машины, бессильно уткнувшейся в реку. Справа багровело зарево далекого пожара, а где-то сзади погромыхивали пушки прорвавшихся в тыл немецких танков.

К счастью, немцы не заметили подбитую машину. Увлеченные преследованием, танкисты пронеслись мимо нее и исчезли за холмом.

Коренастый пожилой Красненков, вытирая замасленные ладони о штаны комбинезона, спросил сержанта:

— Ну, Митя, что ж будем делать?

Жеребко опустил голову. Рядом с ним, изуродованная и бессильная, стояла дорогая машина, знаменитая «катюша», о которой гвардейцы уже сложили песни, та самая «катюша», за которой охотились немцы. О, немцы дорого дали бы, чтоб захватить эту машину и раскрыть ее секрет!

— Что ж, Петя, — сказал Жеребко, — давай заложим тол и взорвем машину, а сами будем отбиваться до последнего.

— Знаешь что... давай покурим, — сквозь зубы сказал Красненков, — перед смертью, говорят, всегда хочется покурить.

Они свернули сигарки и закурили, пряча огоньки в кулак. Красненков сердито сплюнул и кинул, затягиваясь крепким

дымом:

— Вот поправим мы, Митя, и никто о нас не узнает, ни наши гвардейцы, ни семьи.

— А мы напишем им, — ответил Жеребко, — у меня есть карандаш и бумага. Мы им напишем, Петя, а письмо положим под камень, может, люди найдут когда-нибудь.

Пока Жеребко писал, Красненков ползал под машиной, постукивал ключом по разбитым деталям, примерял какие-то болты, потом высунул голову и сказал:

— Митя! А что, если попробовать?

— Чего?

— Я говорю, что, если попробовать ремонт?

— Попробуй, Петя, — вспыхнул Жеребко — попробуй, дорогой. Все свои силы приложи, сделай все, что можно. Ты ведь знаешь, какая это машина!

Жеребко спрятал письмо под большой дикий камень и стал с винтовкой в стороне, а Красненков начал ремонт. Уже совсем стемнело, вода в реке прибыла и поднялась под машиной на три пальца. Ощупывая ладонями перебитую трубку, Красненков разорвал противогаз, сделал из него шланг и стал прикручивать проволокой. Вода все прибывала, и Красненков, лежа в холодной воде, стучал зубами, дрожал, инструменты валялись из его непослушных пальцев, но он не прекращал работу.

Потом он высунул голову и сказал негромко:

— Не выйдет, Митя!

— Почему? — вздрогнул Жеребко.

— Нужна крепкая веревка, чтоб подвязать трубу карданного вала, а веревки у нас нет.

Жеребко подумал, потом наклонился к воде и шепнул:

— Хорошо, Петя, я пойду за веревкой.

— Куда? — не понял Красненков.

— В селение.

— Так там же немцы.

— Ну что ж. Авось добуду. Ты тут смотри. В случае чего, взрывай машину.

Жеребко исчез в темноте, а Красненков, вслушиваясь в ночные звуки, лежал в холодной воде и продолжал ремонт. Потом он подложил домкрат, снял изогнутые диски, взял огромный камень и стал выравнивать диски ударами камня. Ударит раз и остановится, слушает. Потом бьет второй раз, третий, четвертый. Так он выправил оба диска, надел их, снял домкрат, а Жеребко все еще не было.

Но вот в темноте послышалось фыркание лошади и раздался приглушенный голос:

— Это я, Петя!

У машины вырос Жеребко. Он сидел на немецком обозном коне. Конь был со шлеей и постромками.

— Снимай упряжь, Петя! Режь ее на веревку!

Пока Красненков резал упряжь и подвязывал трубу карданного вала, Жеребко рассказал ему, как он пробрался в селение, заметил немецкий обоз и под самым носом у отдыхающих в хате немцев увел коня.

Они провозились с машиной всю ночь, а перед рассветом Красненков завел мотор. Но двигаться они не решились, так как уже стало совсем светло.

— Знаешь что, — сказал Жеребко, — вот там, ниже, темнеет кустарник, ведем машину туда, замаскируем ее и переждем день, а то нас схватят.

Красненков дал газ и переключил рычаг скоростей. Дребезжа, стуча, хлопая, машина тяжело двинулась вперед. Они проехали с полкилометра, укрыли машину в зарослях, наломали веток и замаскировали высокий кузов.



Уже совсем рассвело. Над горами светился розовый туман. Быстрые воды Уруха пенились на камнях. От реки тянуло холодом. Пожар в селении погас, только черный дым стелился в долине. По дороге одна за другой побежали немецкие машины, направляясь на юго-восток.

Красненков и Жеребко просидели в кустах целый день. Их томил голод, они вытряхнули из карманов хлебные крошки, разделили и съели, но от этого есть захотелось еще больше.

Перед вечером у реки показались четыре немецких мотоциклиста. Немцы ехали прямо к зарослям.

— Будут осматривать кусты, — прошептал Жеребко, — давай

обстреляем их.

Гвардейцы подпустили немцев ближе и открыли стрельбу. Один из мотоциклистов свалился, трое бросились бежать. Когда они скрылись, Жеребко закричал:

— Петя, садись и давай полный газ!

Закрытая ветками машина поползла вперед, пересекла разбитую снарядами дорогу и пошла по широкой тропе вдоль реки.

За ночь Красненков шесть раз ремонтировал подбитую машину, а Жеребко два раза отстреливался от вражеских солдат, которые бродили у реки. Когда взошло солнце, гвардейцы увидели первых бойцов нашего боевого охранения.

В полдень они подъезжали к селению, где стоял их прославленный гвардейский полк. Товарищи окружили машину со всех сторон, бежали за ней по улице, гладили ее подбитые борта, качали головой, глядя на диски. Сам командир полка, заслуженный старый артиллерист, вышел навстречу машине, и когда с машины сошли покрытые грязью гвардейцы, командир прижал их обоих к своей груди и стал целовать.

Через две недели Дмитрий Жеребко и Петр Красненков были награждены орденами Ленина.

Стоя на четвереньках, человек пьет воду. Рядом с ним, подогнув передние ноги, пьет рыжий конь. Лицо человека почернело от пыли и пота, гимнастерка выцвела на солнце и стала почти белой. Рыжий конь покрыт ключьями пены. Приподняв голову, он устало фыркает, — капли воды звонко падают в реку.

Река узкая, мелкая — на дне видны покрытые бархатным мхом камни. Над рекой исполинские дубы, а вокруг горы, поросшие вековым лесом — ни троп, ни полян — бескрайняя зелень. Только у самых вершин светлеют белым и розовым каменные бока отвесных скал.

Я здороваюсь с человеком. Я узнаю его. За четырнадцать месяцев войны он прошел тяжкий путь — от плавней Прута до кавказских гор; четырежды раненный, он не покинул полк и все сражался с немцами.

— Жив? — радостно спрашиваю я.

— Жив, — улыбается человек, — тянем помаленьку.

Мы садимся на большой серый камень, курим махорку и спрашиваем друг друга о товарищах.

— Да, — говорит он, — дорожка... Вон куда отступила. Больше некуда. Не думал я, что от Ростова аж сюда дойдем...

Помолчав, он треплет гриву коня и неожиданно усмехается:

— Бабка еще надвое ворожила. Побачим. Немец уже шесть раз печатал и по радио передавал, что уничтожил нас, а мы ничего... Бомбили нас на каждом метре, танками душили — выдержали мы. А теперь поборемся...



Кинув окурок, он всматривается в белоснежные облака над горами, в темно-синие извилины ущелий, слушает секунду, как шумит горная река, и роняет:

— Не то, что у нас. Хата у меня на Полтавщине. Возле хаты ставок и вербы. В это время от пшеницы кругом золотое, от подсолнухов желтое... А тут не то. Одначе красиво. И драться можно отчаянно...

Вскочив на коня, он подбирает поводья и хитро подмигивает мне:

— Гитлер, мабуть, думал: дойдут степняки до гор, pošлю я на них горные дивизии и передушат тут степняков, как курчат. А мы еще побачим — кто кого передушит...

Взмахнув плетью, он пускает коня рысью и исчезает за поворотом каменистой тропы. И еще долго слышится в ущелье гулкая дробь копыт. Потом становится тихо. Только река шумит да лес шумит.

Да, они, эти люди, прошли удивительный путь. Это не был путь гордой воинской славы, громких побед или молниеносных боевых удач. Это был горький и скорбный путь отступления.

Они отступали с боями. Гитлер бросил против них самый прославленный авиакорпус Германии, сотни танков. Применяя различные методы — воздушные и танковые десанты, сумасшедшую бомбежку, обходы и окружения, гитлеровцы стремились свирепо перемолоть этих людей, снести с лица земли, чтобы открыть себе дорогу.

Люди стали отступать. Под палящим солнцем, в крови, в поту и в пыли они отходили на юг. Они бросались в контратаки, пробивались из окружения, разрывали смертельное вражеское кольцо, переплывали реки. Стиснув зубы, они истребляли тысячи немцев и, отступая, наносили врагу удар за ударом.

Мы помним этот скорбный и горький путь. Помним вереницу телег, облака пыли; раненых, прикрытых белой марлей; неплачущих женщин с темными лицами — молчаливых женщин, которые по двенадцать часов отгоняли веткой акации мух от распростертых в телегах бойцов.

Мы помним, мы помним все: и пламя ростовских пожаров, и ярость донских переправ, и черный от пепла Батайск, и бои под Бирючьим и Кущевкой, и Цукрову Балку, и Белую Глину, и Сальские степи. Помним плач детей в крытых листовым железом арбах — горестное кочевье несчастных жителей сожженных станиц; помним и знаем героизм — невиданный, как фантастическая легенда, героизм наших бойцов...

Теперь вокруг них — горные реки, острые вершины покрытых лесом гор, кривые дороги и тропы, темные лесные чащи. А за спиной — лазурно-синее по утрам, темное в полночь море. Черное море. И снова бои — жестокие, кровопролитные бои. И горное эхо тысячекратно множит пушечные залпы, взрывы мин и частый треск автоматов.

3

Вокруг нас горы — зеленые отроги могучего Кавказского хребта, длинная цепь лесистых кряжей, с сотнями быстрых, прозрачных, как стекло, речушек, с узкими долинами, с редкими кривыми дорогами, которые петляют по ущельям и взгорьям, с незаметными охотничьими тропинками.

Тут уже не разгуляются немецкие танки, тут почти бессильны вражеские самолеты и чрезвычайно затруднено действие вражеской артиллерии. И наконец, лесистые горы при умелом маневрировании войск могут лишить врага возможности вести наблюдение за ними.

Мы переходим к обороне в горах. Нужно сделать так, чтоб эти горы стали для немцев адом. Нужно, чтоб немецкие солдаты встречали смерть под каждым деревом, чтоб они боялись сунуть нос в горы.

4

Прошел дождь. И еще сверкали на солнце мириады дождевых капель, а уже над ущельем светилась гигантская горная радуга.

В лесу, под густым буком, лежали два бойца — один постарше, с автоматом, другой, совсем молодой, с винтовкой. Боец постарше задумчиво курил. Его товарищ, закинув руки за голову, смотрел в небо.

— А что, Федор, — сказал молодой, — погоним мы немцев, а? Горы кругом, немец незаметно подобраться может...

— Чудак, — усмехнулся боец с автоматом, — сделай так, чтоб ты был незаметным для немца, а потом крой его.

— Выходит, можно одолеть немца в горах?

— А то как же, — серьезно сказал боец, — быть немцу вот там, — и указал рукою в бездонное ущелье, темнеющее между двумя горами.

Ефрейтор Франц

Фронт. Хутор в донской степи. Покинутая хозяевами изба. За окном завывает злая январская метель. Хлопья снега на стеклах блестят голубоватым отсветом угасающего дня.

Ефрейтор Франц сидит на низком табурете, опустив голову. Он, этот ефрейтор-эсэсовец из дивизии «Викинг», совсем юнец: у него большие, неуклюжие руки, узкие плечи, Он заискивающе улыбается, робко разводит руками. Но в его бесцветных глазах — ненависть. И — страх, животный страх.

Его взяли вчера. Он вышел в разведку с солдатами, но наскочил на наших разведчиков. Разведчики убили солдат, а его взяли в плен.

Когда смотришь на этого молодого прохвоста из дивизии «Викинг», на его большие, грязные руки, вспоминаешь трупы расстрелянных в Ростове женщин. Да, этими руками он убивал мирных, беззащитных советских граждан.

— Расскажите о себе.

О, он охотно расскажет. Родом из Нюрнберга. Отец — рабочий. Есть мать и две замужних сестры. Окончил коммерческое училище. В армии с 1939 года.

— Сколько же вам лет?

— Девятнадцать.

С тринадцати лет он состоит в гитлеровском союзе молодежи, с шестнадцати — в специальной школе охранных отрядов СС. В европейских походах не участвовал, так как «фюрер» берег их дивизию для Восточного фронта.

— Как живут ваши солдаты?

— Плохо живут. Нет обмундирования. В нашу роту прислали всего три телогрейки и три пары меховых сапог на деревянной подошве. Мы мерзнем. Каждый день у нас в роте семь-восемь обмороженных. Есть нечего. Провиант нам почему-то завозят только на один день. Огонь русских губителен для нас.

— Что вам известно о положении на фронте?

Франц мнетя, пожимает плечами, потом тянет:

— Офицеры говорят нам, что Москва и Ленинград окружены, что мы скоро победим русских и вернемся в Германию.

Помолчав минуту, добавляет:

— Вероятно, офицеры лгут. Кажется, наши дела плохи и под Москвой, и в Донбассе.

Да, их дела совсем плохи, но офицеры тщательно скрывают от солдат истинное положение и все еще пытаются убедить их, что «операции германской армии протекают по плану».

— Вам известно, что генералы Браухич, фон Бок и другие попали в опалу?

— Офицеры сообщили нам, что фельдмаршал Браухич постарел и ушел на покой.

Еще бы не постареть! Правда, здравомыслящие люди должны были понять, что коллективное «постарение» немецких генералов в январе 1942 года довольно подозрительно, но немецкий ефрейтор Франц слепо верил «фюреру» и не пытался самостоятельно оценивать события.



Ефрейтор Франц говорит, покачивая головой. Иногда он умолкает, тоскливо смотрит в окно, и я понимаю, что он, может быть, впервые в жизни, начинает сомневаться в победе «фюрера». Это запоздалое прозрение — Франц сделал все, что от него требовали офицеры: он убивал и грабил, издевался над жителями Мариуполя и Днепропетровска, Таганрога и Ростова, он с собачьей верностью служил «фюреру». И потом, он боялся плена.

Мы просим рассказать, как немецкие солдаты относятся к гитлеровскому правительству.

Ефрейтор уклоняется от прямого ответа. Принужденно усмехаясь, он рассказывает два-три солдатских анекдота о Геббельсе и опять умолкает.

— Что вы читали? Какие писатели вам известны?

Он ничего не читал, этот растленный юнец. Ему не знакомы имена Шиллера, Гейне, Гауптмана. Он ничего не слышал о Шекспире, Данте, Толстом. Единственное его чтение — «Майн кампф» Гитлера и порнографические журнальчики — «литература» одинаковой ценности. Он говорит, и перед нами во весь рост встает фигура фашистского солдафона, угрюмого, скучного варвара, ненавидящего культуру, тупого и ограниченного.

Темнеет. Боец затапливает печь. По стенам ползут тени. За окном бушует злая январская вьюга. В хате наступает молчание. Ефрейтор Франц сидит, опустив голову. Потом, тупо разглаживая черный шеврон на рукаве, роняет:

— Фюрер сказал, что весной Германия соберет силы и победит Россию. Но германская армия не дожидется этой весны. Как видно, фюрер ошибся.

Пленный встает и, сутулясь, идет к двери. Пламя из печки освещает его спину, замасленные штаны, тряпки на ногах. Переступив порог, он оборачивается:

— Фюрер, конечно, ошибся. Эта ошибка дорого обойдется Германии.

Надежда

Надежда — это имя женщины. Хорошее, светлое имя. Ее так зовут — Надежда. Мне рассказали о ней на огневых позициях. Рассказывали все, бойцы и командиры, называя ее ласково: «Наша Надежда».

— Она здесь, рядом, вы можете поговорить с ней, — сказали бойцы.

По узкому ходу сообщения, приподнимая протянутые телефонные провода, пробираюсь в полуразрушенную избу. Из распахнутой двери веет теплом. Осторожно обходя стоящих в сенях коней, вхожу в избу. Стены сотрясают оружейные залпы наших батарей и близкие разрывы вражеских снарядов. Мигающая коптилка еле освещает сидящих на соломе бойцов.

Надежда. Так вот она какая, эта женщина. Она стоит у стены, заложив руки в карманы короткой меховой куртки. Куртка расстегнута. Поблескивают пуговицы гимнастерки, пряжка пояса. Нежная, сероглазая женщина, почти девочка. На ней стеганые брюки, сибирская шапка-ушанка. Из-под шапки задорно выбивается прядь волос.

— Товарищ военфельдшер, — прошу я, — расскажите мне, что произошло в день восьмого Марта?

Надежда краснеет и смущенно тербит длинный наушник шапки.

— Ничего особенного.

— Как? Но ведь вы...

— Знаю, знаю. Я просто выполняла свои прямые обязанности...



Свои «прямые обязанности» она выполняет так. Совсем недавно вражеский снаряд угодил в один из блиндажей. Разрушенный блиндаж загорелся. Под ураганным огнем противника комсомолка Надежда Карева через реку кинулась к блиндажу. Проваливаясь в воду — лед был разломлен снарядами, — она добралась до блиндажа и, рискуя жизнью, вытащила из-под горящих бревен комиссара Васильковского, помкомбата Серякова и еще двоих.

Командир полка майор Кандауров рассказал мне об одном из последних подвигов Надежды.

— Это было позавчера, — говорил майор, — пошли мы на наш наблюдательный пункт. И Надежда с нами. А надо вам сказать, блиндажик, в котором располагался этот пункт, находился перед самым носом у немцев, под их проволочным заграждением. Ну, сидим мы, корректируем стрельбу. Вдруг начали немцы накрывать нас минами. По блиндажу сразу три попадания. Я говорю: «Уходите в окопы, остаться только телефонистам». Все поползли назад. Оглядываюсь — Надежда ни с места. «Почему не уходишь?» А она разводит руками и спокойно так: «Как же я уйду? Ведь здесь телефонисты, а если их ранят?»

Досиделась-таки до того, пока снаряд угодил в блиндаж. Сержант Хмеленко кинулся туда и вытащил Надежду.

Рассказ майора дополняет плечистый связист, лежащий на соломе с махорочной скруткой в руке.

— Наша Надежда на все руки. Один раз телефониста поранили, так она села за аппарат и работала лучше других. Голосок у нее звонкий, чистый, разбирается она быстро.

Надежда смущается, машет рукой и уходит из хаты. А майор рассказывает о том, как однажды ехал с Надеждой в машине и осколок вражеского снаряда ранил его в колено. Он упал, а Надежда уложила его рядом, села за руль и вывела машину из-под обстрела.

В этот вечер мне много рассказали о Надежде. Потом я узнал, что выросла она в Киеве, что ее отец, капитан, и брат-летчик на фронте, что где-то недалеко ее сестра.

Мне рассказали, как комсомол воспитал в этой женщине мужество и волю, любовь к Родине и самоотверженность.

Уже совсем стемнело, когда я возвращался в блиндаж. По чистому весеннему небу неслись огненные линии трассирующих пуль, справа стрекотал пулемет.

На повороте узкого хода сообщения я увидел Надежду. Она стояла, прижавшись спиной к брустверу, и тихонько пела. Я не разобрал слов, до меня доносилась только грустная мелодия украинской песни.

О чем она сейчас думала, эта женщина? О муже, который недавно погиб, защищая родную Украину? О ребенке, который недавно умер на дорогах войны? О милом Днепре, о киевских садах?

Она, эта нежная женщина с серыми глазами, горела в огне, тонула в реке, она спасла жизнь многим людям, а свою молодую жизнь отдает Родине, отдает самоотверженно, честно, с какой-то целомудренной стыдливостью, все свои подвиги называя «выполнением обязанностей».

Сколько раз появление этой женщины на поле боя было последней надеждой для ее раненых товарищей. И она всегда приходила туда, где ее ждали бойцы. Недаром она носит такое светлое, хорошее имя — Надежда.

Солдатские жены

Когда Агафья Алтухова, ее свекровь Дарья Михайловна и девятилетняя дочь Лиза дошли до Каспия, Агафья подумала, что тут, на неприятном берегу чужого моря, они умрут. В бакинском порту Алтуховы увидели множество людей. Это были беженцы из Украины, Приазовья, Кубани. Черные от солнца, покрытые дорожной пылью, они сидели на мешках, на корзинах, на узлах.

Был жаркий день. Горячее море нестерпимо сверкало под солнцем, ленивая зыбь переливалась радужным блеском разлитой нефти. На пристани пахло смолой, бензином, арбузными корками. Маленький буксирный пароходик, шипя, тащил за собой неуклюжую баржу, битком набитую людьми.

Присев на связке канатов, Алтуховы растерянно переглянулись. Несметная толпа беженцев подавила их своей пестротой, суетливостью, шумом, плачем, руганью.

Дарья Михайловна, посмотрев на все это, пожевала губами и, не глядя на невестку, кинула:

— Тут, Гаша, кончилась наша дорога. Тут, видать, косточки наши погниют. Вот оно как получилось. Три недели шли пешие, все как есть побросали. Говорила я тебе, лучше бы немцы нас побили там, дома...

Агафья нахмурилась, погладила белесую голову дочери.

— Посидите тут, мама, с Лизонькой, а я пойду поищу добрых людей. Может, хоть ночевать пустят...

Глотая соленые слезы, Агафья пошла в город. Высокая, статная, прямая, расстегнув защитную стеганку, она шла по незнакомым улицам широким размашистым шагом, вспоминая деревянный домик в Херсоне, куст сирени под окном, выцветший коверик в сенцах, все что еще так недавно было милым, привычным и что теперь уже, наверное, было разорено.

Так, вспоминая родной город, тяжелый путь под бомбежкой и ночевки в кубанских степях, Агафья шла по чужим улицам и наконец зашла во двор и попросилась ночевать.

В этом дворе жила Туязз Мамедова, жена знаменитого грузчика Касума Мамедова, недавно призванного в армию. Маленькая смуглая Туязз, блестя черными глазами, выслушала Агафью и открыла калитку.

— Как тебя зовут, ханум? — Агафья? Гаша? Подожди, Гаша-ханум, я кликну Лейли, чтоб она постерегла козу. А мы пойдем к морю, принесем твои вещи.

— У меня нет вещей, хозяйка, — печально ответила Агафья, — пропали мои вещи. У меня ничего нет. А на пристани

меня ждут старуха и дочь.



И боясь, что маленькая женщина передумает и не пустит их ночевать, Агафья прошептала:

— Мы ненадолго, хозяйка. Мы скоро уйдем.

Туказ вышла за ворота.

— Зачем ты так говоришь, ханум? За ночлег я денег не возьму. Живи сколько хочешь...

Алтуховы ночевали в домике Туказ Мамедовой. Обнявшись, уже уснули на кошме Лейли и Лиза, уже тихо всхрапывала уставшая Дарья Михайловна, а молодые женщины не спали. Они долго сидели у стола, долго чесали волосы и все говорили. Агафья успела узнать, что муж Туказ Касум Мамедов пишет ей письма, что маленькая Туказ родом из Шемахи и что здесь у нее, кроме дочки Лейли, никого нет. Медленно заплетая русую косу, Агафья рассказала, что ее Алексей на фронте с первого дня войны, что до войны он работал пчеловодом на опытной станции, а сейчас стал истребителем танков и что здоровье у него не ахти какое.

— Хорошо вы жили, Гаша-ханум? — спросила Туказ.

— Мы хорошо жили, — помедлив, ответила Агафья, — дружно жили.

И с чисто женской аккуратностью стала рассказывать, сколько разного домашнего добра ей пришлось оставить в Херсоне. Она по-хозяйски медленно перечисляла мужнины пальто и костюмы, стеганные ватные одеяла, шкафы, столы и стулья, коврики, посуду, белье. Не забыла даже кадушку с огурцами и семнадцать штук уток.

Черноглазая Туказ внимательно слушала Агафью, соболезнующе покачивала головой и жалостно прищмокивала

губами. Она понимала, почему Агафья с такой затаенной болью и так подробно перечисляет все свои пропавшие вещи, и знала, что за каждую вещь — и за дубовый столик, и за скатерть с вышитыми углами, и за эмалированный бачок для выварки белья — плачены нажитые трудом деньги, и это было самым главным, что все эти вещи составляли тот свой, годами обжитый домашний мир, в котором жила семья Алтуховых, мир, с которым очень больно и тяжело было расставаться.

— Проклятые немцы! — горячо сказала Туяз. — Разорили дома, людей погубили.

— И вот я не знаю, милая, что теперь делать, — тихо сказала Агафья, — говорят, немцы заняли Пятигорск.

Женщины задумались и долго молчали. На кошме, прижавшись друг к другу, спали девочки, тихонько всхрапывала старуха. Было жарко. Жестяная лампа скудно освещала низкую комнатку: бутылки на окнах, край шкафа, фотографии на стене. Женщины думали каждая о своем, вспоминали мужей, мучительно искали ответ на страшный вопрос: «Что же делать?» и не знали, что делать, куда идти, у кого просить помощи.

— Понимаешь, милая, — вздохнула Агафья, — больно много людей тронулось с места. Затеряешься в них, как песчинка в море. А кому я нужна тут в чужом городе и что я умею делать? Ничего не умею. Жила вот, как ты живешь, хозяйка жила: готовила, стирала, обшивала свою семью, за хозяйством смотрела...

— Ложись спать, ханум, — сказала Туяз, — Советская власть у нас везде одна: и в Херсоне и в Баку. Не дадут нам с голоду умереть...

Так Алтуховы остались в семье Туяз Мамедовой. Шли дни. Агафья слышала, что где-то на Тереке немцев остановили и что там идут жестокие бои. Уже на пристани стало меньше народа: часть людей переправилась за Каспий, часть разъехалась по районам. Туяз дали место уборщицы в товарной конторе, при которой когда-то работал ее муж Касум. Дарья Михайловна хозяйничала дома. Девочки ходили в школу. Только Агафья не смогла пристроиться. Ей несколько раз удавалось брать работу на дом: она вышивала платки и полотенца, шила детские платья. Однажды она пошла в пошивочную мастерскую, где шили шинели, но там ей сказали, что в мастерской работает много эвакуированных женщин и сейчас пока люди не нужны.

Стояли теплые осенние дни. Иногда Агафья, взяв вышивку уходила из дому. Она медленно шла по узким нагорным улочкам, смотрела на высокие каменные ограды и приземистые домики, удивлялась тому, что в маленьких дворах не было видно ни

одного деревца — только глина да камень. Это были улицы старого Баку, глухие переулки древней крепости, суровые, дикие места.

Потом она поднималась по каменной лестнице в парк. Оттуда хорошо были видны изгибы бухты, коричневые крыши домов. И над всем этим: над морем, над пароходами и катерами, над огромным городом — совсем рядом с Агафьей, высился Киров, бронзовый гигант на гранитном пьедестале, человек с гордо поднятой головой, с рукой, взнесенной к небу.

Сидя в парке, Агафья вспоминала Алексея, и то, что он четвертый месяц не отвечал на письма, наполняло ее смятением и тревогой. Так она стала приучать себя к мысли о большом несчастье и настолько привыкла к ожиданию этого несчастья, что извещение о гибели Алексея уже не казалось бы ей неожиданным. Однако несчастье пришло совсем с другой стороны. В один из ветровых декабрьских дней заболела Лиза. Красная от жара, с воспаленными глазами, она металась в постели, жалобно звала Агафью и тихонько стонала. Утром врач сказал, что у Лизы брюшной тиф и что нужна строжайшая диета.

Это были самые тяжелые дни. Агафья часами сидела неподвижно над постелью дочери и слушала горячечный бред Лизы. Лиза вспоминала отца, яблоню под окном, куклу в голубом платье. Агафья не плакала, только до крови кусала губы. Заплакала она вечером, когда Туяз, подоив козу, внесла в комнату кувшин молока, разлила молоко в две кружки, одну поставила на табурете у Лизиной кровати, а другую протянула Лейли:

— Пей.

Смуглая, похожая на мать Лейли упрямо сдвинула брови.

— Я не буду пить. Отдай мое молоко Лизе. И потом, мама, молоко нужно кипятить.

Агафья, всхлипывая, подошла к Лейли, прижала к себе ее худое тело и, целуя, прошептала:

— Доченька моя хорошая.

— Ты не плачь, — серьезно сказала Лейли, — я уже послала письмо дяде Мир-Джафару, он нам поможет.

— Кто нам поможет? — угрюмо отозвалась Дарья Михайловна. — Никому мы не нужны. Я вот как осталась солдаткой в четырнадцатом году, так надела суму на плечо и пошла по дорогам просить Христа ради.

Через четыре дня Лизе стало лучше, но ее нужно было кормить, а у Агафьи не было ни денег, ни вещей, которые можно было бы продать. Туяз уже снесла на рынок два своих платья и скатерть. По вечерам женщины сидели молчаливые, печальные,

отдаваясь своим невеселым думам.

Но вот однажды в дом Туяз Мамедовой зашла толстая седая старуха. Сердито покашливая, старуха сняла пальто. На ее синей кофточке сверкнула медаль. Старуха постояла у постели Лизы, мельком взглянула на кукурузную лепешку, лежащую на табурете, и укоризненно сказала Агафье:

— Как не стыдно, ханум? Дочка больна, а ты молчишь? Твоя фамилия Алтухова? А кто здесь Туяз Мамедова?

— Туяз Мамедова — моя мама, — отозвалась Лейли, — она на работе.

Старуха вытащила из потертого портфельчика записную книжку и, расспросив Агафью, откуда она, где ее муж, где муж Туяз, поднялась и опять подошла к Лизе.

— Ты, ханум, не давай девочке кукурузных лепешек, — сказала старуха, — тебе принесут все, что надо.

Помедлив, старуха пытливо поглядела на Агафью.

— Что ты умеешь делать, ханум?

— Я жила дома, — смущенно ответила Агафья, — я ничего не умею.

— Приходи к нам, мы пошлем тебя на курсы. Вот тебе адрес.

Покраснев от радости, Агафья спросила:

— А кто вы будете?

— Я Захра Мусейбова, — улыбнулась старуха, — недавно работала в госпитале, а сейчас в райсовете, проверяю, как помогают семьям фронтовиков.

— Да, — задумчиво сказала Агафья, — на это дело крепкий человек нужен.

Старуха гордо качнула головой.

— А я крепкий человек. У меня муж и четыре сына на фронте.

— Пишет муж? — спросила Агафья.

— Пишет.

— А мой не пишет, — печально сказала Агафья, — наверное, и нет его в живых.

— Ничего, ханум, надо терпеть, надо ждать. Он напишет.

Простившись с Агафьей и детьми, старуха ушла. А вечером, когда вернулась Туяз, она застала в своем доме много незнакомых людей. На табурете перед кроватью Лизы стояли тарелка с печеньем, шоколад, конфеты. На спинке кровати красовались два одинаковых голубых платица с белыми воротничками, на коврик две пары желтых туфель с пряжками, а на окне банки с джемом, сахар, рис, масло, сушеные фрукты.

— Вот и хозяйка, — сказала Агафья, когда вошла Туяз.

Худощавый мужчина, прихрамывая, подошел к Туяз.

— Распишись, ханум. Тебе и Алтуховой выдано по тысяче

рублей денег и продукты. Вот список продуктов. Распишись, пожалуйста, а завтра вместе с Алтуховой зайди в райсовет насчет курсов электриков.

Сидящая на лавке девушка крикнула Туяз:

— Не клади карандаш, ханум. Распишись в получении заказного письма. Письмо хорошее. С фронта письмо. От Касума Мамедова.

— А нам нет письма? — робко спросила Лиза. — Наша фамилия Алтуховы.

— Нет, девочка, вам нет письма.

Туяз нетерпеливо разорвала конверт и, путаясь в быстром переводе с азербайджанского языка на русский громко читала:

«Я и мои товарищи были на волоске от смерти. Наступая, мы не успели оторвать окопчик, и на нас двинулись десять немецких „тигров“. Но один наш бронейщик зажег три передних танка, другие повернули обратно, а то я, наверное, не писал бы тебе это письмо. За этот подвиг наш генерал наградил бронейщика Алтухова орденом Славы, а мы все называли Алексея своим братом...»

И, не имея сил читать, Туяз уронила письмо, пошла навстречу побледневшей Агафье, обняла ее и сказала:

— Сестра моя! Дорогая моя сестра!

Люди у пушек

Идет бой. Над степными курганами, над скатами высоты, над кривой речушкой вспыхивают клубы красноватого пламени — рвутся бризантные снаряды. Всюду, куда ни кинешь взгляд, взмываются черные столбы земли. Над степью разлетаются миллионы жужжащих осколков, точно кто-то вызвал чудовищную грозу.

В блиндаже, совсем близко от высоты, на которой идет бой, расположилась небольшая группа артиллеристов. Отсюда, из того блиндажа, тянутся разноцветные нити проводов ко всем батареям. Отсюда разносятся короткие слова приказа: «Огонь!».

Подполковник Марченко стоит с биноклем в руках. Сейчас он руководит огневым налетом. Сбоку, на опрокинутом патронном ящике, сидит майор Кандауров. Перед ним стереотруба на треноге. В стеклах трубы, там где сходятся строгие линии делений, — заснеженный гребень высоты, фигуры ползущих бойцов, темные контуры немецких блиндажей.

На секунду опустив бинокль, подполковник Марченко досадливо морщится:

— Видишь, — говорит он майору, — наши стали подходить к вражеским блиндажам, а немцы открыли огонь по своим. Пусть, дескать, погибают те и другие.

Круглые стекла стереотрубы фиксируют движение наших бойцов: серые фигуры отползают обратно — губительный огонь бризантных снарядов заставляет их залечь. Между линией немецких блиндажей и нашими бойцами появляется нужное артиллеристам пространство. Немецкие пушки не умолкают.

Подполковник движением плеча поправляет башлык и, не отрываясь от бинокля, кидает налево:

— Кандауров, заткни им глотку!

Майор поворачивается к телефонисту:

— Дивизиону Жукова по цели номер...

Телефонист принимает к трубке:

— «Кама». «Брянск». Шесть десять девять приказывает... огонь!

На вишневых деревцах позванивают тонкие ледяные сосульки. Между заснеженными стволами вырисовываются жерла пушек. Наверху бушует ад. Пламя и дым мечутся над балкой. Но люди не отходят от пушек.

Дивизион старшего лейтенанта Жукова стоит на огневых позициях. Никакие силы не сломят волю артиллеристов. Чувство

долга берет у них верх над обычным человеческим страхом за жизнь. Под страшным огнем они стоят у пушек. Их пушки готовы к бою.

И когда телефонист из блиндажа передает приказ подполковника, люди у пушек действуют отлично. Весь дивизион открывает огонь мгновенно и ведет его в самом быстром темпе.

Одна за другой ухают пушки. Длинные выбросы пламени мелькают между деревьями. Размеренно двигаются наводчики, замковые, снарядные. Дивизион бьет по врагу.

В стеклах стереотрубы видно, как один за другим взлетают немецкие блиндажи. Умолкают подбитые вражеские батареи.

Майор приникает к трубе и отрывисто говорит:

— Хорошо...

Над батареей лейтенанта Хижняка разорвались тридцать немецких снарядов. Казалось, вокруг не останется ни одного живого человека. Но ни один из батарейцев не покинул своего поста.

Командиры орудий сержанты Симоненко и Чистяков, наводчики Цысь и Толмачев, замковые Чанов и Териев, заряжающие Остроухов и Шевченко, снарядные Любичев и Мирошниченко, зарядные Андриенко и Евсюков, досыльные Красноруцкий и Гладков, ящичные Солдатов, Бричкин, Колесник, Ткаченко — все эти люди героически выдержали ураганный огневой налет противника и не покинули пушек до тех пор, пока своим огнем не подавили батареи врага.



И когда наводчик Панченко был смертельно ранен, он упал у пушки и тихо сказал:

— Отомстите за меня, товарищи...

Над степью бушевали громы. Вверху пламя. Внизу черные столбы вырванной снарядами земли. Кипел бой. К пушкам приникли люди. Пушки били по врагу.

Гвардии лейтенант Вихров

Перед рассветом немцев выбили из города. Утром ударил морозец, пошел снег. Огибая взорванный немцами мост, по окраинной улице двигались артиллеристы. Запорошенные снегом тягачи тащили за собой пушки. Пушечные стволы были еще горячими от недавних залпов. Следом за пушками двигались огромные пятитонные грузовики с клеймами немецкой танковой группы. Артиллеристы отбили эти машины ночью и к утру успели нагрузить их снарядами.

На лафете первой пушки, свесив ноги, сидел молодой, сероглазый лейтенант. Бойцы смеялись, должно быть, лейтенант рассказывал им что-то забавное. В его крепкой фигуре, покрасневших от мороза щеках, в его юношеском голосе было столько здоровья, силы, веселья, что он, казалось, заражал окружающих бойцов своей молодой энергией.

Высокий капитан, кутаясь в полушубок, помахал лейтенанту рукой и, обернувшись, сказал:

— Алеша Вихров. Лейтенант гвардейской артиллерии.

Потом, когда мы вошли в избу, капитан рассказал мне о Вихрове.

Это было в районе пяти курганов. Стрелковая часть, настигая отступающего врага, громила немецкий арьергард и к утру врзалась в его боевые порядки. Следом за стрелками шла батарея гвардейской артиллерии. Батареей командовал гвардии лейтенант Алексей Вихров.

Но вот немцы решили смять наступающих стрелков и обрушились на них свирепой танковой контратакой.

— Товарищ гвардии лейтенант, — доложили Вихрову разведчики, — в районе пяти курганчиков обнаружены танки противника.

— Сколько? — спросил Вихров.

— Девяносто семь. Сорок семь тяжелых, двенадцать средних, тридцать восемь легких.

Батарейцы тревожно посмотрели на Вихрова. А он, даже не дрогнув бровью, выбил из мундштука догоревшую скрутку и скомандовал:

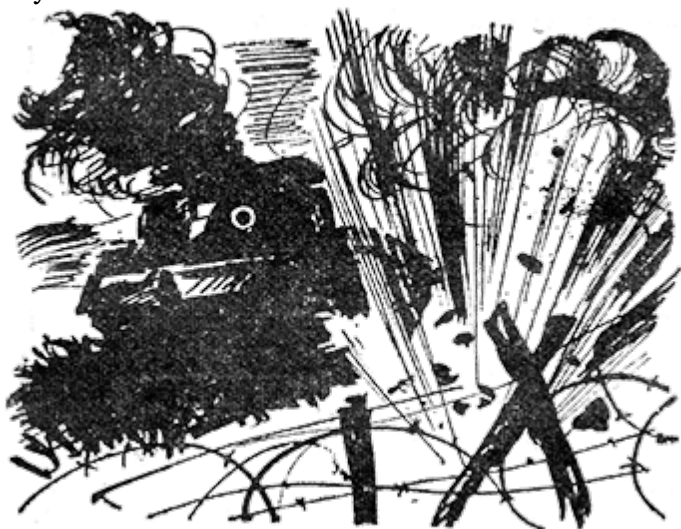
— Изготовиться к бою!

Через три минуты батарея заняла огневые позиции. Вихров решил бить по танкам прямой наводкой. Вскоре танки показались на горизонте, они шли фронтально: тяжелые в середине, средние и легкие по краям. Вихров видел, как рассыпались влево и вправо стрелки. Танки приближались к батарее, уже хорошо были видны

открытые люки передних машин, из которых время от времени показывались головы танкистов.

— Огонь! — скомандовал Вихров.

Грохнули пушки. Серые клубы разрывов мелькали под танками. Танки ответили пушечным и пулеметным огнем и подошли так близко, что высокий бурьян мешал батареям наводить пушки.



Однако Вихров не смутился. В течение одной минуты пушки были выдвинуты из бурьяна. Батарейцы ударили прямо в лоб наступающей колонне. Смерть уже витала над головами гвардейцев. Упал, сраженный немецкой пулей, гвардии сержант Татаршвили, схватился за грудь раненый наводчик. Но залпы батареи не умолкали. Покрытый потом и грязью Вихров командовал осипшим голосом:

— Огонь! Огонь! Красников, уменьшить прицел! Огонь! Короленко, левее! Огонь!

Вот задымился и замер передний танк. Вот — все это видели — пыхнул огнем открытый люк второго танка, завалились набок третий, четвертый... Не выдержав лобового удара, танки повернули вправо и ушли на юго-восток.

Отступая, немцы цеплялись здесь за каждый камень. И вот наш стрелковый батальон, продвигаясь по балке, неожиданно был остановлен ураганным ружейно-пулеметным огнем и частыми залпами шестиствольных минометов.

Немцы закрепились в четырех огромных сараях, спрятанных в глубокой балке «Ч». Атаки батальона были отбиты немцами. Командир батальона просил артиллеристов помочь.

Через десять минут после получения приказа, закончив подсчеты, Вихров весело скомандовал:

— Ориентир справа — отдельное дерево! Левее ноль восемьдесят, больше шесть! Первое — огонь! Второе — огонь!

Сараи окутались дымом. Вспыхнули языки пламени. А Вихров поддавал жару:

— Батарей — восемь снарядов — огонь!

Через четверть часа командир наступающего батальона кричал в трубку Вихрову:

— Довольно. В точку. Мои «кузнечики» пошли вперед... «Кузнечики» ворвались в сараи, перекололи уцелевших немцев и захватили много оружия.

Так гвардии лейтенант Алексей Иванович Вихров бил немцев. Хорошо бил. По-настоящему!

Великое преодоление

Я слышал о нем давно. Десятки людей рассказывали мне о его безумной храбрости, о подвигах, уже превратившихся в легенду, о каком-то изумительном бесстрашии этого человека, о его спокойно-вызывающем презрении к смерти.

И вот я его увидел. На степь надвигалась неясная просинь предвечерних теней. Под набухшим снегом, белеющим на скатах кургана, робко журчали весенние ручейки. Стояли редкие на фронте минуты странной тишины.

Он сидел у блиндажа на опрокинутом патронном ящике, высоко подняв колени. Его походная шинель была измята и забрызгана грязью, на сапогах тоже темнела густая грязь. Захватив двумя пальцами махорочную скрутку, так, что огонек был спрятан ладонью, он курил. Когда я подошел к нему и поздоровался, он, как это обычно делает человек, которому помешали думать, взглянул на меня — у него было усталое лицо и серо-голубые глаза, — потом, помедлив, тихо ответил:

— Здравствуйте...

Перед тем, как я его увидел, мне сказали, что он, находясь в засаде, на рассвете ворвался в немецкий офицерский блиндаж, перестрелял группу офицеров, а двух взял в плен. Командир и комиссар части, рассказывая мне об этом, сообщили, что он представлен к третьему ордену.

Присев рядом, я попросил его рассказать о себе. Он пожал плечами, бросил на землю окурок и, выждав, пока гаснущий в лужице окурок, зашипел, повернулся ко мне:

— О чем, собственно, говорить? Ну, был я учителем, потом стал красноармейцем. Сейчас младший лейтенант. Дома у меня семья — жена, сын, старики. Беспартийный. Сегодня подаю заявление в партию. Вот, пожалуй, и все.

— Как все? — удивился я. — Ведь вы награждены двумя боевыми орденами и за сегодняшний подвиг представлены к третьему. Расскажите, пожалуйста, что произошло сегодня. Мне хочется написать о вас.

Он усмехнулся и взглянул вдаль, туда, где в сумеречной синеве виднелись светлые очертания занятой немцами высоты.

— Знаете, — сказал он, — все это получается как-то... Рассказать тут трудно, а вы, выслушав меня, вероятно, напишете так: «Сегодня в шесть часов утра орденоседец Берестов совершил героический подвиг. Презирая смерть, обливаясь кровью, он» и так далее. Неправда ли?

Я, обидевшись, молчал. Он вздохнул и задумчиво посмотрел

на низкие весенние облака, красноватые от недавнего заката. Потом отвернул забрызганную грязью полу шинели, достал из кармана маленький истрепанный блокнотик и протянул мне:

— Вот... Не так все это. Я тут записывал кое-что. Прочитайте, если охота. Вы тогда поймете, что для меня это было великим преодолением... Впрочем, читайте сами. Вечером я зайду за блокнотом.

Он поднялся и, не простившись, зашагал куда-то вниз, а я пошел в блиндаж и при свете коптилки, вставленной в коробку с солью, стал читать блокнот Берестова. Это были отрывочные карандашные записи, как видно, сделанные наспех, очень короткие, не похожие на дневник — они не датировались, — и я почувствовал, что автору этих записей обязательно нужно было честно и откровенно поговорить с собой.

На первой странице я прочитал: «Сегодня уйду добровольцем в Красную Армию. Не могу оставаться здесь. Мои товарищи, мои братья — все там, на фронте. Жена, узнав о моем решении, заплакала, но ничего не сказала. Она знает, что я никогда не простил бы себе, если б остался... Поезд идет на запад. За окнами вагона мелькают телеграфные столбы, сторожевые будки, покрытые пылью деревья. Все, что прожито, уходит назад. Какой она будет, эта новая жизнь?».



Вторая страница была разграфлена. В первой графе стояли фамилии. Против каждой фамилии Берестов ставил какие-то значки — треугольник, крест, похожий на знак умножения, кружок. Как видно, этими значками он по старой учительской привычке определял качества своих товарищей-однополчан.

На третьей и четвертой страницах я нашел такую запись: «Степная украинская станция. Желтые головки подсолнухов.

Кругом золотая рожь. Пахнет медом и белыми цветами, которые у нас называют березкой. Кажется, будто станция вымерла. Поезда не ходят. Рельсы покрыты ржавчиной. Деревянное здание вокзала разбито авиабомбой. Командир взвода сказал, что мы должны защищать эту пустую станцию. Я не знаю, как она называется — нигде нет вывески. И может быть, я Виктор Берестов, здесь умру...»

«Сегодня был бой. Мы залегли в пшенице. Немцы вели по нас бешеный огонь. Мне было страшно. Вероятно, потому, что я трус. Я лежал в борозде, не поднимая голову, хотел впиться в спасительную землю, исчезнуть, спрятаться. Когда политрук закричал: „Вперед, товарищи!“ — почти все сразу вскочили, а я медлил. Мне казалось, что, как только я подниму голову, первая пуля поразит меня. И я лежал, пока не услышал за собой тревожный и злой голос командира взвода: „Чего ты прилип, Берестов? Вперед!“. Этот голос поднял меня. И вдруг я понял, что самое главное — преодолеть страх, сбросить с себя свинцовую тяжесть страха. Это — великое преодоление, это трудно, но это можно и нужно. Раз я уже в бою, значит, жизнь мне сохранит только бесстрашие, а жизнь моя нужна товарищам, чтобы победить...»

«Есть в человеке чувства, которые сильнее страха смерти. И самое сильное — любовь к своей земле, к своему народу. Я люблю наши русские земли, и утренний туман над сонной рекой, и буйные весны, и гам ребятишек в школе, когда распахнуты окна, и эту степную станцию, названия которой я не знаю, но которую, преодолев страх, должен защищать, ибо, потеряв все это, я перестану жить...»

Читая странички, исписанные крупным, размашистым почерком Берестова, я понял, что он, как и многие его товарищи, впервые попав под обстрел, испытал гнетущее чувство страха, но сумел преодолеть его, уничтожив страх величавым чувством долга.

На последней странице блокнота мне попала фраза, жирно подчеркнутая синим карандашом: «Нельзя встречать опасность, зажмурив глаза. Опасность на войне это не то, что прыжок в холодную воду — она постоянна. Один известный военный мыслитель правильно сказал: „Опасность в сражении не есть мгновение, как кажется многим, ее нельзя сразу проглотить, а придется принимать понемногу, разбавленную временем, как микстуру“. Это правильно. Страх — биологическое чувство, свойственное любому животному. Преодолеть страх может только человек и только человеческими чувствами...»

Когда совсем стемнело, в блиндаж вошел младший лейтенант

Берестов. Он присел на закрытый фанерой бочонок. Я вернул ему блокнот, и вскоре мы — Берестов, политрук Гришин и я — заговорили об опасности в бою и о преодолении страха. Высокий флегматичный политрук, посасывая короткую трубочку, стал уверять нас, что все решает привычка.

— Вы понимаете, — говорил он, — приходит, скажем, к нам необстрелянный новичок. Конечно, ему мерещатся ужасы, под пулями он бледнеет, падает. Разорвется поблизости снаряд — он ни живой, ни мертвый. А побудет на переднем крае пять-шесть дней, все как рукой снимет.

— И все-таки главное не это, — тихо сказал Берестов, — дело не в привычке. Страх исчезает под влиянием очень многих причин: во-первых, это осознание твоего долга перед Родиной и желание победить врага во чтобы то ни стало; во-вторых, стыд перед товарищами, которые на твоих глазах совершают подвиги; в-третьих, непреодолимое желание сблизиться с врагом, подойти к нему вплотную, уверенность в том, что он боится тебя гораздо больше, чем ты его.

— Пожалуй, это верно, но ведь желание сблизиться с врагом бывает только в минуты боевого азарта, — возразил Гришин, — то есть тогда, когда человек быстро движется вперед.

— Ничего подобного, — усмехнулся Берестов, — можно воспитать в себе...

В это время в блиндаж вошел молоденький ефрейтор и спросил у политрука, есть ли командир роты.

— Командира нет. Добыли сведения? «Языка» привели?

— Нет, товарищ политрук, — смущенно объяснил ефрейтор, — мы подползли к самой высоте, а он так стал поливать нас из автоматов, что мы еле отошли...

— А вы думали, что немцы будут поливать вас одеколоном? — сурово сказал Гришин. — Задача вами не выполнена. Идите, подготовьтесь к трем часам!

Ефрейтор ушел. Берестов посмотрел на политрука, и по насмешливым искоркам в его немножко холодных серо-голубых глазах я понял, что он сейчас что-то скажет.

— Каково? — сказал Берестов и, поднявшись с бочонка, взглянул на часы. — Сверьте часы, товарищи. Я вам докажу, что значит воспитание воли и преодоление страха. Сейчас девятнадцать часов. В двадцать один час я приведу в блиндаж «языка».

Он сказал это спокойно и тотчас же вышел. В его ровном голосе была такая твердость, что мы с Гришиным поверили: да, через два часа Берестов обязательно вернется.

Шло время. Каганец слабо освещал земляные стены

блиндажа, выложенный толстыми бревнами потолок, уголок карты на столе, винтовки в углу. Гришин рассказывал о боях под Каховкой, о разгроме румынской дивизии на Днестре, о десанте в Крыму, но мне было понятно, что политрук так же, как и я, все время думает о Берестове.

Минуты тянулись утомляюще медленно. Вначале было тихо. Потом мы услышали частые пулеметные очереди, треск автоматов. В смотровую щель видно было, как над линией немецких окопов взлетают вверх ракеты.

— Черт его знает, — сказал политрук, — напрасно я отпустил Берестова, — ишь, какая потасовка началась. Пора бы ему вернуться. Без пяти девять.

Плащ-палатка, закрывающая вход, качнулась. Слегка подталкиваемый кем-то, в блиндаж вскочил белобрысый немец-солдат в мундире с черной эсэсовской повязкой. Испуганно моргая, он вытянулся у стены и замер.

Следом за ним вошел Берестов. На груди у Берестова висел автомат, шинель была изорвана. Он, прищурившись, посмотрел на нас, поднял левую руку, и взглянув на часы, спокойно сказал:

— Кажется, я не опоздал. Сейчас двадцать один час.

Освобожденный гений

Приближаясь к Пятигорску, каждый из нас думал о тех, кто томился под властью врага в этом дорогом для нас городе, каждый думал о Лермонтове.

— Там жил Лермонтов, — задумчиво склонясь над картой, говорил седой генерал.

— Там умер Лермонтов, — говорил молодой сержант-разведчик.

Мы все помнили оскверненную немцами яснополянскую святыню, мы видели фотографии разграбленного домика Чайковского. И у каждого билось сердце: что же они сделали здесь? Как надругались над гением Лермонтова?

Едва только умолкла стрельба, мы бросились туда, на Лермонтовскую улицу.

Вот он, маленький двор, обнесенный каменной оградой. Вот домик, где жил поэт. Он смотрел на это старое дерево. Тогда оно не было осыпано белым инеем, оно шумело зеленой листвой.

На дверях домика желтеет измазанный клеем листок: «Реквизировано и взято под охрану штабом Розенберга и местной комендатурой, согласовано с высшим командованием армии. Вход в здание и снятие печати запрещено».

«Реквизировано». Значит, бандиты Розенберга объявили лермонтовский домик собственностью Германии. Значит, ревельский чертежник Альфред Розенберг собирался вывезти лермонтовские реликвии в Берлин и там хвастать перед Европой плененным русским поэтом.

«Взято под охрану». Значит, немцы и здесь готовили то, что они сделали в Ясной Поляне — грабеж, кощунство, разорение.

— Но мы все наиболее ценное успели спрятать до прихода немцев, — говорит нам седая женщина в черном платье.

Темной ночью Елизавета Ивановна Яковкина, Наталья Владимировна Капиева и другие женщины — сотрудницы музея закопали во дворе картины, писанные Лермонтовым, вещи, которые принадлежали поэту.

— Мы не все могли спрятать, — объясняет Елизавета Ивановна. — Когда пришли немцы и стали допытываться, какие предметы связаны с Лермонтовым, мы сказали, что здесь нет ничего, никаких подлинников...

Немцы не унимались. По приказу коменданта в домике Лермонтова поселились солдаты. В комнате, где жил родственник и друг поэта Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго), немецкие шоферы пили вино, играли в кости и растаскивали экспонаты.

4 сентября домик Лермонтова изволил посетить господин Зигфрид фон Фегезак, фашистский писака, назвавший себя писателем и переводчиком Гоголя, Тургенева, Лескова.

Фегезак сделал вид, что он очень шокирован размещением солдат в домике Лермонтова, обещал «исправить ошибку коменданта» и развязно сообщил, что отныне «домик будет содействовать ознакомлению немцев с русской литературой и даст понятие о России».

Говорил это, а сам осторожно выпрашивал, где находятся ценные экспонаты. Миссия Зигфрида Фегезака не увенчалась успехом: об экспонатах ему не сказали, а «понятие о России» господин Фегезак получил от бойцов соединений генералов Козлова и Коротеева, когда бежал из Пятигорска.

Уже в августе прошлого года немцы начали онемечивать Лермонтова. Борзописец из гестаповского отдела пропаганды с пеной у рта доказывал в газетках, что Лермонтов «весь вышел из Шиллера» и на сотни строк размазывал версию о «немецких знакомствах» поэта; о его бонне Ремер, гусаре Моллере и т. п.



Так фашисты, превратив домик Лермонтова в казарму, стремились приручить поэта, чьи стихи о Родине были и остаются огненным призывом для каждого бойца Красной Армии. Бойцы изгнали немцев, и вместе с освобожденными пятигорцами перед ними предстал освобожденный гений великого русского поэта-патриота.

У подошвы Машука, окруженный столетними деревьями, стоит высокий каменный обелиск. Здесь пуля убийцы пронзила грудь Лермонтова.

Здесь немецкие палачи стали расстреливать пятигорцев. Вокруг памятника бойцы нашли десятки трупов. Изуродованные

мертвые люди лежали на снегу, и снег был рыжим от человеческой крови.

Бойцы сняли шапки. Они молчали. И в этом молчании была клятва: смертью врага отомстить за смерть сограждан, за оскорбление святыни.

Потом сержант-разведчик поднял руку и сказал:

— Лермонтов освобожден.

Украинец-артиллерист в черной барашковой шапке добавил:

— На Днепре Тарас Шевченко. Мы идем туда!

Три года Ильи Алексеева

Незадолго перед войной Илью Алексеева призвали в армию, так как его году подошел срок служить. Он собрал свой мешок, простился с беременной женой и вместе с другими призывниками уехал на станцию.

Пехотный полк, в котором служил Илья, стоял на западной границе. Вначале служба Илье показалась тяжелой и скучной. Правда, он выполнял все, что от него требовалось, даже заслужил похвалу строгого комбата, но делал все это не так, как хотел бы сам, потому что скучал по своей деревне, по земле, по жене.

Но вот началась война. Полк Ильи Алексеева в первый же день был атакован немецкими танками, понес большие потери и стал отходить на восток. Это случилось 22 июня, утром, в селе Глубоком. Немцы застали наших врасплох.

Едва только полк вышел за село и развернулся, как показались немецкие танки. Илья Алексеев в эту минуту сидел под копной сена и перематывал портянку. И вдруг раздался грохот, вой, крики. Сено загорелось, обожгло Илье шею, и он, как был в одном сапоге, кинулся бежать. Он видел, как его товарищи отстреливались, бросали гранаты, а некоторые бежали так же, как он, и, поддаваясь жестокому чувству страха, стыдясь этого чувства, но в то же время подчиняясь ему, Илья бежал по скошенному лугу и боялся оглянуться, думая почему-то, что его вот-вот убьют.

Бой продолжался шесть часов. Илья упал на обочине дороги, под кустом боярышника, отдышался и, расстегнув подсумки, стал стрелять. Это был неравный, тяжелый бой. Над головой гудели немецкие бомбовозы, со всех сторон скрежетали танки. Черные, покрытые копотью бойцы дрались с жестоким отчаянием, но не смогли сдержать превосходящие силы немцев.



Когда немецкие танкисты, считая, что русский полк уничтожен, повернули влево, к большому шоссе, Илья поднялся. Мимо него проходили бойцы, и уже почти все прошли, а он стоял в одном сапоге, опустив голову, покрытый потом и пылью, и не знал, как все это получилось, и почему он бежал, и что надо было делать. Подняв глаза, он увидел комбата. Комбат, старый кадровый командир, на гимнастерке которого было три ордена, шел, шатаясь, зажимая рукой рану в груди и ничего не видя вокруг. Илья пошел ему навстречу, посмотрел на его лицо и отшатнулся: суровый комбат, которого все боялись, плакал. И потому, как зло были сжаты его брови и закушены губы, Илья понял, что это слезы обиды и гнева, самые страшные слезы...

С боями войска отходили на восток. Уже немцы заняли Житомир и Киев, уже прорвались на Западном фронте, прошли Смоленск. Илья Алексеев мучительно спрашивал себя, что происходит, и не находя ответа на этот вопрос, страдал, как может страдать от бессилия сильный человек. Однажды в незнакомом степном хуторке, название которого он забыл, к нему подошел комбат. Наблюдая, как ловко и сильно выбрасывает Илья землю, комбат скупно похвалил:

— Добре работаешь. Видать, из колхозников?

— Из колхозников, — нехотя ответил Илья.

— Работаешь добре. Так бы немца бил. А то колхозник, видать, из тебя настоящий работяга, а солдат неважный...

Эти слова поразили Илью, и он вдруг понял, что комбат прав, что война — это тяжкий труд, который требует знания и умения, и что если бы он, Илья Алексеев, и все его товарищи знали законы войны так же, как знают законы земли, то все было бы по-другому.

В предгорьях Кавказа произошел случай, который закалил

Илью. Взвод пехоты, где служил Илья, оборонял гору Четырех Ветров. Три недели штурмовали немецкие штрафники эту гору. Нашим взводом командовал армянин Погосян. На второй же день боев Погосян был ранен в грудь, но не ушел, а лежал под кустом, бледный с черной бородой, лохматый. Перед смертью он позвал Алексеева и сказал ему:

— Илья-джан! Прими команду! Держись до последнего!

Илья поцеловал Погосяна в холодеющие губы и пошел к пулемету. Трудно, ох как трудно было удержать высоту! Семнадцать раз поднимал Илья Алексеев своих бойцов в штыковые атаки, забрасывал немцев гранатами. Девять суток просидели бойцы на этой горе, питаюсь сухарями, мучились без воды, но все-таки гору отстояли. Когда взвод Ильи Алексеева был отведен на отдых, сам генерал вручил Илье боевой орден Красного Знамени и крепко пожал ему руку...

Проходили дни. Наши войска перешли в наступление. В бою под Армавиром Алексеев был ранен в руку, но уходить из полка не захотел. Он и теперь думал о родном селе, о жене Наталье, вспоминал отрадные дни колхозной жатвы, иногда тосковал, теперь он уже по-иному представлял свою судьбу, гордился боевым орденом, всматривался в то, что называл «законами войны», много читал и, самое главное, чувствовал свою силу, был убежден, что эта сила крепче немецкой, и знал, что как бы немец ни мудрил, но он, Илья Алексеев, побьет его.

В бою под Запорожьем, когда Илья со своим взводом ворвался в город и, перехитрив немцев, ловко обошел их и уничтожил большой гарнизон в заводском дворе, в полк пришел приказ о присвоении Илье офицерского звания и награждении вторым орденом Красного Знамени...

Изумительный подвиг Ильи Алексеев совершил на Днепре. В это время он уже командовал ротой. Ему было приказано с ходу форсировать Днепр в районе Грушевского, закрепиться на правом берегу и обеспечить подход полка. Ни лодок, ни плота там не было. Алексеев приказал бойцам вырубить рожицу. Ночью подтянули бревна к реке и, точно рассчитав силу течения, вплавь, на бревнах, поплыли к правому берегу. Немцы встретили роту ураганным огнем, но бойцы, прячась за бревнами, преодолели завесу огня, вышли в «мертвое пространство» и зацепились за правый берег. Двое суток они пролежали в болоте, отбивая атаки немцев. В ночь на третьи сутки весь полк форсировал Днепр. Среди других днепровцев Илья Алексеев был удостоен звания Героя Советского Союза...

И вот однажды гвардейский полк Героя Советского Союза майора Алексеева с боями подошел к пограничному селу Глубокому. Весь день майор был задумчив, ни с кем не разговаривал, а к вечеру, когда командир третьей роты сообщил, что Глубокое занято, командир полка сел в машину, выехал за село и долго бродил по зеленому лугу. Потом подозвал адъютанта и сказал:

— Три года тому назад на этом месте я начал войну. Вон, видите, растет куст боярышника. Он тогда тоже был. И луг зеленел так же. Тут все осталось таким же, как было тогда. Только мы все стали другими. Вечером, когда соберутся офицеры, напомните мне, чтоб я рассказал им об одном эпизоде с сапогом. Это будет полезным.

— Каким сапогом? — не понял адъютант.

— Обыкновенным, — сердито ответил майор, — потом узнаете.

Вечером Илья Алексеев перед тем, как рассказать о первом дне войны, заканчивал торопливое письмо жене, в котором писал: «То, что сын Вася не узнает меня, это не мудрено: он никогда меня не видел. Но, мне кажется, что и ты, любимая моя, не узнаешь своего Илью. За три года война изменила меня...».

Д. Мороз и елка

— Д. Мороз — это я, гвардии ефрейтор Демид Антонович Мороз. А про елку будет довольно-таки серьезный разговор, потому что эту самую елку я не забуду по век жизни.

Надо вам прямо сказать, что меня тут с этой елкой здорово подвели два вопроса: первый вопрос — с моей какой-то неудобной фамилией, второй вопрос — это то, что я хоть и награжден знаком отличного разведчика, но за декабрь месяц не смог добыть ни одного «языка». Теперь же, когда вы уже знаете мое предисловие к разговору, можно начинать и самый разговор.



Дело случилось в берлоге зверя, то есть в Восточной Пруссии. Есть у них там такой городишко, что его название без пол-литра не выговоришь, какое-то просто дурацкое название — Шталлупенен. Так вот западнее этого городишки мы и действовали. Противник засел в обороне, а мы, значит, беспокоим его и к наступлению готовимся. Противник, значит, сидит в окопах, разных там заграждений и мин перед собой наставил, а мы выскочили за железную дорогу и тоже окопались. Между нами и противником, как и полагается, расположен рельеф местности — голое, как плешь, поле, а прямо посередке, на ничейной полосе, елка на снегу зеленеет, такая себе обыкновенная елочка-подлеток, она противнику ориентиром служила и была пристреляна на «отлично».

Ну вот, кончается, значит, декабрь месяц. Новый год подходит. Кто-то из ребят возьми и выдумай: а что, дескать, хлопцы, ежели мы себе в землянке под Новый год елку устроим? Цацок, мол, на нее разных понавешаем, патрончиков там всяких,

лампочек от карманных фонариков. Это, мол, будет здорово, посидим мы, дескать, возле елочки, дорогих своих пацанчиков вспомним, сто граммов выпьем за всякие приятные дела, одним словом, Новый год справим.

Ну, мы все, конечно, поддержали эту ценную инициативу и тут же стали решать, куда идти за елкой и кому персонально. Насчет того, куда идти, вопрос был ясен: кроме елки на ничейной полосе, кругом нас на десятки километров не было елок. Насчет же того, кому идти, стали вносить всякие деловые предложения. Сержант Олефиренко возьми и скажи: это, говорит, прямая обязанность ефрейтора Мороза, у него, мол, и фамилия новогодняя, и инициал «дэ» подходящий, и по «языкам» Дэ Мороз недобор имеет, так что пушай, дескать, постарается для праздничного удовольствия боевых товарищей, хоть «языка» елкой компенсирует.

Прямо должен вам заявить: мне это предложение не понравилось ни по форме, ни по содержанию. Такую форму я, в бытность мою секретарем сельсовета, называл «личным выпадом», а что касается содержания, то я не очень желал оказаться под Новый год заместо мишени.

Встал я, значит, и говорю: это, говорю, все правильно, но елка эта для нас малоподходящая, потому что она выросла на немецкой почве и в политическом смысле для нас не подходит. Тут все стали смеяться, а сержант Олефиренко говорит: эта елка, говорит, в данный момент произрастает на ничейной полосе и является нейтральной, и, во-вторых, говорит, еще неизвестно, кто на этой полосе после мирной конференции хозяином будет, потому что землю эту немцы заграбили, следовательно, говорит, указанную елку, за неимением других кандидатур, можно считать вполне приемлемой и подходящей.

На этом вопрос был исчерпан. Ребята взяли у взводного разрешение и стали меня готовить к операции: белый маскхалат надели, флягу русской хлебной налили, достали у саперов ручную пилку, на спину мне катушку с трофейным проводом приспособили и говорят: «Как есть дед-мороз — весь белый и боевыми украшениями снабжен до отказа». Сержант Олефиренко перед операцией полный инструктаж мне сделал: ты, говорит, ползи напрямки, провод за собой разматывай, а там подпили елку ручной пилой, обвяжи ее крепче проводом и дерни за провод три раза, а мы, говорит, в окоп ее в два счета притащим, провод, говорит, крепкий, выдержит. Так он сказал, а потом на прощание добавил: равняйся, говорит, на меня, я, говорит, третьего дня немецкого ефрейтора из-под самого окопа уволок.

Тут в аккурат свечерело, взял я свой карабинчик, гранату за

пояс сунул, вылез из окопчика и пополз по снегу в направлении к елке. Темнота. Ползу я, катушка у меня на спине разматывается, а над головой трассирующие пули путь мне указывают, — это уже наш пулеметчик Паша Вознюк придумал, чтоб я не заблудился и к фрицам не угодил. Ну, ползу я это, ползу, снег локтями разгребаю, перестрелку слушаю, мины у меня над головой посвистывают, левее, слышу, два станковых работают. Ползу это я, время от времени к фляге прикладываюсь.

Дополз я до своего объекта, вижу, елка довольно четко передо мной обозначилась. А только гляжу я дальше и вижу, вроде кто-то навстречу ползет, ну совершенно ясно замечаю: что-то левее елки шевелится. Замер я. Так и есть, немец! Обнаружил он меня, проклятый, и тоже замер. Так мы с ним лежим один от другого на пять шагов, а на фланге у нас заветная елка чернеет.

Прямо скажу, ситуация создалась тяжелая. Стрелять нельзя: сразу же минами накроют. Кулаком — не достанешь. Ползти назад без елки — позор для отличного разведчика. Лежу я, мучаюсь и не могу решения принять. И немец лежит, никакой активности не проявляет. Так мы лежим определенное время, положение наше стабилизировалось, никаких существенных изменений не видно и вообще ничего не видно, потому что темень кругом и даже пурга начинается.

Лежу я, значит, лежу, снег меня засыпает, в середине дрожь от холода пошла, и зло меня берет, что никак не могу вспомнить немецкое название «руки вверх», чтоб, значит, своему противнику предъявить ультиматум. Запомню я это чертово название, хоть убей! Думал я, думал, четыре раза к фляге прикладывался, на пятом разе «вверх» вспомнил — он по-ихнему «хох» будет, — а насчет слова «руки» не могу припомнить. Ну, думаю, ладно: скажу ему «хох», а там пушай хоть руки, хоть ноги поднимает, это уже его дело.

Набрал я в голос погуще баса и говорю немцу: «Руки хох!». Сказал и жду, за гранату взялся. Ну, должен вам сказать, немец оказался вполне грамотный и ситуацию понял сразу, вижу, лезет ко мне, локтями упирается, а руки вверх подняты. Долез до меня, стал на четвереньках и стучит зубами от страха. Тут я моментально принимаю новое ответственное решение: обыскал его, оружие забрал, завязал ему руки и ноги проводом, а сам три раза провод дернул. Гляжу, наши потащили провод, аж снег за моим фрицем столбом встал.

Ну, спилил я эту самую нейтральную елочку, взвалил ее на спину и пополз к своему окопу. Пока полз, вспотел весь. Добрался до окопа и вижу: наши все окружили моего «языка», нашивки его проверяют, в личность смотрят.

Прислонил я елочку к стенке окопа, гордо поставил сбоку две винтовки и говорю сержанту Олефиренко довольно равнодушно: равняйся, говорю, на меня, мой «язык» и по чину старше, и морда у него толще, и взят похлеще, чем твой.

Елка у нас, конечно, была по всем правилам: фонарики горели, мы пели песни, хлопцы меня с медалью поздравляли, а я пил за нашу победу и за наше счастье в Новом году.

Капитан Чекалин сам не знал, почему он решил провести свой месячный отпуск в той самой станице, где он до войны работал зоотехником и где во время оккупации погибли его жена и трое детей. Он не был в этой станице уже несколько лет, из близких ему в ней никого не осталось и его там никто не ждал. Чекалин мог бы поехать в Ставрополь, к сестре, но когда штабной писарь спросил его, до какой станции ему выписывать требование на проезд по железной дороге и какой населенный пункт проставить в отпускном билете, Чекалин подумал, посмотрел в распахнутое окно, за которым голубели в саду мартовские лужи, и назвал станицу Алексеевскую и станцию, отстоящую от нее на двенадцать километров.

После нудной четырехсуточной тряски в битком набитом вагоне Чекалин сошел на разбитой степной станции, посидел возле черного от копоти, покосившегося элеватора и, не дожидаясь попутной машины, закинул на плечо вещевой мешок и зашагал по дороге в степь.

Даже теперь Чекалин не думал о том, к кому он придет и что, собственно, будет делать в этой станице, где его, конечно, успели давно забыть. Он неторопливо шел по дороге, курил, сбивал хворостиной бурые головки сухого дурнишника и вспоминал недолгие три года, прожитые в Алексеевской.



За поворотом дороги Чекалин увидел стоящую на краю вспаханного поля сеялку-семирядку. Запряженные в сеялку рыжие, взмокшие от работы кони стояли, понуро опустив головы.

На земле, очищая щепкой сошники сеялки, лежал смуглый парень в полинялой солдатской пилотке. Заметив приближавшегося Чекалина, он поднялся и вытер руки о штаны.

— Здорово, казак! — издали крикнул Чекалин.

— Доброго здоровья! — сдержанно ответил парень.

Должно быть, внутренне оценивая незнакомого человека, парень скользнул осторожно нащупывающим взглядом по высокой, сутуловатой фигуре Чекалина, посмотрел на его впалые щеки, седые виски, задержал взгляд на погонах и вздохнул. Парню на вид можно было дать лет семнадцать, но Чекалин, глядя на его мальчишеские, облупившиеся на ветру щеки, подумал, что ему не больше пятнадцати.

— Стоишь? — дружелюбно спросил Чекалин.

— Тут хоть не хочешь, а будешь стоять с такой справой, — махнул рукой парень.

— А что?

— Да вот четвертый круг прохожу, а зерно из ящика почти что не убывает, сошники забиваются. Черт его знает, чего с ними делать. А один сошник вон совсем негоден, и семяпровод на шматки рвется.

— Сеялку не берегли зимой, вот и пропали сошники, — сурово сказал Чекалин.

— Она уже у нас годов пятнадцать в работе не была: тракторными сеяли, — виновато объяснил парень, — а после войны опять за конные взялись, потому что немцы тракторы побили и части в реку покидали.

Чекалин положил на землю вещевой мешок и снял шинель. Увидев на его кителе четыре ряда орденских колодок, парень одобрительно хмыкнул:

— Ого! Одиннадцать штук!

— Клещи и проволока у тебя есть? — спросил Чекалин.

— Клещи у бригадира — он к трактору пошел, а проволока есть.

— Давай проволоку.

Чекалин порывлся в вещевом мешке, достал пустую противогазную сумку, отрезал от нее кусок брезента и довольно быстро починил перегнивший семяпровод. Потом он осмотрел сеялку, оглянулся и сердито крикнул стоящему за спиной парню:

— Ты! Герой! Ворон ловишь, а за нормой высева не следишь! Рычажок у тебя на циферблате передвинулся до отказа.

— Это бригадир устанавливал, я рычажка не трогал, — смущенно объяснил парень.

Осмотрев конскую упряжь и почистив сошники, Чекалин снял пояс, кинул его на мешок вместе с фуражкой, расстегнул ворот

кителя и сказал парню:

— Ну-ка, смотай вожжи и вежи коней. Попробуем!

Парень намотал вожжи на руку и взмахнул кнутом.

Чекалин пошел за сеялкой, прислушиваясь к легкому постукиванию сошников. Крышка высевающего ящика была открыта, и Чекалин видел, как, образуя семь одинаковых воронок, янтарно-золотистое зерно равномерно потекло через сошники в землю. Чекалин удовлетворенно захлопнул крышку.

Он шел по влажной земле, ощущая на сапогах ее тяжесть, жадно вдыхал соленый запах конского пота, покрикивал на лошадей и, не обращая внимания на удивленно оглядывающегося парня, хрипловато запел фронтовую песню.

— Как тебя зовут, казак? — крикнул он парню.

— Пашка! — спотыкаясь, откликнулся парень.

— Чей же ты будешь, Пашка?

— Овчаровых.

— Из Алексеевской?

— Из Алексеевской.

— А кто у вас председатель колхоза?

— Тимофей Иванович, Грачев фамилия.

— Какой Тимофей Иванович? Тимошка, что ли? Тех Грачевых, что напротив колодца жили?

— Ну да. Он потом комбайнером был, двумя орденами награжден.

Чекалин засмеялся. Он вспомнил семнадцатилетнего Тимошку Грачева, которого в тридцать восьмом году нещадно отодрал ремнем за то, что мальчишка, озируя в ночном, потравил конями опытный участок. С тех пор прошло девять лет и много воды утекло. Какой же он стал, этот Тимошка?

На шестом заходе Чекалин осторожно спросил у Пашки:

— А ты Ольгу Чекалину знал?

— Это которая в детских яслях работала? — осведомился Пашка. — У нас в колхозе Ольгу Васильевну все знали. Немцы расстреляли ее на овцеферме. Тридцать шесть душ их загнали тогда на овцеферму и вместе с детьми постреляли. Их всех наши похоронили в братской могиле возле стансовета...

Чекалин больше ни о чем не расспрашивал Пашку. Он, опустив голову, шел за сеялкой, думал о жене, о детях (младшего сына он никогда не видел), вспоминал лицо Ольги, и ему казалось, что она вот-вот появится на дороге, придет сюда и принесет ему завтрак в холщовой, расшитой красными нитками сумке, как, бывало, давно приносила, когда он работал на ферме.

Так он вспоминал день за днем их жизнь, и острая боль, которую уже утихомирили четыре года его одиночества, вновь

сжимала его сердце, но он, вслушиваясь в шум ветра и покрикивая на коней, шагал и шагал за сеялкой, отгоняя от себя эту боль и думал о том, что теперь его друзья по полку и солдаты пехотной роты, которой он командует, стали его семьей и он отдаст им все, что должен и может отдать.

После полудня Чекалин всыпал последнюю пшеницу в ящик, тряхнул мешком и, взглянув на незасеянный участок, укоризненно сказал Пашке:

— Просчитались вы, брат, с вашим бригадиром. Зерна не хватит. Бери мешок и гони к бригадиру, пусть там насыплют килограммов десять...

Пашка передал Чекалину вожжи, взял мешок и уже отбежал было шагов на двадцать, потом вдруг остановился, как вкопанный, вернулся и подозрительно долго смотрел на Чекалина.

— А вы, дядя, того, — несмело сказал он, — вы чей будете?

— А что? — удивленно спросил Чекалин.

— Как так что? — рассердился Пашка. — Не могу ж я доверить вам коней и пшеницу. Там в ящике пшеницы, должно, с полпуда будет.

— Дуй, дуй, — расхохотался Чекалин, — бдительный какой! Иди, я покажу документ!

Он вынул из кармана офицерское удостоверение и с серьезным видом протянул Пашке:

— На, читай!

Пашка поднял брови, губы у него дрогнули.

— Так вы, значит, Чекалин Корней Петрович, муж Ольги Васильевны?

Не дожидаясь ответа, он взмахнул мешком и побежал по полю к дороге.

Чекалин продолжал сеять. Кони шли неторопливым шагом, чуть поскрипывали колеса сеялки, и подрагивающие сошники, разрыхляя острыми железными носами подсохшую на ветру землю, оставляли за сеялкой темную полосу жирной, липкой от влаги земли. Сзади, за сеялкой, опускались летающие над пахотой вороны, деловито прыгали по бороздам воробьи, стрекотали пестрые сороки.

Часа через полтора на дороге показалась бедарка, в которой сидели Пашка и одетый в серый дождевик человек с потертой папкой в руках. Это был председатель алексеевского колхоза «Красная звезда» Тимофей Грачев.

Увидев бедарку, Чекалин остановил лошадей и вытер платком потное лицо.

Грачев подошел к нему и укоризненно закричал:

— Что ж это вы, Корней Петрович, как снег на голову! Здравствуйте! Написали бы нам!

Чекалин, смутившись, сказал, что он неожиданно для себя самого решил провести отпуск в Алексеевской и хотел пожить тут месяц так, чтоб никого не беспокоить, но Грачев сердито махнул рукой:

— Берите ваши вещи и поедem в станицу, это ж прямо совестно получается.

Попрощавшись с Пашкой, Чекалин уселся в бедарку и поехал в станицу.

По дороге Грачев успел рассказать ему, что колхоз сохранил свое стадо (оказывается, сам Грачев семьдесят девять суток гнал стадо с Дона в Башкирию, потом, после освобождения станицы, пригнал коров и овец обратно), что много хат в станице разрушено и фермы все сожжены, но что сейчас из армии вернулись многие колхозники и хозяйство восстанавливается.

— А как работают фронтовики? — спросил Чекалин.

— Хорошо работают, — ответил Грачев, — но есть у нас один — Зиновий Гречишный, может, помните, так он водку хлещет да на каждом собрании кричит, что мы ему в ноги должны кланяться, потому, дескать, что он кровью нас от немцев спас.

— Чего ж он пьет? — угрюмо осведомился Чекалин. — Может, горе у человека есть?

— Какое там горе! — отмахнулся Грачев, — Семья у него в целости осталась, а жинка его, Дарья, до приезда Зиновия работала как следует, а он ее сбил с пути. Пушай, говорит, теперь на нас те поработают, кто порошу не нюхал.

Грачев привез Чекалина к себе домой, накормил его сытным обедом и предложил остаться у него на весь месяц, но Чекалин не захотел стеснять Грачева — у того была восстановлена только одна комната, в которой помещались шесть душ, — и нашел себе угол у старухи-вдовы Агафьи.

Первый день он ходил по станице, осматривал недостроенные хаты, от которых пахло сосновыми стружками и свежей глиной, заглянул на скотный двор, побывал в кузнице, потом долго стоял на разоренной гребле высохшего пруда и смотрел на уродливые пеньки вырубленных верб.

Только перед вечером он медленно пошел по пыльной широкой улице к стансовету и молча остановился у братской могилы с потемневшим от дождей и солнца деревянным памятником, на всех четырех сторонах которого чернели выжженные горячим железом фамилии погибших.

Среди других фамилий он увидел третью сверху строчку: «Чекалина О. В., Чекалина Е. (это была его старшая дочь Женя),

Чекалина З.» (это была его вторая дочь Зина). Четвертой по счету стояла только фамилия «Чекалин», за которой видна была мелкая надпись: «От роду ему было восемь дней и имени он не имел». Это был его, Корнея Чекалина, сын, которому Ольга не успела дать имени...

Прошло три дня. Чекалин уже узнал ту жизнь, которой жили станичники. Ему успели рассказать обо всех, кто погиб на войне и кто был ранен, кто вернулся инвалидом, а кто умер при немцах. Ему рассказали обо всем, что сделано за последние четыре года и что еще надо сделать, чего не хватает и что трудно достать.

Чекалин слушал мужчин и женщин, которые сходились по вечерам к Агафьиной хате, расспрашивал их обо всем том, что составляло их жизнь, а рано утром вставал и уходил на работу. Как-то так получилось, что он каждый день находил себе дело: то помогал крыть крышу многодетной вдове Федосье Ивановне, то до темноты бил молотом в кузнице, то сеял с Пашкой ячмень и овес, то затеял осмотр всех лошадей и коров, чистил конские копыта, следил, как девушки-доярки выпаивают телят, чинил с конюхами сбрую.

Гречишного, о котором рассказывал Грачев, Чекалин увидел только на воскресном собрании. На этом собрании Тимофей Грачев делал доклад о ходе посевной кампании, потом колхозники стали говорить о необходимости строительства школы и детских яслей, и когда заговорили об этом, сидевший в углу Чекалин попросил слова.

— Я пробуду здесь еще девятнадцать суток, — негромко сказал он, — и мне хотелось бы поработать эти дни. Пока люди заняты в поле, разрешите мне начать работу по строительству детских яслей. Проект я видел, это штука нехитрая, саман у вас приготовлен, лес тоже. Дайте мне в помощь двух-трех женщин. Мы начнем работу. За три недели можно многое сделать.

Метнув взгляд к дверям, у которых сидел Гречишный, Чекалин сказал:

— Мне поможет в работе демобилизованный лейтенант товарищ Гречишный. А когда я уеду в полк, Гречишный закончит эту работу. Пусть эти самые ясли будут вам памятью от фронтовиков.

Через два дня Чекалин и Гречишный приступили к работе. Им помогали шесть женщин, среди которых была и жена Гречишного Дарья. Уже через две недели стены четырехкомнатного домика были возведены и деревянные полы, застланные новыми досками, распространяли терпкий запах сосны.

— Ты не беспокойся, Корней Петрович, — взволнованно

говорил Гречишный Чекалину, — я закончу ясли к сроку. Даю тебе гвардейское слово, и слову этому можно верить, потому что совесть ты во мне пробудил, будто по боевой тревоге поднял меня на дело.

В последний вечер пребывания Чекалина в Алексеевской к недостроенным яслям сошлись почти все колхозники. Они сидели на бревнах, курили, долго расспрашивали Чекалина об армейской жизни.

— Вы можете положиться на нас, — говорил Чекалин. — Мы делаем свое дело и выполняем свою солдатскую службу так, как положено. Мы не подвели народ в этой войне и никогда не подведем.

Уже уезжая, он долго инструктировал свинарок, заглянул в кузницу, поговорил с Пашкой, посоветовал Грачеву обязательно загатить к осени греблю и посадить на берегу будущего пруда молодые вербы, обошел всю станицу и простился со всеми колхозниками.

— Приезжай к нам, Петрович, будем ждать, — говорили Чекалину колхозники.

Пашка увозил Чекалина на станцию. Они медленно ехали по степи в покачивающейся на рессорах бедарке, и Чекалин, всматриваясь в зелень озимых и в черные полосы засеянной тучной земли, думал о том, как расскажет товарищам о своем отпуске, о людях, с которыми подружился, и о той самой земле, которую он, Чекалин, как хозяин, отстоял в бою и полюбил навсегда.

Письма из Германии

Дорога на Берлин

Мы едем на фронт. Мерно подрагивая на стыках рельсов, поезд идет на запад. На деревянных нарах солдатской теплушки зеленеют срезанные еловые ветки, в круглой печурке потрескивают сосновые щепки, теплушка наполнена горьковато-смолистым запахом хвои.

Вокруг печурки сидят и лежат солдаты. Большинство из них возвращается на фронт из госпиталей — они спокойны и сосредоточенны. Покуривая сигарки, они говорят о сводках Информбюро, о боях, в которых им доводилось бывать, о семьях, о весенней пахоте, хозяйским глазом окидывают поля и степенно оценивают качество озимых посевов. Но среди солдат есть и новички. Сгрудившись у дверей теплушки, они с любопытством следят за мелькающими полустанками, поют, смеются. Точно молодое вино, бурлит в них шумливая юность: они на каждой остановке прыгают вниз, борются, бегают, позванивая котелками, за кипятком.

Уже осталась позади родная земля. Уже загорелые пограничники в зеленых фуражках проверили документы. Уже зазвучала вокруг нас незнакомая речь. Поезд идет дальше. Яркими лоскутками озими, темными полосками зяби, сосновыми перелесками проплывает мимо земля польская. В полевых бороздах, отражая весеннее небо, голубеют апрельские разливы воды, на горизонте высятся острые крыши костелов, по дорогам несутся велосипедисты в квадратных конфедератках.

На разрушенных вокзалах — они превращены немцами в сплошные руины — снуют толпы беженцев-поляков, освобожденных Советской Армией и возвращающихся на восток. В петличке у них бело-красная ленточка — отличительный знак поляка от немца, знак, которым гордится каждый польский патриот. Помахивая платками, польские девушки радостно приветствуют солдат.

Мы въезжаем в предместье Варшавы — Прагу. Вот впереди сверкает широкая Висла. На ее желтых берегах резко оттушеваны темные зигзаги немецких окопов, видны густые ряды проволочных заграждений. Замедлив ход, поезд плавно идет через мост. Перед нами столица Польши — Варшава.

Онемев от горести и гнева, мы молча смотрим вперед: из-за Вислы медленно наплывает трагическая панорама Варшавы,

разбитой, израненной, сожженной, черной от копоти, багряно-красной от россыпи кирпичей, изуродованной и страшной.



Нам кажется, что на пепелище этой гигантской Помпеи, замученной, замордованной немцами, мы не увидим ничего живого. Но нет, по улице проходят саперы польского войска. Подняв на плечи ломы и лопаты, они идут ремонтировать полусожженный дом. Школьники и школьницы очищают от мусора спортивную площадку. Ломовые извозчики куда-то увозят битый камень. Молодые женщины в кокетливых беретах и шляпках трудятся на огородах. Воодушевленные любовью к родному городу, варшавяне уже приступили к восстановлению многострадальной столицы.

На поля ложатся первые тени весенних сумерек. Белеют на дорогах полосатые шлагбаумы. Молодые солдаты затягивают протяжную фронтовую песню. Не останавливаясь на полустанках, поезд идет по линии Сохачев — Кутно — Познань.

В Познани людно и шумно. Город хотя и пострадал, но многие здания целы, вокзал чист и уютен, по улицам, весело позванивая, пробегают трамваи. Из установленных на перекрестках репродукторов слышатся русские и польские песни, бойкие газетчицы выкрикивают названия газет.

Здесь, в Познани, мы покидаем обжитую теплушку нашего эшелона, чтобы пересесть на автомашину. Трамвай доводит нас до улицы Домбровского. Отсюда начинается прямое, как стрела, асфальтированное шоссе. В самом начале его — высокий столб с белой стрелой. На стреле короткая черная надпись: «Берлин».

На шоссе шумно. Вот возвращается в город группа девушек — они работали на огородах. Вот бредут четыре пленных немца. В неуклюжих, мешковатых шинелях, утрюмые и насупленные, они

несут с собой молотки, гвозди, краску и по указанию энергичного юноши-солдата подкрашивают столбы арок, прибивают таблички, подметают дорогу. О, у них, этих пленных, уже нет горделивой осанки «покорителей мира»: сутулясь, шаркая подошвами истоптанных сапог, они бредут по шоссе и беспрекословно выполняют то, что им приказано.

Контрольно-пропускной пункт. Дежурный сержант быстро проверяет наши документы, шестом подает знак регулировщику, тот взмахом красного флага останавливает попутную машину.

Регулировщикам трудно: на шоссе — непрерывное движение — грозно громяхая гусеницами, проходят самоходные пушки; подняв кверху круглые чаши закрытых брезентом рефлекторов, медленно двигаются прожекторные установки; точно метеоры, на «виллисах» и мотоциклах проносятся офицеры связи; низко урча, ползут тяжело нагруженные боеприпасами «зисы», «студебеккеры», «доджи». Все это, словно могучий, неотвратимый поток, движется по направлению, указанному белой стрелкой с надписью: «Берлин».

Дорога на Берлин! Город там, впереди, где-то очень недалеко, вот за этими невысокими холмами, за синими перелесками.

Летит машина по берлинской дороге, и весенний ветер доносит с запада все нарастающий гул пушечной канонады.

Шумит весенний ветер, одеваются молодой листвой деревья, все громче и громче гремят наши пушки, и на сердце радостно и легко: скорее в бой! Скорее туда, где советские полки огнем и штыком прокладывают к Берлину дорогу нашей победе!

Земля врага

Сложные чувства овладели нами, когда мы покинули последний польский городок Мендзыхуд. Западнее этого городка, самое название которого немцы хотели вытравить у поляков, лежит заветная черта — рубеж Германии. Быстроходный «виллис» мчит нас по шоссе.

Вот оно, логово врага! Через пять минут мы ступим на немецкую землю. Плавный поворот — и перед нами вырастает высокая арка с белым полотнищем. На полотнище надпись: «Тут была старая граница Германии».

Трудно передать, что мы почувствовали, когда «виллис» на полном ходу миновал арку и устремился к первому немецкому городу Приттиш. Горделивое сознание исторического подвига, свершаемого нашей армией, ненависть и презрение к мечущемуся в агонии лютому врагу, радостное ощущение близкой победы —

все это волновало нас в те мгновения, когда мы проезжали под аркой нашей победы.

В городе Приттиш мерзость запустения: копотью недавних пожаров покрыты аляповатые вывески с именами владельцев-лавочников, на подоконниках и на порогах разрушенных домов черный слой сажи, вдоль пробитых снарядами стен улеглись перевернутые машины, телеги, сожженные танки.

Мы вглядываемся в полумрак пустых комнат: в простенках висят раскрашенные открытки с розовыми ленточками, по углам увядают желтеющие растения в цветочных горшках, на комодах фотографии самодовольных молодчиков в эсэсовских мундирах. Мы смотрим на все это и думаем: «Тут жили враги».

Мы проезжаем прифронтовые города и деревни Ландсберг, Дюрингсдорф, Витц, Гольмюц, Требиш. На балконах домов видим белые простыни на древках. Их вывесили немцы-обыватели. А вот и они сами, «раса арийских господ», «покорители мира»: шлепая деревянными башмаками, проходит сутулый, небритый старик в черной шляпе; две толстые фрау в фартуках, боязливо поглядывая на улицу, пьют у окна мутно-коричневый кофе; пять или шесть белесых фрейлейн суетливо копаются на огороде; мальчишки с овчаркой куда-то гонят пеструю корову. Все они: и старик, и фрау, и фрейлейн, глядя на наших бойцов, лстиво улыбаются, поднимают в знак приветствия руку, словом, всячески стараются подчеркнуть свою «лояльность» и сугубо мирные намерения. Но в глазах скромных и прилизанных фрейлейн нет-нет да и вспыхнет злоба, а в подвалах домов бойцы находят отравленную ветчину. И поэтому на каждом шагу наших солдат встречает большой плакат с предостерегающей надписью: «Боец! Ты в логове врага! Будь бдительным и осторожным!».

Мы едем через переправу. Желтовато-мутный, беспокойный, внизу несет свои воды Одер. Течение уносит на север обгорелые бревна, ящики разбитых телег, какие-то щепки. На крутом берегу слева темнеют кирпичные стены фортов. Впереди — зеленеющие молодой листвой рощицы, высокие каменные дамбы, дома, крытые красной черепицей.

Тут, за Одером, начинается плацдарм прямого берлинского направления. Он пока имеет восемь километров глубины и несколько десятков километров по фронту. Но как немцы ни пытались сбить наши войска с этого плацдарма, у них ничего не получилось. Наступающие части уже успели освоить каждый мало-мальски выгодный рубеж: окопались в полях и на окраинах деревень, в дубовых перелесках установили пушки, прочно прикрыли с воздуха переправы.

Сотрясая воздух, стреляли дальнобойные орудия. От их оглушительных залпов, точно тронутая великаном гигантская струна, басово гудела земля, жалобно дребезжали стекла случайно уцелевших оранжерей и между стволами деревьев мелькали вспышки пламени.

В воздухе беспрерывно патрулировали наши истребители. Быстрые, острые, как стрижи, они носились вдоль покрытых пылью дорог, взмывали вверх, кружились над лесами, устремлялись за линию фронта. Если отдельным немецким самолетам удавалось прорваться к реке, их встречал ураганный огонь зенитной артиллерии. Главная задача, поставленная вражеским командованием, — разрушение переправ через Одер, — оказалась не под силу немецким летчикам.

Перед вечером немцы решили уничтожить переправы наиболее мощным и с их точки зрения «неотразимым» оружием — самолетами-бомбами. В семнадцать часов наши наблюдатели отметили появление двух спаренных самолетов. Дружно защелкали автоматические зенитные пушки. Верхний самолет отцепился, а нижний пошел в пике и, врезавшись в землю, взорвался довольно далеко от переправы. Такой же промах сделали и остальные четыре самолета, раньше времени отцепленные напуганными огнем летчиками.

До этого дня применения вражеских самолетов-бомб на плацдарме еще не было, и наши офицеры решили поговорить с бойцами, разъяснить им назначение и характер расхваленного немцами оружия. Я слышал, что сказал по этому поводу своему офицеру пожилой боец Никифор Медведев.

— Пущай он хоть в четыре этажа городит эти самые самолеты, все равно из этого рая у него не выйдет ничего, — усмехнулся Медведев. — Для того, кто побывал под танками, никакой самолет не страшен.

Вечером мы были в землянках одного из батальонов. Землянки эти, точно норы, вырыты под дамбами, на берегу оросительного канала, на изгибе дороги. Они так хорошо замаскированы, что их почти невозможно найти. Поэтому на каждом стоящем на перекрестке столбе, на деревьях, на стенах разрушенных домов вы встречаете фанерные стрелы с фамилиями командиров подразделений: «Хозяйство Ивушкина», «Хозяйство Дружинина», «Хозяйство Фролова».

Батальонные землянки вызвали у нас изумление. Могу признаться, что мы никак не ожидали увидеть на узкой ленте плацдарма такие добротные, даже комфортабельные землянки: в каждой из них дощатый пол, обшитые картоном или досками стены, столики, стулья, полочки для посуды. Вокруг землянок

глубокие укрытия для машин, для лошадей. Все это замаскировано сетями, на которые нашита серая, под цвет земли ветошь, и когда ты идешь по дороге, трудно различить, где кончаются груды придорожных камней и где начинаются землянки.

Тут мы встретили многих ветеранов Кавказской битвы. В офицерском блиндаже Сызранова собрались Герои Советского Союза, закаленные в боях орденосцы, те, которые прошли страдный путь от Эльбруса до Берлина. Вглядываясь в их мужественные, загорелые лица, мы проникались гордостью за своих старых соратников, долго говорили с ними о былых походах, и перед нами раскрывались прекрасные человеческие судьбы, волнующие подвиги патриотов.

Вот, например, Герой Советского Союза сержант Алексей Тяпушкин. Когда-то он был в плену у немцев, на Северном Кавказе сидел в лагере смерти, откуда его и других освободили войска генерала армии Тюленева. С того памятного дня прошло три года. За это время Алексей Тяпушкин уничтожил из своей пушки пять тяжелых вражеских танков, истребил много гитлеровских солдат и поджег много дзотов.

Вот Герой Советского Союза капитан Мирзоев. Кажется, еще недавно он жил в родном Азербайджане, работал слесарем, потом был военруком средней школы. Мирзоев оборонял Кавказ вместе со своими учениками, громил немцев на Висле и Одере, успел поседеть. А недавно ему и его ученику — в школе Мирзоев учил его стрелять из малокалиберной винтовки — одновременно присвоили звание Героя Советского Союза.

Вот сидят они все, наши старые боевые друзья, возмужалые в сражениях солдаты: лейтенант Георгий Ломов, старшина Галустян, старший сержант Мамед Мириев, ефрейтор Датико Мотелюк, и грудь их украшена многими орденами.

— За это время мы прошли большие дороги, — задумчиво говорит смуглый Мириев, — мы научились побеждать.

— А помнишь, Мамед, под Моздоком? — перебывает его Галустян, и это «а помнишь?» повторяется до ночи.

Мы вспоминаем былое — оно еще не успело остыть в наших сердцах — и говорим о завтрашних боях...

Вокруг нас бушует огненный смерч. Немцы сегодня в пятый раз обстреливают позиции батальона. Мы ползем вверх по дамбе и смотрим вперед. Там, в сорока метрах от нас, горит пустой дом. Слева, из двух стоящих отдельно сараев, строчат немецкие пулеметы.

— Пусть побалуются, — хрипловато басит Ломов, — недолго им осталось обстреливать дамбу. Завтра утром мы их стукнем.

Уже есть приказ о расширении плацдарма. Надо расчищать дорогу на Берлин.

Пока мы разговариваем, справа возникает резкий шум. Через Одер, стуча по бревенчатому настилу переправы, идут наши танки. Переправа окутана дымовой завесой. Багряно-розовая, мерцающая в ближних сполохах пожаров, над рекой стоит туча дыма, и в этой величественно-грозной туче гремит несмолкаемый лязг. Танки идут за Одер...

Швибус — Ландсберг — Кюстрин

Мне хочется рассказать о трех немецких городах, лежащих на пути к Одеру и составляющих треугольник, вершина которого — Кюстрин — придвинута к самой реке.

Швибус, например, до войны был обычным провинциальным городком. В нем жили четырнадцать тысяч немцев «средней руки»: торговцы, ремесленники, чиновники, огородники, рабочие. Солидная фирма «Ридлер и сыновья» имела в Швибусе четыре суконные фабрики; родственник Ридлера построил картофельный заводик, на котором изготовлял патоку; где-то на окраине ютилась щетинно-щеточная фабрика.

Но вот наступила война. Гитлеровцы довольно быстро и аккуратно «скушали» Бельгию, Голландию, Данию и начали свой церемониальный марш по Европе. Из Бельгии в Швибус были привезены присвоенные немцами заводы резиновых изделий. Эти заводы получили государственный заказ: изготовить огромное количество надувных резиновых лодок, плотов и поплавков. Глядя на тупорылые лодки, обыватели Швибуса самодовольно усмехались и говорили о походе «фюрера» за Вислу и Днепр.

К новому, 1942 году в каменных домах Швибуса появились пианино киевской фабрики, белорусские вышитые полотенца, мебель из Гродно. Обыватели возбужденно подсчитывали «трофеи» и ожидали скорого сообщения о взятии Москвы.

Однако, как говорится, человек предполагает... Ныне Швибус почти пуст. За стеклами витрин, покрытые пылью, красуются электрические утюги, детские соски, конторские линейки, календари, но хозяев нигде не видно.

Гитлеровцы покидали Швибус на предельной скорости и оставили в городе много военного имущества, провианта и фуража. Когда наши бойцы ворвались в Швибус, на кухнях еще горели плиты и кипели немецкие картофельные супы. Те же из обывателей, какие не успели уйти, торопливо подняли белые флаги и встретили советских солдат угодливыми улыбками.

В самом центре Швибуса, в безвкусных комнатах угрюмой большой гостиницы две девушки, ефрейтор Аня Репина из Ленинграда и красноармеец Валя Беликова из Калача, быстро создали наш русский уют, и любой боец, ехавший на близкую линию фронта, находил там тепло и отдых.

В Ландсберге меня взволновал вид маленького кладбища. Оно стоит между деревьями городского бульвара. На этом кладбище покоится прах солдат и офицеров, героически сражавшихся за счастье нашей земли. Боевые друзья поставили над каждой могилой деревянный памятник, украсили его венками и начертали имена павших бойцов: старший лейтенант Яков Гаркавенко и красноармейцы Черкасов и Кучернюк, сержант Василий Коваль и девушка-санитарка Тоня Бубенчикова.

В середине, под старой липой, — две могилы. Их надгробья голубеют среди молодой зелени деревьев, сверху поставлены два пропеллера. Тут погребены летчики-истребители: лейтенант Советской Армии Иван Покашевский из Бердянска и лейтенант американской армии Гарольд Уантресс из Огайо. Оба они отдали свои жизни за свободу человечества.

Город Кюстрин — старая немецкая крепость. Как известно, гитлеровцы с упорством смертников цеплялись за ее мощные форты, но победоносные советские войска ударами с юга и севера обошли крепость и в жестоких боях окружили и пленили ее гарнизон. Кюстрин пал, открыв дорогу на западный берег Одера.

Мы въезжали в Кюстрин в пятом часу дня и медленно пробирались к переправе. Город разнесен вдребезги. Рыжей кирпичной пылью разбитых фортов покрыты изрытые воронками улицы, стены сожженных домов, поваленные снарядами деревья. Наклонены вниз и каждую секунду готовы рухнуть крепостные вышки. Точно вздыбленные в агонии звери, задраны вверх развороченные бомбами настилы мостов. Тут, в этом диком хаосе камней и железа, почти невозможно было разобраться, иногда терялись даже очертания улиц.

Неутомимые регулировщики направляли поток машин к переправам через Варту и Одер. Над деревянными переправами кружили немецкие самолеты. Часто стреляли наши зенитки. В воздухе не прекращались бои.

Голубеющая в широких весенних разливах, перед нами лежала широкая долина Одера. На горизонте метались черные клубы разрывов. Одер остался сзади.

Мы на плацдарме. Вот за теми деревьями, за невысокими холмами, за озерами — Берлин.

В каменном хаосе многоэтажных развалин ползут густые тучи кирпичной пыли. Время от времени с тяжким грохотом рушатся стены, загромождая улицы горами камней, стекла и железа. Слева неясно проступают очертания сожженного Силезского вокзала. Впереди — короткие вспышки пламени, оглушительные взрывы, мелькающие в воздухе темные комья вырванных из мостовой торцов и сухой стрекот пулеметов и автоматов, который кажется совсем слабым.

Пехотный батальон майора Михаила Яковлева ведет бой на Хольцмаркштрассе, одной из центральных берлинских улиц. Хольцмаркштрассе грохочет, пышет дымом и пламенем, содрогается от частых взрывов. Точно гигантская змея, протянулась эта улица по правому берегу реки Шпрее. Кое-где она отклоняется от прямой линии, слегка поворачивая то влево, то вправо, и это очень затрудняет наблюдение.

Батальону Яковлева досталась тяжелая работа: немцы вцепились в каждую уличную баррикаду, в каждый дом, в каждый подвал. Они притаились в развалинах, за косяками дверей и в проемах окон, на чердаках и в пролетах лестниц. Нужно выкуривать их буквально из каждой щели.

Впереди ведет бой девятая рота капитана Олейникова. Перебегая от подвала к подвалу, бойцы на ходу бросают гранаты, обстреливают двери и окна из винтовок и пулеметов. Точно серые привидения, несутся они в дыму и пламени. Их потные лица покрыты красноватой кирпичной пылью, губы крепко-накрепко стиснуты, пилотки сбиты на затылок.

Прижимаясь к горячим, черным от пепла и сажи стенам, мы бежим вдоль улицы. Тонко и злобно высвистывают пули. Сзади рывкают тяжелые танки, которые бьют по домам прямой наводкой. Навстречу нам неторопливой рысью пробегают собачьи упряжки. За низкими тележками — в них лежат раненые — бегут санитары в защитных плащах. Умные собаки огибают конские трупы, остовы разбитых пушек и машин и везут раненых по самым ровным местам. С каждым метром нам приходится все чаще ложиться. Продвигаться вперед очень трудно: середина улицы простреливается, а на тротуары рушатся верхние этажи горящих домов. От дыма и едкой пыли тяжело дышать, по лицу и рукам больно бьют горячие, острые, как иглы, черепичные осколки.

Вот, наконец, овощной подвал, в котором на несколько минут разместился командный пункт батальона. Отсюда до «переднего края» шестьдесят метров. В неглубоком подвале две грубые деревянные стойки, на них разложены ящики с парниковыми овощами, какие-то бутылки, чугунные гири.

В левом углу подвала два связиста перематывают катушки с проводом, в правом, за стойкой, присев на какое-то тряпье, молоденький лейтенант допрашивает пленного. Над самым подвалом хлестко бьет тяжелая гаубица из батареи старшего лейтенанта Гордюшина. Вся прислуга батареи ранена: Гордюшин — в руку, командир огневого взвода Конев и командир орудия сержант Ольшевец — в голову, наводчик Валиев — в грудь. Ни один из них не уходит.

Размахивая немецким офицерским палашом, возбужденный Гордюшин — кожанка его распахнута, конец бинта на руке размотался — хрипло кричит:

— Огонь!

Изрыгая пламя, тяжелая гаубица шлет вдоль улицы снаряд за снарядом. Пленный, высокий старик в форме фолькштурма, вздрагивает при каждом выстреле и вопросительно смотрит на окружающих.

— Мое имя Отто, — нервно бормочет пленный, — дамский портной. Я живу недалеко отсюда — Фалькенштайнштрассе, двадцать один... Тут десять минут хода...

Два немца-санитара выволакивают из-под кирпичей своих раненых и складывают их тут же в подвале. Все они, и санитары и раненые, две минуты назад оказались в плену.

— Ложись! — кричит стоящий у входа в подвал боец. Мы валимся на пол. С треском и звоном, разбрасывая огненные искры, на улице разрывается «фауст».

— Откуда пустил? — спрашивает Яковлев.

— Из этого серого дома. Метров сорок отсюда. Вон, вон видна голова. Спрятался. Опять показался.

Боец вскидывает карабин, целится и стреляет два раза. Голова исчезает. Яковлев, нахмурив густые брови, теребит наплечный ремень и бросает в телефон:

— Олейников! Почему не двигаешься?

Продвижению роты Олейникова мешает серый угловатый дом, стоящий на изгибе улицы. Под ним сооружены мощные доты, из которых бьют «фаустники» и пулеметчики. Все подходы к дому простреливаются ураганным огнем.

— Может, обойдем? — спрашивает Яковлева командир танковой роты гвардии капитан Челпанов.

— Такой дом трудно обойти, — возражает Яковлев, — он выходит одной стеной на соседнюю улицу. Надо разбить его!

— Челпанов, убери свои два танка! — кричит Гордюшин. — Они мешают мне бить прямой наводкой. Подвинь танки к стенке, а я сейчас суну туда два полных и разрежу этот ваш домик, как пирог.

Челпанов подходит к двери и, сложив руки рупором, кричит вправо:

— Дрягин! Раздвинь машины!

До подвала доносится скрежет гусениц. Размахивая палашом, Гордюшин командует:

— Расчет, на место!

Артиллеристы ползут к орудию. Через две минуты подвал сотрясается от оглушительного грохота гордюшинской гаубицы. Кажется, что все предметы сорвались со своих мест и завертелись в бешеном вихре. Пользуясь густым прикрытием дыма и пыли, мы бежим вперед вслед за Яковлевым. Яковлев кричит невидимым стрелкам:

— Бей по амбразурам противотанковыми гранатами!

Глаза слепят острые вспышки голубовато-белого пламени. Бойцы кидают в окна зажигательные бутылки. Справа гулко ухают наши мины, слева — неожиданно близкая трескотня вражеских автоматов и пулеметов.

— Что там слева? — кричит Яковлев.

Кто-то отвечает из тучи пыли:

— Восемь немцев с ручными пулеметами вырвались из-под моста на фланг штурмующей группы.

Яковлев посылает туда небольшую группу прикрытия, а сам ведет батальон в глубь Хольцмаркштрассе. Проклятый серый дом окутан пламенем. Взвод, идущий в резерве, уже прочесывает его подвалы. В подвалах полно людей. Это гражданское население Берлина. Среди них, конечно, много переодетых солдат и офицеров, которые в последнюю минуту сбрасывают с себя военную форму и надевают штатские костюмы. Но с ними сейчас некогда возиться. Собрав брошенное противником оружие, бойцы отправляют обитателей подвалов в «тыловые» районы города — там разберутся.

Во второй половине дня Яковлев докладывает командиру полка о том, что Хольцмаркштрассе очищена от врага. Батальон продвигается к центру Берлина.

В восемнадцать ноль-ноль мы поднимаемся на чердак семиэтажного дома, где расположен наблюдательный пункт. Стоим у окна и смотрим вниз. Там бушует сражение. Войска генерала Берзарина штурмуют центр германской столицы.

Черный от копоти, сверкающий пламенем горящих развалин, грохочущий взрывами, сотрясаемый конвульсивной дрожью дымных улиц, вокруг нас расстилается Берлин.

Подземный Берлин это особый мир, в котором немцы жили в течение последних лет и который они обороняли с яростным упорством. Тут, в глубоких подвалах разрушенных домов, в мрачных тоннелях метро, в старых канализационных трубах, размещалась вся немецкая столица: тут были свои укрепленные районы, целая система оборонительных сооружений и складов, тут работали различные учреждения, штабы, госпитали, электростанции.

Во время боев за Берлин подземелья стали объектом самой ожесточенной борьбы, причем наши офицеры и бойцы обнаружили великолепную способность перестраиваться буквально на ходу и применили ряд остроумных методов и форм боя.

Мне хочется рассказать об одном бое в метро на восточном участке Лейпцигерштрассе. Чтобы преградить путь нашей наступающей пехоте, немцы затопили водой самые глубокие места тоннелей, а сами отсиживались на более высоких местах, простреливая все вокруг пулеметным огнем и фауст-гранатами. Продвижение пехоты прекратилось.

В одном из подвалов, где размещался командный пункт полка, собралась группа офицеров. Обозленные обстановкой, офицеры сидели и лежали на скамьях, переговариваясь вполголоса.

— У нас есть резиновые лодки? — спросил один из офицеров, ни к кому не обращаясь.

— Лодки-то есть, да что в них толку? — сумрачно отозвался командир саперной роты.

— Попробуем на лодках...

Через два часа к станции метро подошла группа вооруженных бойцов во главе со старшиной Филимоновым. Бойцы несли на плечах резиновые лодки, прожектор, ручные пулеметы. После недолгих приготовлений лодки были спущены со ступеней вниз, туда, где плескалась невидимая в темноте вода.

Бойцы расселись в лодках по четыре человека в каждой. В передней лодке, на которой разместили прожектор, уселся лихой Филимонов. Он положил рядом с собой три немецких «фауста» и сказал негромко:

— Давайте следом за мной. Держитесь правой стенки, гребите беззвучно. Чтоб было тихо. Как только я включу прожектор, шпарьте из всех пулеметов. Понятно?

— Понятно, — шепотом ответили бойцы.

Лодки двинулись вперед. Началось плавание в кромешной тьме. Вряд ли кому-нибудь из участников опасной экспедиции доводилось видеть такую тьму: черная, как сапожная вакса, она

поглотила людей, и никто из них не видел даже собственной руки. Лодки тихо плыли одна за другой, сохраняя направление по правой стене тоннеля. Люди напряженно слушали, но пока, кроме звонкого бульканья падающих с потолка капель воды, ничего не было слышно. Вначале еще доносились глухие раскаты пушечных залпов, потом и они исчезли, наступила полная тишина. Так проплыли метров триста.

Но вот впереди прозвучала человеческая речь, два или три раза мелькнули робкие лучи карманных фонариков, забряцало оружие. Это был подземный опорный пункт противника, в котором отсиживалась группа эсэсовцев и жандармов.

Старшина Филимонов уверенно вел первую лодку прямо туда, откуда доносилась немецкая речь. «Подъедем поближе, — решил он, — а там ударим по-настоящему».

Гитлеровцы не могли, конечно, предположить, что русские солдаты осмелятся идти через затопленный тоннель, и поэтому не приняли никаких мер предосторожности. Филимонов привел первую лодку к нише, от которой до противника оставалось метров тридцать, не больше, и остановился. Впереди на бетонной площадке сидели и лежали немцы. Они громко сморкались, кашляли, изредка стреляли куда-то вверх. Филимонов подождал, пока подошли все лодки, шепотом передал команду и включил прожектор.

Ослепительно-яркий свет залил тоннель, выхватив из темноты группу немецких солдат. Эсэсовцы замерли от неожиданности. В ту же секунду на лодках застрекотали пулеметы и автоматы. Потрясая воздух оглушительным ревом, сверкнули разрывы «фаустов». Точно зайцы под фарами автомобиля, фашисты метались по тоннелю, падали, скошенные пулями, и поднимали руки вверх.

Через двадцать минут бой в подземелье закончился. Опорный пункт противника перестал существовать. Отважные бойцы во главе со старшиной Филимоновым без потерь вернулись в полк. Докладывая командиру роты о ходе боя, Филимонов деловито закончил:

— Может, тут поблизости еще есть метро, так мы его живо очистим...

Так завершился бой в подземельях на Лейпцигерштрассе. Однако не везде подземные сражения оканчивались быстро и бескровно. В ряде районов немцы имели замаскированные выходы из подземных убежищ. Пропустив наши подразделения вперед, гитлеровцы вылезали из-под земли, занимали позиции где-нибудь в развалинах многоэтажных домов, стреляли в спину наступающим бойцам и уползали в свои подземные норы. Их

приходилось выкуривать оттуда с большим трудом. Особенно опасной и сложной была борьба в гигантских заводских подземельях. Словно лабиринты, тянулись они под землей, отклоняясь то влево, то вправо и имея десятки выходов на поверхность. Не зная расположения ходов, там трудно было ориентироваться, применять прожекторы невозможно, так как вражеские засады вели огонь по источникам света.

И все же наши бойцы одолели коварного врага. Они тщательно разведывали местность, стерегли каждый выход, спускались в подвалы и, не обнаруживая себя, подстерегали вражеских солдат. Не щадя жизни, сражались они в кромешной тьме, сокрушали фашистские подземные гнезда и вышибали врага из каждой щели.

И вот уже за нашей спиной темнеют обезвреженные логовища врага. Мы бродим по тоннелям метро, по подземельям и погребам. Все здесь приспособлено к обороне: своды подпирают новые крепления на толстых столбах, столбы опоясаны полосами светящейся краски, всюду пробиты бойницы.

Впереди бушует яростная битва за Берлин. Город, точно издыхающий дракон, агонизирует в конвульсивной дрожи, пылает пламенем, грохочет взрывами.

Кольцо окружения все туже сжимается вокруг берлинского гарнизона. В подвалах рейхстага беспрерывно совещаются генералы Гитлера. Но никто из них не видит выхода. Берлин обречен.

День второго мая

Он пришел, этот день, так же, как приходили другие дни на войне, и еще никому из нас не было известно, что этот пасмурный день будет навеки отмечен историей. Но уже многие знали, что близится час падения Берлина, что этот час совсем близок. Штурмующие город войска сжали вражеский гарнизон в самом центре столицы и неуклонно продвигались по обоим берегам Шпрее.

Второго мая рано утром на участке батальона, который вел бой в направлении дворца императора Вильгельма I и Александерплац, появились шесть немецких офицеров с белым флагом. Пятеро из них были в металлических касках, шестой, невысокий пожилой майор, — в фуражке, увитой шнуром. Майор объяснил командиру батальона, что германской офицерской делегации нужен советский генерал. После коротких переговоров по телефону командир батальона направил немцев на КП

дивизии.

Разговор с генералом происходил в глухом дворе, замкнутом тремя высокими домами. Дома эти горели несколько дней подряд, и двор был завален всяким хламом: изломанной мебелью, остовами разбитых немецких машин, сплюснутыми велосипедами, побитой кухонной рухлядью.

Накинув на плечи желтое кожаное пальто, генерал в сопровождении трех офицеров вышел из подвала на крыльцо. Немецкие офицеры вытянулись. Руки их взметнулись к каскам. Шагнув вперед, майор посмотрел снизу вверх на генерала и сказал по-немецки:

— Моя группа больше не может сопротивляться, и я пришел просить вас о прекращении военных действий на моем участке.

— Вы пришли сказать о том, что ваша группа капитулирует? — поправил генерал.

— Так точно, господин генерал. — Тут майор слегка замялся: — Мы больше не в силах сопротивляться и поэтому просим пропустить нас...

— Куда?

— На соединение с нашими частями юго-западнее Берлина.

Генерал усмехнулся, потом нахмурился и строго посмотрел на майора:

— Вы что же, майор, пришли вести переговоры о капитуляции вашей группы или играть в бирюльки?

— Господин генерал не совсем правильно понял меня, — смутился майор. — Мы сдадим вам все оружие и уйдем из тоннелей метро безоружными.

Генерал, отвернув обшлаг кителя, взглянул на часы, потом на немецкого майора и сказал негромко:

— Сейчас тринадцать часов. Через два часа я уничтожу всю вашу группу.

Опустив голову, майор долго думал, вслушивался в орудийный грохот, переглядывался со своими спутниками, наконец поднял глаза и, встретив ожидающий взгляд генерала, пробормотал:

— Я готов принять все ваши условия, господин генерал, ибо помощи мне не будет. Мои соседи уже ведут переговоры о капитуляции. Бой за Берлин окончен...

Через час мы узнали о том, что военный комендант Берлина предложил штабу 1-го Белорусского фронта полную капитуляцию берлинского гарнизона. Незадолго перед этим наши войска ворвались в последнюю цитадель фашистов — здание рейхстага.

И вот во второй половине дня вдруг наступила тишина. Эта неожиданная тишина вошла на улицы города как нечто весомое,

ощутимое не только слухом, но всем телом. Люди стали слышать свой голос. Стало даже слышно, как шипят капли дождя, касаясь раскаленного железа, как шуршит под ногами бурая кирпичная россыпь, как ржут давно не поенные лошади.

Когда прекратился бой, прекратилось и движение. Усталые, покрытые потом и пылью бойцы опустили на землю и, прислонившись спиной к стене, сидели так, ни о чем не говоря. Грозно устремив вперед стволы молчащих пушек, замерли на перекрестках улиц тяжелые танки. Из подвалов стали показываться робкие фигуры жителей.

В шестнадцать часов из тоннелей метро вышли передовые колонны немцев.

В полном молчании пропускали наши бойцы бесконечные колонны пленных. А они все шли и шли, заполнив улицы, извиваясь в крутых переулках. Они шли, путаясь в оборванных проводах, спотыкаясь о кирпичи, обходя человеческие и конские трупы. И уже голова колонны давно исчезла где-то в конце широкой Копеникерштрассе, а из темных тоннелей метро шли новые колонны пленных.

Вечером второго мая, когда, словно отодвигая приближающиеся сумерки, над Берлином багровело пламя больших пожаров, мы стали осматривать город. Трудно передать, что мы чувствовали, шагая по пустынным улицам центра. Точно раздавленный дракон, Берлин лежал перед нами, темнея горячими руинами, теряя в хаосе развалин свои очертания, мрачный и страшный.

Вот главная улица Берлина — Унтер-ден-Линден. Иссеченные осколками бомб и снарядов, высятся лишенные листьев липы. Изрыт окопами и покрыт пеплом широкий бульвар. Точно огромные склепы, темнеют сожженные, смятые, искромсанные дома. Карающая рука возмездия смяла эту улицу от начала до конца, превратила ее в пустыню.

Через Бранденбургские ворота, повернув вправо, выходим мы к зданию рейхстага. Вот она, последняя цитадель гитлеризма, в подвалах которой несколько часов тому назад совещались генералы агонизирующей армии. На крыльце рейхстага уже стоят наши часовые, а над высоким куполом гордо вьется алый флаг нашей Советской Родины.

В глубоком молчании останавливаемся мы перед рейхстагом и салютуем своему флагу — великолепному знамени только что одержанной победы.

Прощай, Армия, и здравствуй!

*Как и тысячи других, я до конца
жизни остаюсь солдатом.*

Совсем недавно в моем военном билете появилась запись с печатью: «Исключен с учета Семикаракорским райвоенкоматом за достижением предельного возраста и зачислен в отставку со званием майора в отставке...»

Итак, пришла пора прощаться с армией.

Нет, я не был кадровым офицером, не заканчивал никаких военных училищ и не служил в Советской Армии ни до войны, ни после войны. Срок моей службы был ограничен годами 1941–1945. Должно быть, счастливый случай избавил меня от кровавых и трудных мытарств во вражеском окружении. Не довелось мне, как многим моим друзьям, испытать нечеловеческие муки в фашистском плену. Службу свою в военные годы я нес честно. Как тысячи других, был отмечен боевыми наградами.

Казалось бы, после демобилизации в конце 1945 года неумолимое время должно было стереть с моей памяти все, что пришлось пережить в тяжкие годы войны. Как говорится, иные времена, иные песни... Деятнадцать лет мирной жизни среди донских полей и надречных лесов, ериков, озер и лугов, среди новых друзей, земледельцев и рыбаков, любимый труд, которому отдаешь себя целиком, должны были бы притупить, призрачной дымкой времени затянуть воспоминания об армии, о военных товарищах, тоску по тем, кого уже нет, горечь разлуки с теми, кто остался жив, но трудится где-то далеко от тебя...

Видимо, после отметки в военном билете положено было бы выпить прощальную чарку и становиться вольным казаком. Что ж, дескать, ты выполнил все, что требовала от тебя родная Советская Армия, и можешь чувствовать себя спокойно, как человек, исполнивший свой долг.

Но вот я держу в руках военный билет, смотрю на последнюю в нем короткую запись: «Исключен с учета», и нет покоя в моей душе. Горькая обида лежит у меня на сердце, и хочется мне протестовать и жаловаться кому-то, но протестовать я не могу, а жаловаться некому. Все тут законно и правильно. Вина всему — время.

Ведь запись в военном билете говорит об этом достаточно ясно: «За достижением предельного возраста».

Итак, товарищ майор, до этой последней записи вы находились в запасе. В грозный час вас призвали и вы снова, как

тогда, в 1941 году, стали бы в строй. Теперь же, товарищ майор в отставке, пришел срок. Вас тепло поблагодарили за службу, и вы можете быть довольным. Чего же тут волноваться, печалиться, тосковать?

Так думая, я медленно шагаю по комнате и курю папиросу за папиросой. Так утешаю себя, чтобы примириться с мыслью о том, что я вне армии. Так молча прощаюсь я с армией, которая, я знаю, навсегда останется в моей памяти.

На распахнутых дверях моей комнаты между охотничьими ружьями висит офицерская полевая сумка. Она вся исцарапана, потерта, а в двух местах, по углам, на ней небольшие дыры. Сумка до сих пор хранит еле уловимый солоноватый запах конского пота, горький запах степной полыни и пыли многих дальних дорог. В трудных походах сумка была моим постоянным спутником, моей подушкой на нашей земле и в чужих краях. В больших и малых сражениях она бережно сохранила все, что я записывал, готовясь к будущим книгам о войне.

И вот я снимаю сумку, вдыхаю тревожащие душу запахи, и одна за другой возникают передо мной картины минувшего, и вновь сердце мое сжимается оттого, что все незабываемое я не могу, не хочу и не в силах забыть.

Военная присяга — это священная клятва Родине, произносимая каждым солдатом. Кто может забыть ее? Но в миг, когда произносят исполненные глубокого значения и смысла слова, ты как бы стоишь перед всем могучим нашим народом, перед бескрайней советской землей и клятвенно свидетельствуешь о своей готовности защищать мирный труд народа и границы родной земли до последней капли крови. И уже сам ты твердо уверен, что никакому врагу не одолеть тебя, что ты полон мужества и отваги, что будешь честным бойцом, никогда не дрогнешь, не унизишь свою совесть трусостью или черным предательством, что, если придется, ты беззаветно и храбро отдашь свою жизнь за мир, покой и бессмертную славу своей страны.

Разве это можно забыть?

А разве можно забыть силу солдатской дружбы и сурового братства, которые крепили и закалялись на полях сражений? В сырых, тронутых инеем окопах, в блиндажах, на огневых позициях, на рубеже обороны и в неотразимых атаках, в часы короткой передышки между двумя боями и в трудных многокилометровых походах — всюду эта дружба возвышалась потому, что порождена она была не мертвой буквой устава, а вечно живой ленинской идеей освобождения человечества и счастья всех народов.

Скупым на слова, по-мужски сдержанным было и остается наше чувство братства и дружбы. Никто его не выпячивал нарочито, не восхвалял велеречиво. И если надо было делиться последним куском хлеба или последним глотком воды, от всего сердца делал это. Сами страдая от потери крови, теряя сознание, наши солдаты уносили с поля боя тяжело раненных товарищей. В грозное мгновение, когда смерть смотрела в глаза, они грудью своей закрывали от смерти товарища и друга. Этого забыть нельзя.

Нельзя забыть и того, что всегда делало нашу армию одним миллионноруким, неодолимым великаном, — железная солдатская дисциплина, не палкой и окриком рожденная, а высоким сознанием, чувством сыновнего долга перед Отечеством и народом.

Я стою у окна, и одна за другой возникают перед глазами картины недавнего прошлого, напоминая о годах моей службы в армии.

Горящие села и города. Солнце, окутанное дымом пожарищ и рыжей пылью разрушенных кирпичных домов, гул сражений с грохотом пушек, вражеских бомб, отрывистый лай пулеметов, громы танков. Черные от мороза и копоти лица боевых товарищей. Дороги отступлений в знойных, пахотных степях. Непрерываемые бои в горах, на берегах больших рек и никому неведомых безымянных речушек. Радость нашего наступления. Унылые лица пленных фашистов. Штурм Берлина — этого мрачного гнездовья гитлеровских стервятников. Могилы наших товарищей, разбросанные в полях и лесах, на лугах и болотах нашей и чужой земли. Подписание добытыми гитлеровцами акта о безоговорочной капитуляции, и вовсю цветущая сирень первой весны мира. Парад Победы, осененный гордыми боевыми знаменами родной армии, чеканный шаг гвардейской пехоты, звонкие эскадроны конницы, колонны танков и дивизионы артиллерии на Красной площади.

С тех пор много воды утекло.

Иной, неизмеримо более мощной стала наша армия. Народ вручил ей оружие невиданной силы. С каждым годом в Советской стране ширится и повышается образование, и каждый год в армию на смену отслужившим свой срок приходят молодые солдаты, образованные юноши, которые быстро осваивают сложнейшие математические расчеты, успешно изучают новое оружие.

Из окна моей комнаты хорошо видна река, прибрежные тополевы леса и засыпанная снегом равнина. И я, стоя у окна, думаю о тех, кто сегодня идет служить в армию, и о тех, кто в

свое время сменит их, отслуживших. Хорошей, светлой завистью я завидую им и невольно повторяю давно полюбившиеся мне строки:

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски...

Недавно снежным зимним вечером мои соседи-одностаничники провожали в армию молодого румяного парня, который вырос у меня на глазах. В жарко натопленном доме на накрытых чистыми скатертями столах красовалось все, чем богата донская станица: вяленые рыбки и шамайка, запеченные в духовке, начиненные кашей чебаки, моченый виноград, красное виноградное вино. В доме яблоку негде было упасть. Собрались все соседи: рыбаки, виноградари, пасечники, трактористы, кузнецы.

Не было тут ни слез, ни причитаний, как когда-то бывало. Лихой баянист без устали играл разудалую «барыню», «сербиянку», «яблочко», польки и вальсы. А одетая в праздничные костюмы молодежь отплясывала так, что звенели графины на столах и дрожали стены. А в перерыве между танцами, когда девчата и парни, утомившись, вновь уселись за столы, седоусый кряжистый казак, один из прославленных рыбаков станицы, пристально посмотрев на юного призывника, заговорил тихо и торжественно:

— Вот чего, сынок. Идешь, значит, служить в нашу геройскую Советскую Армию и должен ты помнить, чего это такое. А это вопрежь всего великая честь для каждого мужика. Так спокон веков бывало. Народ доверяет тебе оборону нашей страны, и ты не посрами себя, оправдай доверие. Ты будешь служить в армии, которая всегда славилась своей удалей. И командиры на нашей земле завсегда бывали такие, что перед ними никто не мог устоять: Фрунзе, Чапаев, Щорс, Буденный Семен. Довелось мне с Семеном Михайловичем и белогвардейских партизанов рубать, и под Варшавой ходить на польских панов... А деда Медного старой станицы знаешь? Этот дед в орденарцах у Олеко Дундича был. Нехай он расскажет тебе про героев гражданской войны, много он их повидал.

Старый казак, помолчав, неторопливо отхлебнул из стакана и закончил задумчиво:

— Мы свое отслужили и никому свою землю в обиду не дали. Да и опосля нас, в Отечественную сыны наши не растоптали

славы отцов и дедов, наклали Гитлеру так, что звон пошел по всему миру. Теперь, конечно, другое. Атомную бомбу соорудили, ракет понаделали.

Ну да тебя, сынок, для того и учили, чтоб ты в этом деле разбирался не хуже, чем мы в клинках да в пулеметных тачанках. Сколько годов прошло, как в Первой Конной служил, а по сей день, как увижу красивого солдата в хорошей форме или же офицера, так скучаю за армией и вроде помолодеть мне хочется, чтобы опять-таки стать в строй.

Правильно, дед! Майор в отставке тоже вот смотрит на последнюю запись в своем военном билете и места себе не может найти. И тревожно ему, и скучает он. Одна у него думка: люди уничтожат все страшные орудия смерти, в самых глубоких океанах утопят все, что было создано для массового убийства.

Но пока... Нет места никаким отставкам! Пусть сделана в военном билете эта короткая суховатая запись. Но нельзя от старого солдата отставить его всегдашнюю готовность при первом сигнале боевой тревоги стать в строй.

И потому я говорю:

— Прощай, армия, и здравствуй, непобедимая, могучая! Здравствуй на страх всем черным силам земли! Как тысячи других, я до конца жизни остаюсь твоим солдатом.

•